Литературный БРЯНСК

альманах № 1(9)'2015
СПЕЦВЫПУСК

НАША ПОБЕДА

ББК 84(2р)6
Б-91

Редактор-составитель В.Е. Сорочкин

В оформлении обложки использована фотография Н.С. Романова скульптурной группы на Площади Партизан в Брянске.

Выпуск антологии осуществлён при поддержке Правительства Брянской области, Департамента культуры Брянской области и ГУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева».

Литературный Брянск. Специальный выпуск «Наша Победа». Альманах Брянской областной общественной писательской организации Союза писателей России. — Брянск. Типография ООО «Брянское СРП ВОГ», 2015. — 228 с.

В специальный выпуск «Наша Победа» альманаха «Литературный Брянск» вошли произведения о Великой Отечественной войне ста наших земляков – поэтов и прозаиков фронтового поколения, стоявших у истоков Брянской областной писательской организации, а также творчество современных авторов, живущих в разных уголках Брянщины – членов СП России и участников областного литературного объединения.

Альманах подготовлен в год 70-тилетия Великой Победы в рамках проведения Года литературы в России и рассчитан на широкий круг читателей.

ISBN 978-5-00085-036-7

«Ушедшим – память и свеча…»

Тема Великой Отечественной войны в творчестве брянских писателей – одна из основных. Это художественная проза и поэзия, глубоко и всесторонне, во всех своих проявлениях отразившая партизанское движение и подполье, трагическое начало войны, отдельные битвы, героизм и предательство, величие и драматизм Победы. Это и исследовательские работы, многотомные воспоминания участников и свидетелей тех трудных героических лет.

Написанные в самые разные годы, произведения стали наглядным свидетельством величия духа и силы нашего народа-победителя.

Многие литераторы, жившие и живущие на Брянщине, воевали на различных фронтах Великой Отечественной: Иван Абрамов, Павел Быков, Владимир Парыгин, Николай Грибачев, Валентин Динабургский, Леонид Мирошин, Николай Патов, Иван Радченко, Григорий Реймерс, Роман Русанов, Александр Саввин, Борис Файбисович, Илья Швец и другие. Произведения многих из них представлены на страницах этого специального выпуска «Наша Победа» альманаха «Литературный Брянск». Все они посвящены Великой Отечественной войне. Последнее издание подобного рода с лаконичным названием «Победители» вышло на Брянщине двадцать лет назад – в год 50-тилетия Великой Победы. За это время в брянской литературе произошли значительные изменения: ушли из жизни многие писатели-ветераны – летописцы, участники и герои войны. На смену им пришли литераторы послевоенных поколений, сумевших сказать своё слово о ратном подвиге отцов и дедов.

Доказательство тому – постоянное участие и победы наших писателей в патриотических литературных конкурсах международного, всероссийского и регионального значения. Только за последние три года лауреатами и дипломантами таких конкурсов становились прозаики и поэты: Н.П. Рылько – лауреат IV Международного Всеукраинского литературно-музыкального фестиваля «Расстрелянная молодость» (2013), лауреат литературной премии имени Н.А. Мельникова (2015); А.С. Остроухов – дипломант Всероссийского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья!» (2014); П.П. Кузнецов – дипломант Всероссийского конкурса «Твои, Россия, сыновья!» (2014), лауреат Международного литературного конкурса военных писателей и журналистов «Свет Великой Победы» (2015); Ю.И. Кравцов и Н.В. Мишина – победители престижного на Брянщине патриотического конкурса «Верю в Россию и верю в народ» (2015); А. В. Ронжин – лауреат литературной премии имени Н. А. Мельникова (2015) и др.

Альманах готовился параллельно с антологией-справочником «Брянские писатели – 2015», в послесловии к которому член Союза писателей России Лариса Семенищенкова подробно остановилась на теме Великой Отечественной войны в творчестве наших земляков. Позволю себе процитировать фрагмент из этой работы: «Брянская литература разнообразна по жанрам, авторскому видению исторических процессов и проблем современной жизни. Так должно быть в литературе. Тем не менее, у наших писателей есть приоритетные, «магистральные» темы, которые на протяжении всей истории писательской организации определяли её почётное место в контексте отечественной литературы. В мозаичной картине литературных явлений разных лет неизменно проступает историко-героическая, патриотическая тема и в прозе, и в поэзии, и в драматургии. Интерес к истории родного края не иссякает, а 70-летие Великой Победы актуализировало всё, что было написано брянскими писателями о Великой Отечественной войне, стало мощным стимулом к созданию новых произведений. Написано много. Время убеждает, что произведения о войне всегда будут востребованными».

Данное издание может в полной мере рассматриваться как весомое дополнение к трём антологиям «Брянские писатели», вышедшим в 2003, 2008 и в 2015 годах, как наиболее полно представляющим весь спектр трудных для страны событий, которые увенчались Великой Победой.

Наши писатели всегда заботились о том, чтобы пробудить интерес к героической истории нашего народа у читателей детского возраста. Среди опубликованных в этом альманахе произведений умный наставник молодёжи обязательно найдет то, что можно включить в детское чтение.

Хочу поблагодарить членов Правления Брянской областной общественной писательской организации Л. С. Ашеко, Л. Л. Семенищенкову, участницу Брянского областного литературного объединения Н. А. Шестакову за большую помощь в подготовке этого альманаха.

Редактор-составитель Владимир Сорочкин

Николай Алексеенков

НАГРАДА

И твой, отец, есть вклад в Победе общей!
И кровь твоя багрится в ней сполна!
Год сорок первый. Твой бомбардировщик
Взял курс на запад – позвала война.

Дымилось небо. Солнце было тусклым.
Земля стонала, корчилась в огне.
Бои уже гремели под Бобруйском.
Враг пёр быстрей, чем всадник на коне.

Ты бомбы отметал – и цель накрыта:
Горели танки в лесополосе.
Ты уцелел. Ушёл от «мессершмиттов»,
Висевших больше часа на хвосте.

И вот – посадка! Из кабины вылез
Ты, сам ещё не веря, что живой...
Твой боевой и твой опасный вылет
Отмечен был наградой – сединой.

ВЕКОВУХИ

Их женихи в боях за Родину
Не пожалели живота.
В могилах братских похоронены
И в безымянных – без креста.

В боях за честь Отчизны павшие –
Всё совершили, что смогли.
Невесты, вдовами не ставшие,
Любимым верность сберегли.

В кругу с весёлыми подругами
Изнемогали от тоски.
Их называли вековухами
Ехидно злые языки…

Ох, это русское терпение, –
Не каждый выдержать готов, –
Пусть их хранит благословение
Войной убитых женихов.

Я ОДНАЖДЫ ПРЕДСТАВИЛ...

Я однажды упал на земле фронтовой,
И уста приоткрылись печально и немо...
И такой безобидной густой синевой
Отразилось в глазах моих вечности небо!

Закатилось со мной солнце первой любви,
И угасла во мне ранней жизни отрада.
Я лежу на траве. Я в пыли и крови,
И дымится под сердцем смертельная рана.

Я лежу в стороне от обид и тревог.
Я лежу у истоков последних сражений.
Мне не помнить жестокость военных дорог.
Мне не видеть побед и не знать поражений.

Зарыдали по мне вдалеке соловьи.
Прослезились дожди надо мною лихие.
Боевые знамёна и флаги свои
Надо мною в молчанье склонила Россия.

Прикоснулся к щекам моим робкий рассвет –
И звезду, словно мать, на пилотке поправил...
Это было со мной? Нет, конечно же, нет.
Это просто вот так я однажды представил.

ИНВАЛИД

Огнём крещённый и железом,
Видавший не однажды смерть,
Пришёл с войны, скрипя протезом,
Чтоб влиться в жизни круговерть.

ОСКОЛОК

Держу на ладони осколок.
Кусочек металла.
Бессильный и ржавый.
Размером с копейку – не больше.

Однако мне страшно подумать,
Что прошлой войною
Он цену имел
Человеческой жизни.

БАТЯ

1
В позднем небе росчерком –
Журавлиный клин.
Батя мой был лётчиком
И бомбил Берлин.

Сгинул над Германией
Призрак Сатаны.
Вышел батя раненый
Из большой войны.

Совесть не уронена,
Не убита честь.
На груди – три ордена,
И медали есть.

Боевых три ордена
На груди его…
Помнишь ли ты, Родина,
Сына своего? –

Сталинского сокола
Репрессивных лет,
Что кружился около
Радостей и бед.

2
Осень. Рощи голые.
Солнца тусклый свет.
Батя спит в Осмолове
Двадцать с лишним лет.

В дни не только будние,
И не раз в году,
Если очень трудно мне, –
Я к нему иду.

Над его могилою,
Тихой и простой,
Наполняюсь силою,
Как живой водой.

Пристально и солнечно
На портрет смотрю.
«Что ж, Илларионович,
Выпьем», – говорю.

Скорбно, неторопко я
И без громких слов
Наполняю водкою
Рюмки до краев.

3
Тихий вечер. Сумерки
Над землёй плывут.
Наши предки умерли,
Обрели приют.

Батя похоронен мой.
Памятник. Звезда.
Что случится с Родиной –
Он не знал тогда.

Боль моя сердечная
Вновь тревожит сны.
Мы своё Отечество
Сдали без войны.

Приласкали ворога
И впустили в Храм… –
Обошлась так дорого
Эта драма нам.

Мы теперь разрознены
И разделены,
Пасынки для Родины –
Бывшие сыны.

МАТЕРИ

Пахали бабы на себе:
Таскали плуг тяжёлый.
Пахали бабы на себе
Устало и безмолвно.

На борозде своих судеб,
Бывало, голосили,
Но понимали: нужен хлеб
Израненной России.

Пахали бабы на себе
Послевоенным летом…
Хотел сказать я о тебе,
А вышло вот – об этом.

Выплывает, как из дымки,
Всё, что свято нынче мне:
В чёрных рамках фотоснимки
На бревенчатой стене.

Я, не знающий покоя,
Призадумавшись на миг,
Прикасаюсь к ним рукою,
Молча вглядываюсь в них.

Приближали день Победы
Незабвенные бойцы:
Наши прадеды и деды,
Наши братья и отцы!

И мне кажется, что вроде,
Лишь смахну слезу с лица, –
С фотографий они сходят
В наши души и сердца!

Клавдия Асеева

* * *

26 их было, 26…
Сергей Есенин

Их было только двадцать восемь,
И все погибли под Москвой…
из песни

На месте боя выросла часовня
Молитвами и павших, и живых.
Стоит она под обветшалой кровлей
Под сенью тополей сторожевых.

Стоит она, души отдохновенье,
Открытая и другу, и врагу.
Лишь приложись к кресту – и на мгновенье
Услышишь звон на дальнем берегу.

Колокола из позабытых вёсен
Рыдают над ушедшими во тьму.
Их было двадцать шесть иль двадцать восемь –
Известно только Богу одному.

Он принял их, спасающих Россию.
Он принял их, простив нам все грехи…
Глаза в глаза – смотрю на небо синее,
В глаза былых и будущих стихий.

НА ПАРТИЗАНСКОЙ ПОЛЯНЕ

Меж сосен высоких дорога лежит.
Поляну в лесу обелиск сторожит.
Здесь, грустную память о прошлом храня,
Далекое эхо окликнет меня.

И вздрогнет нежданно вокруг тишина,
И сердце зайдется – неужто война?..

ПАМЯТЬ

Словно эхо прошедшей войны,
Снова гибнут Отчизны сыны,
Снова давит на сердце печаль,
Снова мысли уносятся вдаль,
Где солдаты в атаку идут,
Где стреляют, рыдают, поют –
Там война, и не жди тишины,
Взрывы бомб и сегодня слышны.

Наша Россия –
Боль в ней и сила.
Родина наша,
Своим народом ты крепка.

День Победы у нас не отнять,
Реки жизни не движутся вспять.
И какие б ни шли времена,
Мы с тобою, родная страна.
Мы с тобою во веки веков
Не забудем прощальных венков,
Не забудем погибших солдат,
Нашу боль обелиски хранят.

Это Победа
Внуков и дедов.
С нашей Россией
Едины все её сыны.

* * *

Детям Великой Отечественной войны,
малолетним узникам фашистских концлагерей
посвящается

Колючая проволока в три ряда,
Колючий, до боли, снег.
Вы разными судьбами шли сюда
И разве подумать могли когда,
Что будет одна у всех…

Здесь каждый из вас был, как старый гном,
Лишь мама могла узнать
Да Бог, помогающий всем в одном, –
Упасть и забыться последним сном,
Чтоб больше уже не встать.

Концлагерь помянет под лай собак,
И в жилах застынет кровь.
А к вечеру снова сгустится мрак,
Да так, что ни друг не поймет, ни враг,
Где ненависть, где любовь.

И все же вы встали в жестокой мгле
И выжили, свет узнав.
Проходите памятью по земле
О тех, кто остался на той войне,
Смертию смерть поправ.

* * *

Называла пьяницей жена,
Горьким словом часто вспоминала.
Только в сердце у него жила
Песня, обожженная металлом.
То ли ночью, то ли белым днем,
Коль совсем уж не под силу станет
Вспомнит он свое:
«Гремя огнём…»
И ещё:
«Сверкая блеском стали…».
И опять по вздрогнувшей земле
Танки побегут навстречу бою,
Дядя, дядя, песня давних лет
Навсегда останется с тобою.
И когда от боли хоть кричи
(Не понять тому, кто не изведал),
Песня, словно молодость в ночи,
Словно вера в новую победу.

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ 22 ИЮНЯ

«А надоело о войне, –
Сказал со мною рядом кто-то, –
Послушать о любви охота…»
И что-то дрогнуло во мне.
Судить я вовсе не берусь,
Я о любви сама читаю,
Но, видя в небе птичью стаю,
Услышать выстрелы боюсь.
Я гром весенний каждый раз
За взрыв снаряда принимаю
И жду, что меткая, прямая
Ударит молния сейчас.
Я спать ложусь с одной мольбой,
Чтоб в утро мирное проснуться,
Дай Бог, вовеки не столкнуться
Двум страшным силам меж собой…

ФРОНТОВОЙ МЕДСЕСТРЕ

Тревожит памятью война,
На обелисках звёзды светят.
Вставай, сестра, ты не одна,
Ты не одна на этом свете.

Ныряя в узенький окоп,
Иль перевязывая раны,
О ком ты думала? О ком
Душа болела неустанно?

О тех бойцах, кого уж нет,
Или о том, что с миром будет?
Среди бесчисленных планет
Твоя звезда всё светит людям.

Проходят годы чередой,
Но та война, как прежде, близко.
Как ты, такой же молодой,
Твой внук стоит у обелиска.

…Цветут ромашки средь травы,
И самолёт заходит в штопор,
Не поднимая головы,
Ползёшь ты к новому окопу.

Михаил Атаманенко

ПУШКА

В Новозыбкове стоит пушка, с которой житель города Степан Смоляков (он купил её на собственные сбережения) прошёл семь тысяч километров до Берлина

На дом, быть может, он копил,
на мебель, на корову,
но пушку он себе купил –
суровую обнову.
И, ложку сунув в вещмешок,
он с пушкой молодою
и в воду и в огонь пошёл,
как с верною женою.
Он с нею был неразлучим
в бою, в часы привала, –
на много лет, на много зим
беда их повенчала.
И после яростных боёв,
смертельно утомившись,
спал, к боку тёплому её,
как мёртвый, привалившись.
Семь тысяч вёрст – семь тысяч меж,
меж прошлым и грядущим,
семь тысяч дорогих надежд,
следом за ним идущих,
семь тысяч будничных смертей,
семь тысяч ожиданий,
что есть конец у чёрных дней,
есть день для ликований.
Насколько он стране помог?
ты вдумайся в причину:
не спрятал денег он в чулок,
не прятался за спину
других. На главном рубеже
проверен он бедою:
не на сберкнижке, а в душе
копил он всё святое.

Переступлю незримую черту,
неверия порог преодолею
к тебе в самом себе, –
в секунду ту
вдруг становлюсь смелее и сильнее.
Вдруг достигаю высоты любой,
вдруг распрямляюсь, будто бы пружина.
Моя душа – податливая глина –
перерождается в кремень сама собой.
Теперь я знаю: выдержит вполне
она удар любой. И не согнётся.
И даже если вдруг погаснет солнце,
твои глаза его заменят мне.

Беды били, беды мяли.
И на каждом этаже
есть следы былой печали.
Но осадка нет в душе.
И назло судьбе бедовой,
что незвано в дверь стучит,
веры чистой, родниковой
бьют глубокие ключи.
Веры в свет, что тьму сметает,
веры в доброту людей,
веры той, что осветляет
даже самый чёрный день.

Нина Афонина

* * *

Крылья синих дождей распластав,
Закружилась весна.
Первый гром, как тяжелый состав,
Нас нагнал у моста.
Пролетел, прогремел, простучал
Сотней гулких колес.
И скатился, устало ворча,
В тишину под откос.
И казалось – на небе война,
Тучи, как пепелища светил.
И казалось – идёт тишина
К нам от братских могил.

Людмила Ашеко

ЭВАКУАЦИЯ. ИЮНЬ 41-ГО

Июнь год от года упрямо
Приносит тревожные сны.
Я вижу тебя, моя мама.
Девчонка бежит от войны.
Ты в стайке ровесниц похожих
Забилась в товарный вагон
Скрипучий и шаткий. Но всё же
Казался спасением он.
Вы рыли окопы поспешно,
Но танки на город пошли!
И вот по стране безутешной
Колёса тебя понесли.
Ты суток в пути не считала:
Горели леса и дома…
Но поезд дошёл до Урала!
А там лютовала зима.
Фуфайка да бурки в заплатах,
Спасибо, согрели пока.
Была белорусская хата,
Как детство твоё, далека.
Там мать о тебе горевала.
Брела от окраин своих
Сквозь город пешком до вокзала,
Пугаясь мундиров чужих.
И возле огромной воронки,
От лютой беды ослабев,
Над трупом безвестной девчонки
Рыдала всю ночь нараспев…

А ты на заводе сгорала
От стужи, простуды, без сна…
Терпела, надеялась, знала
Не вечно же будет война!
Тебя и ровесниц похожих
Военная юность вела
По трудным дорогам. Но всё же
Была эта юность. Была!
Любовь была строже и зорче,
А радость светла и скромна.
Вы жили. Держались.
И в корчах,
Скуля, издыхала война!

ПОМНЮ…

Пришла победа, и упали
Врагов поверженных знамёна.
И кто не дожил, тоже знали:
Не быть России покорённой!
А кто остался жив, тот помнит
Бои, где кровь и раны – плата,
Где каждый бой – бесценный подвиг
И слава русского солдата.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Молюсь и лик Христа целую,
Меня он слышит в тишине.
Зажгла я свечку восковую
За всех погибших на войне.
За вас, отцы, сыны и братья,
Упавших в травы и снега,
Раскинув руки, как в распятье,
Мир заслоняя от врага.
За вас, замученные дети,
За матерей, за жён, сестёр,
Чьих жизней след на белом свете
Годами долгими не стёрт.
Грех искупая человечий,
Сын Божий на кресте казнён.
И ваш великий подвиг вечен,
Огнём победы озарён.
Всё тот же в горле ком колючий,
Всё так же память горяча…
И в небо тянет яркий лучик
Моя горящая свеча.

ЧАСЫ ПОБЕДЫ

Прощаясь, мать его перекрестила –
Шёл на войну. В победу верил сын.
И, чтоб скорей победа наступила,
Он починил и запустил часы.
…А в эту ночь часы остановились –
Вдруг перестали ходики стучать.
Она вскочила и за грудь схватилась,
Как пулю в сердце получила мать.

Холодное присутствие металла
Ей долгий месяц не давало спать.
Она ещё жила. Ждала, но знала.
Что ей уже сыночка не обнять:
Нет больше на земле её ребёнка,
Его сожгла безжалостно война!
Ну, вот и прилетела похоронка.
Часы молчали. Стыла тишина.
Она не вскрикнула, не зарыдала,
Чуть различая буквы скорбных слов.
Вздохнула горестно, шатаясь, встала
И запустила маятник часов.

ОЛЬГЕ МАКСИМОВНЕ СОБОЛЬ

Брянской партизанке, участнице ВОВ

Спасибо Вам за то, что Вы тогда
Не уступили робости девичьей.
Вы поняли: стране грозит беда
И на её защиту встали. Лично,
Не передоверяя никому,
На молодость и слабость не ссылаясь.
А молодость летела, укрываясь
От пуль в траве, в листве, в снегу, в дыму…
А молодость летела по седой
Измученной земле, по чащам леса…
И в ней была любовь, надежды, песни…
А сколько было отнято войной!
Была усталость. Боль утрат и ран.
Костры, костры… Короткие привалы.
Оттаивали лица партизан:
Их души Ваша нежность согревала.
И Вы смогли пройти сквозь ад, сквозь страх.
На пепелище дорогого края
Построили свой дом, зажгли очаг.
За это Вам поклон земной, родная!
Скажите, а сегодня, в тишине,
Когда глядите Вы в глаза внучонка,
Вам видится та юная девчонка,
Шагавшая наперекор войне?

ВЕТЕРАН

А он стоял у обелиска,
Читал фамилии подряд.
И там, за этим скорбным списком,
Он лица различал ребят:
Тот – с ним махоркой поделился,
Тому он рассказал про дом,
Где в девятнадцатом родился,
До снега бегал босиком…
А тот, когда царили звёзды,
И ночи редкие тихи,
Волнуясь, тайно и серьёзно
Читал ему свои стихи…
Как прочно душ соединенье
У края жизни – на войне!
Их дружество – огнём крещенье,
И расставание – в огне.
Последний бой. От дыма, пыли,
Казалось, в мире ты – один!
Спасибо, в землю не зарыли.
Он выжил, дожил до седин.
Здесь, на заветном обелиске
/К нему он от победы шёл/,
На букву «Я» – последней в списке –
Свою фамилию прочёл.
И сердце как тисками сжало!
В тумане слёз увидел вмиг:
Себя до боя, до начала,
Среди своих, среди живых.

СТАРЫЙ СОЛДАТ

Пришёл с войны и всё молчал.
Нет, в рюмку не глядел,
Молчал и головой качал
И, словно лунь, седел.
Жена ему и так и сяк:
— Ну, что ты, дорогой?
Войне конец, повержен враг,
А ты пришёл живой,
Есть две ноги и две руки,
И дочки – вот они!
Чего ж ты вянешь от тоски?
Мои печалишь дни?
А он с рассвета до темна
В работе, как в огне.
— Ты бьёшься, – говорит жена, –
Как будто на войне!
И только через десять лет,
Когда родился внук,
Прижал к груди младенца дед
И разрыдался вдруг.

— Да что с тобой? К нам счастье в дом,
Как солнышко вошло!
А ты заплакал. И о чём?
Что душу обожгло?
И, наконец, заговорил,
Глотая слёзы, дед:
— В войну детей я хоронил,
Сынков. Их больше нет –
Десяток лет в сырой земле
Их молодость лежит.
И как же выжившему, мне,
На белом свете жить?
Да, я ни в чём не виноват,
Но всё душа болит.
Родился внук. Расти, солдат!
Так, видно, жизнь велит.
Ты будешь Родину любить,
На рубежах страны
В свой срок ты станешь ей служить,
Чтоб не было войны.
И праздник был в большой семье!
Судьба явила смысл:
Мир – наше счастье на земле,
С ним… бесконечна жизнь.

ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН

На День памяти «Белые журавли»
Не гаснут войны на родной планете,
То здесь, то там рождая очаги.
Мы разные, но все земные дети,
Так отчего не братья, а враги?

Но те, кто жизнью жертвуют за братство,
За мир и счастье дорогих людей,
Погибнув, ввысь, за облака стремятся,
Вливаясь в стаю белых журавлей.

Там те, кто стал заслоном от фашизма,
Кто был в Афгане, воевал в Чечне…
Какие мальчики! Какие жизни
На той сгорели и на той войне!

Не иссякает пополненье клина,
И жертвы всё не падают в цене.
Вот белых птиц послала Украина –
Погибших наших на её войне.

За что борьба и море крови льётся?
Зачем войной идёт на брата брат?
На всех – одна Земля. Всем светит солнце!
А журавли летят, летят, летят…

Галина Баранова

ХАЦУНЬ

Та же улица, та же дорога,
Только скорбью покрыто лицо,
Что не встретит никто у порога,
Невозможно зайти на крыльцо.
Та жестокость не канула в Лету –
Многих жизней оборвана нить.
Не взываем мы больше к ответу,
Призываем лишь память хранить!
По Хацуни фашисты сновали,
Неожиданно враг налетел!
На воротах девчонку распяли,
Остальных увели на расстрел.
И в канаве утром туманным
Добивали штыками людей.
Посчитали расправу гуманной. –
Малолетних сгубили детей!
Обелиски: лампады под крышей,
Журавли сквозь огонь и сквозь дым.
Я прошу вас, пожалуйста тише
Скорбно колокол плачет по ним.

Виктор Белоусов

ЦВЕТНОЙ ДОЖДЬ

Фронтовому комбату
Николаю Васильевичу Белоусову — отцу

Небо налилось синевой, слегка освинцованной у горизонта. Чуть теплятся метки первых звёзд. Бледных и одиноких. Ночь не спешит смыть краски дня и дать волю новым.

Но проходит миг, и небо зацветает. Звёзд уже гроздья. Зелёных. Розовых. В желтоватом облачке дыма.

Облачко улетучивается, а звёзды облетают. Сколько их? 17? 21? Не успеешь сосчитать, как они гаснут, не достигнув крыш. Но снова из земли на длинной светящейся ножке стремительно всходит цветная гроздь.

Тысячи взоров примагничены к небу. Кажется, лишь один человек — певец на помосте — не смотрит туда.

...Будет шагу ступить невозможно –
Всё равно и тогда я вернусь.
Я вернусь к тебе, Россия...

«Т-тах!»

Красота какая! Цветной дождь… Даже больно глазам. Должно быть, больно. Иначе зачем тянутся к ним платочки?

Цепь мальчиков перегораживает дорогу. Мальчикам хочется порезвиться. Они сцепились за руки, точно в хороводе, и требуют назвать пароль. Тогда пройдёшь. Пароль очень простой— «Победа».

Догадливые быстро попадают по ту сторону цепи. Они улыбаются мальчикам, А может, себе, своей догадливости. Недогадливые подслушивают и тоже проходят. В другой раз мальчикам за такие штучки накостыляли бы по шее. Но сегодня сердца полны доброты. Сегодня времянка-помост вся в метели пляски. Сегодня горловины улиц обнизаны ожерельями огней. Сегодня орудия бьют цветными падучими звездами.

Он не видел этой красоты. Он был в городе за день до того.

Небритый, в бумажном пропыленном костюме и стоптанных сапогах, стоял он у военторговского прилавка. Стоял и смотрел за стекло. Губы его слегка шевелились. Потом он достал из кармана замусоленные ленточки. Не сразу можно было признать в них орденские.

Он пропускал эти ленточки меж пальцев, точно меж валков, и сверялся взглядом с теми, что под стеклом. Там пестрели полосатые прямоугольнички и просто цветные с узкой насечкой по ровному полю.

И пальцы его были в насечках, грязноватых и застарелых. Руки уже успели побуреть. А может, с них ещё не сошёл прошлогодний загар. Про такие руки говорят— грабли. Они цепко обхватывают топорище, привычны к держакам плуга, быка за рога возьмут... А вот ленточки перебирают неумело.

— Красную Звезду и Славу третью! — очень громко говорит он.

— Не глухая, – в ушах продавщицы сердито встряхиваются голубые висюльки.

— А БЗ есть? — ещё громче спрашивает он.

— Какое бизэ?

— БЗ две! — кричит он.

— «Боевые заслуги», – подсказывают из толпы.

На него смотрят сочувственно. То ли с войны оглох, то ли в поле привык переговариваться за полверсты.

— За Варшаву.

Пальчики продавщицы ныряют в пестрые озерца коробков.

— Да, ещё Одессу добавь.

— Не добавь, а добавьте. Я вам не племянница. И к вашему сведению, нет Одессы.

— Это... как же нету? — теряётся он.

— Обыкновенно. Думаете, другие не приходили за Одессой?

Он конфузится:

— Н-не думаем... Понятное дело.

Из толпы советуют:

— Возьми Сталинград и синим карандашом намалюй полоску. На то и выйдет.

— А за Берлин есть? — с ударением на «е» спрашивает он.

— Берлин есть, – поправляет она ударение.

— Берлин один, – на свой лад говорит он.

С улицы зычно сигналит грузовик.

— Подождёшь, – отзывается он и смахивает прямоугольнички в горсть.

Бойкие костяшки счетов набивают цену.

— 88 копеек... В кассу!

Но он не отходит, а смотрит в яркую горстку и как-то оторопело переспрашивает:

— К о п е е к?

— Восемьдесят восемь.

— Ну да, – в чем-то уверяет себя он.

Наверное, он видит сейчас то, чего никто в магазине не видит. Может, друга, навсегда упавшего рядом. Может, ржавые ряды заграждений на пути контратаки. Или последние капли воды во фляге. Или хуже... Последний патрон. Кто скажет?

— Гуп! Гуп!! Гуп!!! — надрывается грузовик.

Он расплачивается, выбегает и перемахивает через борт.

Машина срывается. Он подаётся вперёд, его бумажный пиджак задирается, и тогда становится видна связка сушек, затиснутых в карман штанов. Мимоходный городской гостинец.

А где-то в другом кармане прыгают вместе с хозяином цветные прямоугольнички – «За Одессу», «За Берлин»... Начало и конец войны в одном кармане. А между ними... Да что говорить! Он мог бы повторить за поэтом:

Мне не о чем в жизни жалеть:
Я не был только в аду.

Но, наверное, он редко обращается к стихам. Может, и совсем не обращается и лишь помнит с войны запавшее «Жди меня».

Поворот — и нет больше грузовика. Уехал небритый человек с сушками. Уехал от цветных звёзд Победы. Красивый салют обошёлся без него.

Нет, это он обошёлся без салюта. А без него, таких, как он, салют не мог обойтись.

Никак.

Его бы просто не было.

Геннадий Белоусов

КРОВАВЫЙ ЗЛАК

Земля огнём сто раз опалена;
Не плуг – её перепахали траки.
Где ненависти сеют семена,
Взойдут войны кровавым всходом злаки.

И не с серпом на ниву выйдет жнец,
Снопы на сжатом поле перевяжет,
А с автоматом выросший боец,
Как и отец, по цели не промажет!

И будет он безжалостен и лют,
И в ненависти также неизменным.
И женщины российские прольют
Потоки слёз по детям убиенным.

Нигде, и никакая мать
Убийц не перестанет проклинать!

ВОЗМЕЗДИЕ

Из зала облсуда, вынесшего
смертный приговор предателям Родины

Веди, палач, счёт злым своим деяньям,
Слезам и крови, и людским страданьям,
Всем жертвам, коим ты не сострадал.
Ты обречён свой век влачить презренный,
Таиться под личиной переменной,
Страшась, чтобы никто не опознал.

И вздрагивать в дому при звуке каждом,
Готовый сдаться непреклонным стражам,
Чтоб кару по закону понести.
Где власть твоя, которой страстно жаждал?
Кровавый след, оставленный однажды,
Не затоптать и в пыль не замести!

И этот след не даст тебе отсрочки,
А приведёт к твоей последней точке.

Станислав Белышев

НА БАСТИОННЫХ РУБЕЖАХ

На бастионных рубежах вскипают плиты,
На бастионных рубежах снарядов быль.
А все товарищи мои уже убиты,
И от смертельного огня вжимаюсь в пыль.

На бастионных рубежах пьянит от крови,
И ничего, что у меня прострелен бок.
На бастионных рубежах я - подполковник,
На бастионных рубежах я - царь и бог.

На бастионных рубежах грохочут танки,
И только метры отделяют от ствола.
И жизнь моя заключена в прицельной планке.
На бастионных рубежах ревет война.

На бастионных рубежах столпотворенье,
Несется гусеничный лязг сквозь чёрный дым.
На бастионных рубежах я выиграл сраженье,
И замолчал могучий зверь от рваных дыр.

На бастионных рубежах весны цветенье,
И на пробившейся траве лежит роса.
На бастионных рубежах души смятенье,
На бастионных рубежах... твои глаза.

На бастионных рубежах такое небо
Голубизною занесло осколки плит.
На бастионных рубежах я вовсе не был.
На бастионных рубежах я был убит.

Александр Брон

ПРИЗЫВ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

Последнее мамино слово,
Прощальная стопка вина.
И с Богом! Восточнее Львова
Гремит жерновами война.
Мелькают стога и опушки,
Такие родные места…
Над окнами каждой теплушки
Поставлена в небе звезда.
Легчает в дороге нестрашной
Припас вещевого мешка.
А так… Говорят, в рукопашной
Тонка у фашистов кишка.
Крути, новобранец, портянки,
Смешные обиды прости –
Тебе через сутки под танки
По мокрому полю ползти.
— Ура!
Или, может быть крика
В бою, где смятенье и ад,
Рванёшь под машиной блицкрига
Последнюю связку гранат.
На шаг – но она не докатит,
На миг – но замедлит прыжок.
А вечером маршал на карте
Чуть-чуть передвинет флажок.
Уходит на фронт пополненье,
Свои занимают места
Солдаты того поколенья,
Где выживут трое из ста.
Прощайте! На юные лица
Неяркая смотрит заря.
У ротного светят в петлице
Малиновых два кубаря.
Истёртая скатами глина,
Прижатые к ней облака.
Дорога… Кому до Берлина,
Кому – до того бугорка.

ПЕРВАЯ РАЗЛУКА

Там, у края этой драмы,
Баржи ржавая щека,
На плакате фюрер драный
Против красного штыка.
Колокольни крик беззвучный,
Заколоченный ларёк.
А кругом народ нескучный,
Тёртый вдоль и поперёк.
Гимнастёрки, телогрейки,
У причала толчея.
Возле стенки – на скамейке
Мы с тобою. Ты и я.

Так отчётливо и крупно –
Эта пристань и баржа.
Ты глядишь по-птичьи кругло,
Целлулоидную куклу
В тонких пальчиках держа.
Ветер улицей покатой
Гонит пыльные волчки.
А с плаката, а с плаката
Сумасшедшие зрачки
Так и впились в нашу пристань,
Вылезая из орбит…
Мой отец недавно призван,
Твой под Киевом убит.
Две пылинки,
в вихре шалом
Мы кружить обречены
По баракам и вокзалам,
По обочинам войны.
Вот и всё! Качнулись вещи,
Сходни грохнули с борта,
Где клокочет голос вещий
В медном рупоре у рта.
Он командует и правит,
Долетающий с высот.
Пожелает – и оставит,
Пожалеет – и спасёт…
Но уже неотвратима
Полоса воды рябой,
Что встаёт в обрывках дыма
Между мною и тобой.

Александр Буряченко

*** * ***

Юрию Кравцову

Все мне слышится – сосны шумят
И костры сорок третьего года...
В ночь слепую уходит пехота,
В Брянский лес за отрядом отряд.

Синий росчерк ракеты во тьме
Фантастически высветит ели.
Покурить, обсушиться успели
И – в дорогу. Нет края войне...

Где война? Будет бою конец?..
Сколько лет уж бои отгремели...
Но вчера возвратился отец
В той простреленной грубой шинели.

Наклонился над спящим сынком –
Ну, а кудри у сына седые.
И ушел вновь за Вечным полком.
Все они, как один, молодые.

Поднимусь под ненастьем косым
И увижу – пехота рядами.
И шинели забиты снегами
Всех военных неласковых зим.

И тогда в бесконечном пути
Я пойму сон жестокого года –
То в Бессмертье уходит пехота,
Чтобы вечно Бессмертьем идти.

РАЗВЕДКА БОЕМ

Эсэсовские части «Эдельвейс» –
Отборная двужильная команда…
А нас прикроет наш военный лес,
Военная дорожная рокада.
Сойдёмся в схватке,
Сердце веселя,
В кинжальной схватке
Пот глаза не выест…
И нас не выдаст русская земля,
И куст любой орешника
Не выдаст.

Ах, до Победы – путь траншейных лент,
А у Победы – ранние седины…
И по берёзкам рекошетный след
Кровавых пуль с обветренной калины.

Уходим в ночь. Тут нет ничьей вины.
Проход сквозь фронт
Под проволоку вьётся.
Бессонные работники войны,
Ну, кто из вас
На базу не вернётся?..
Забудь свой дом. Солдаты не вольны.
Мать и жену. Одна судьба святая.
Работники бессонные Войны,
Военная разведка полковая…

Павел Быков

СТИХИ

Бывало — бой чуть только стихнет,
Присев с блокнотом к огоньку,
Я подбирал такие рифмы,
Чтоб пулей били по врагу.

Когда ж армейская газета
Печатала мой новый стих,
Опять в атаку на рассвете
Я поднимал солдат своих,

И вёл вперед к победе роту
Под славным знаменем полка:
В руке – винтовка, а в блокноте –
С обоймой схожая строка.

Я и теперь сижу ночами,
Пишу стихи про мирный труд,
И строки зреют колосками,
Шумят, волнуются, поют.

ДРУГУ

В огне горели, в водах стыли,
А всё же выжили с тобой,
И лишь на волосы густые
Лёг дым сражений сединой.

Всё это так. Но каждый знает:
Костёр недавний только тронь -
Седой золой он прикрывает
Внутри таящийся огонь.

СКВОРЦЫ

В промоинах звенят ручьи,
Позеленила травка взгорья,
И в гнёзда старые свои
Скворцы вернулись из-за моря.

В тот славный год не так ли мы
Вернулись к дому из походов,
Провозгласив конец войны
Для всей земли, для всех народов.

САДЫ ЦВЕТУТ

Завершив победою походы,
Мы на мирной Родине своей
Превратились снова в садоводов,
В агрономов и учителей.

За успехи трудовые наши
Ежегодно, майскою порой,
Поднимают пенистые чаши
Все сады Отчизны дорогой.

БРЯНСКИЙ ЛЕС

В чаще ветер что-то шепчет тихо,
Не былины древние, не сказки.
Лес рассказывает нам, как книга,
О суровой жизни партизанской.

Там, где на глухой лесной дороге
Мы пришельцев били из засады,
На деревьях пулевые строки
Выстрочили наши автоматы;

Где ручей из-под корней струится,
Мы стояли на посту с тобою...
...Шевелит зелёные страницы
Ветерок, пропитанный смолою.

* * *

Залечили раны ёлки
Животворною смолой,
Но осталися осколки
Под чешуйчатой корой.

Да в крапиве остов танка
Сколько лет ржавеет здесь!
В бывшем лагере
Землянки
Охраняет воин-лес.

На тропинках тайных стройно
Сосны юные стоят.
Только дятел беспокойный
Всё стучит, как автомат.

НОЧЬ

Не забыть, как на полянке
Мы с тобой несли дозор,
Как бесшумной партизанкой
Ночь спешила в темный бор.

Проходила сквозь блокаду,
Миновав посты врагов,
И всегда ей были рады
Мы — хозяева лесов.

Здесь она, в бору угрюмом,
С нами грелась у костра,
Разделяла наши думы,
Как подруга и сестра.

И пока она гостила
В нашем стане до утра,
Мы тылы врагов громили
От Десны и до Днепра.

ИПУТЬ

Катит воды Ипуть
Ключевые к Сожу...
Даже солнце выпить
Всю её не сможет.
Родники с ключами
Ипуть всласть питают,
И в неё ночами
Звездочки влетают.
Но не этим чудом
Ипуть знаменита:
Здесь под гром орудий
Разгорелась битва.
Адские «гостинцы»
Подносили пруссам
Брянцы, украинцы,
Сябры-белорусы.
Шли на бой кровавый
Смело партизаны
И покрыли славой
Ипуть несказанной.
Ворогов тревожа,
Гнали их в три шеи
С Ипути и Сожа
До берлинской Шпреи.

* * *

На горе высокой, у околицы,
Партизан погибший спит в могиле.
Там весною наши комсомольцы
Молодую вишню посадили,

Чтоб росла она и красовалась,
Сладкие плоды всем приносила,
Чтоб вовек людьми не забывалась
Эта безымянная могила.

Здесь у вишни девушки-подруги
О погибшем песню сочинили,
И летит она по всей округе
На могучих и бессмертных крыльях.

ГАРНИЗОН

По деревням, дотла сожжённым,
Гудериан на танках лез...
И стал мне первым гарнизоном
Пропахший дымом Брянский лес.
От взрывов сотрясались сосны,
Как раскалённые стволы,
Вокруг навязчивей, чем осы,
Осколки вились роем злым.
А мы в простой экипировке
Шли добровольно под ружьё:
В руках казённые винтовки,
А остальное – всё своё.
Мы, добровольцы-первогодки,
Завидовали «старикам»
В обмотках, в стареньких пилотках
Такое только снилось нам!
Потом уж после той купели,
Свинцовой, где-то под Орлом
И нас, обстрелянных, шинели
Пригрели под своим крылом.
И мне, как равному солдату,
Побывшему в земном аду,
Вручил комроты, как награду,
Красноармейскую звезду...

И моё сияет в ней горенье!
Говорю я с гордостью годам:
До последнего сердцебиенья
Никому наш свет я не отдам!

ВЕЧНЫЙ СНЕГ

Шел первый снег... И ветер днем и ночью
Катил на запад студенистый вал.
Как санитар, он тучи рвал на клочья
И свежие воронки бинтовал.
Но горизонт дымящийся, багряный
Стонал и вздрагивал, как человек,
И неба кровоточащую рану
Бессилен был закрыть собою снег.
Поля - войной пробитые мишени.
Шли танки - как возмездье, мы - как тени.
Мы лезли на тяжелые высоты,
Чтобы огнем осилить темноту.
Как молния, сверкала наша рота,
Теряя искры жизни на лету.
Мы на рассвете добрались до цели,
Противника отбросив из леска.
Я снег стряхнул и с шапки, и с шинели,
Но он поныне - на моих висках.

* * *

Я видел много раз в боях,
Как смерть друзей моих косила.
Сыновний принимая прах,
Навзрыд Россия голосила.
А мы, друзей прикрыв землёй,
Склоняли головы в печали.
Тая не слёзы – гнев немой,
Мы обвиняюще молчали.
И в горле застревал комок
Шершавый, твёрдый, словно камень.
Я до сих пор ещё не смог
То горе высказать словами

Олег Ващенко

МАМАЁВКА

Здесь осталось два дома
И только
Куст сирени, березка, ветла,
А когда-то она, Мамаёвка,
Партизанской столицей была.
И лишь теменью
Тронутся дали,
Ночь свои обретала права,
И на помощь сюда прилетали
Боевые машины ПО-2.

Сколько их не вернулось –
Кто знает!
Сколько здесь партизан полегло!
Только ветер крапиву качает,
Там, где было когда-то село.
Только шмель над татарником ловко,
Виражируя, грустно жужжит.
Доживает своё Мамаёвка,
Поле взлётное тонет во ржи.
Покосилась замшелая хата.
Жизнь её велика и горька.
И не знаю... куда-то, куда-то
Проплывают над ней облака...

КАСКА

Металл мы старый собирали
И каску ржавую нашли.
Она годами под ветрами
Торчала прошлым из земли.
Цветы вокруг неё стояли
В объятьях солнца и ветров...
Казалось, лепестки вобрали
Солдата пролитую кровь...

В БИБЛИОТЕКЕ

В читальном зале,
В тишине,
Над книгой наклонясь,
Читает мальчик
О войне
Волнующий
Рассказ.
Как шли в огонь
И дым бойцы
Сквозь пулемётный лай.
...Отцов рубцы —
Твои рубцы,
О том не забывай!..

СМЕЛИЖ

Шумел сурово Брянский лес...
Анатолий Софронов

К замшелому срубу колодца
Лосиха придет не одна.
Лосёнок о бревна потрется,
Под вечер умолкнет сосна.

А рядом в лесу, за полянкой,
Цветы и весенняя тишь.
Землянки,
Землянки,
Землянки,
Лесград-партизанский
Смелиж.

Быть может,
Под этой вот кроной
В короткий
Осенний привал
Поэт Анатолий Софронов
Свой гимн партизанский писал.

Мне радостно то,
Что с разбега
Вбегаю в черёмушный цвет
И вижу в истории века
Проторенный песнею след.

* * *

Моё детство - дым пороха горький,
Моё детство - в огне города.
Зачерствевшая хлеба корка
Мне конфетой была тогда.
Моё детство в снегу и металле,
И в вагонах военных оно…
Вспоминаю те дальние дали -
Кровью брызжет закат на окно.

КОМБРИГ

Лежал комбриг, смотрел на стены,
Ему мерещились бои...
А за окном — кусты сирени
Цвели. И пели соловьи.
...Весна несла в палату звуки,
То было эхо прошлых дней.
В огне Джанкой, бои... разлуки...
Вечерний шелест тополей.
Врачи в халатах суетились,
Врывался в окна яркий свет.
Над ним, как два клинка, скрестились
Две грозных силы: жизнь и смерть.

Лежал комбриг, смотрел на стены,
Всё было молодо вокруг.
А он сгорел, как ветвь сирени,
На майском солнце и ветру...

КАЛИТКА

Калитка в сад
Согнулась, почернела.
Дорожка к ней
Бурьяном заросла.
Толкнул рукой —
Калитка заскрипела
И в прошлое
С собою повела.
Её мой брат
Перед войной навесил
И за собой закрыл,
Идя на фронт,
Я вслед бежал,
А надо мною песня
Летела за далёкий горизонт.
...Запомнил я раскаты канонады.
В атаке жизнь его
Оборвалась.
Вишнёвым соком
Брызгали закаты,
Месила осень
На дорогах грязь
Я, возмужав,
Пошёл дорогой брата.
Мой путь лежал
И в бурях, и во мгле,
И вот теперь
Солдатскою лопатой
Залечиваю раны на земле.

Виктор Володин

ИЗ ДЕТСТВА

К дяде Петиной мамке и бабушке мне
Мы вначале вдоль сосен и ёлок
По опушке катили, потом по стерне...
К большаку, оставляя просёлок,
Доскрипели в разгар августóвского дня
С набежавшими вдруг облаками.
Дядя Пётр по привычке ворчал на коня –
На кобылу с крутыми боками,
Утирая измятою кепкою пот,
Понукая гнедую вожжами.
И тянулась повозка то в гору, то под,
Повинуясь оглоблям с тяжами…

В половине пути, помянув и колхоз,
И ни в чём не повинное дышло,
Он свернул на лужок у обочины воз.
Тут же к месту и солнышко вышло
И глядело, как дядька, достав огурец,
Скибку хлеба и жёлтого сала,
Подал их племяшу, то есть мне:
«Ешь, малец!
Перекурим – кобыла устала».

Сам в консервную банку плеснул самогон,
Скинув прочь из кирзухи обутку,
Смачно вытянул; выдохнул; крякнул вдогон.
И на закусь свернул самокрутку.

Я к дощатому борту приткнулся бочком.
Он курил – за затяжкой затяжка,
Свесив ноги с телеги: одна босиком,
На другой – на культе деревяшка.

И гудели, как шмель на столбах провода;
Доедались остатки гостинца.
И неслись облака. Может, к Висле – туда,
Где осталась нога пехотинца.

ВРЕМЯ

Нас мать обшивала: вязала-плела.
Глядела в окошко из дома –
Батяню с работы к обеду ждала.
Веселым подспорьем ей помощь была
Неугомонимого гнома –

Меньшого братишки. Мы быстро росли.
На нас не хватало зарплаты.
А мы переулком носились; цвели
На наших штанишках заплаты.

Купались, гребли по-собачьему, вплавь.
А солнце садилось-вставало…
И мы просыпались, приветствуя явь,
Лоскутную, как одеяло.

Едва отрешившись от магии снов,
Вращали послушные стрелки
По цифрам, по готике вражьих часов –
Трофейной немецкой поделке.

За цацками сползать отца упросил
Дружок в обороне у Буга.
Их батя с нейтралки едва дотащил –
Часы и убитого друга.

Мы в игры играли из звонких наград,
А он торопился с обеда.
И строго смотрел на другой циферблат
С названием нашим: «Победа»!

Анатолий Гавриленко

КУЗНЕЦ

Посвящается воину и кузнецу
Д.И. Гавриленко

Тихий говор не смолкает,
Люд толпится у крыльца –
В путь последний провожает
Вся деревня кузнеца.

Проводить его к погосту
Вышли все: и стар, и млад,
Видно, жил кузнец непросто
И не просто воевал.

В праздник пил медову брагу
И не знал заморских вин,
Хоть в войну он Злату Прагу
Брал чуть позже, чем Берлин.

Был закончен бал кровавый.
Сын страны, боец простой –
За победу орден Славы
Рядом с Красною Звездой.

Вербовали ехать в Питер –
Был кузнец в рассвете сил.
Пот рядном со лба он вытер
И со вздохом пробасил:

«Знаю, трудно жить в разрухе,
Но деревня тож в беде.
И чтоб с голоду не пухли,
Я нужнее борозде».

И ковал он серп из стали,
Борону, косу и плуг,
Чтобы жницы жито жали,
Косари, косили луг.

...Похороны, похороны.
Небо грустно сеет рось.
Впереди несут икону,
Как в России повелось.

Алексей Галоганов

*** * ***

Довоенной поры детвора,
Мяч футбольный, изорванный, старый,
Вы готовы гонять неустанно,
И взрослеть вам ещё не пора…

Гордо светит значок на груди,
Да кепчонка надвинута браво!
Впереди все победы и слава,
Впереди ваша жизнь, впереди…

Ничего, что потертый пиджак,
И застираны скромные брючки,
Заработаем, купим с получки,
А пока что походим и так…

Всем ребятам на зависть вчера
Улыбнулась вдруг девочка Оля,
И краснеет, встречаясь с ней в школе,
Паренек, знать взрослеть не пора…

Вам ни в чем нет помех и преград,
Лихо спрыгнул с подножки трамвая,
Все от страха глаза закрывают,
А мальчишка смеется и рад.

… Голосом Левитана с утра,
Прогремела война в ваших душах,
Ваше детство разбив и разрушив,
И взрослеть вам настала пора…

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ

Неправда, мы душой не обмельчали,
Мы – ваша плоть, и кровь, и седина.
И вздрагиваем с болью и печалью
При слове сердце режущем – «война».

Когда мы фронтовые песни слышали,
То в теле дрожь нам долго не унять.
Ведь мы одной Россией с вами дышим,
И за нее готовы все отдать.

И ваши шрамы, раны нас при встречах
Вновь обжигают памятью былой.
И кажется, что это нам на плечи,
Война легла единственной судьбой…

У обелисков головы склоняем,
И к горлу ком подкатывает вдруг.
О! Как мы вас прекрасно понимаем,
Когда вы плачете, не сдерживаясь, вслух.

И гром салюта сердце разрывает,
От гордости, от счастья, от потерь…
И День Победы раз в году бывает,
Для нас святой и незабвенный День.

… Неправда, мы душой не обмельчали,
Мы – ваша плоть, и кровь, и седина.
Спасибо вам, что столько лет не знаем,
Что значит слово горькое «война»…

Владимир Гамолин

В СМЕРТЕЛЬНОЙ СХВАТКЕ

Яростно, в смертельной схватке,
Здесь решала битву сталь.
В Понырях и Ольховатке
Мглой, свинцом застлало даль.

Гул – вверху, внизу – дым, взрывы,
Танков лязг – рёв, ад сплошной.
Разберёшь ли – где кто живы,
Всюду грохот, всюду бой.

Против стали люди встали
И со связками гранат
«Тигры» рвали, умирали,
Шагу не ступив назад.

Бились, мужество утроив:
— Стойте, гады. Хода нет.
Помни, Родина, героев,
Чти их подвиг тыщи лет!

Чем сраженье длилось боле –
Пекло жарче, гуще рёв.
И на Прохоровском поле
Ужас охватил врагов.

Шок фашисты испытали,
Осознали вдруг они:
Нервы русских – крепче стали,
Воля их – прочней брони.

Дрогнули и, огрызаясь,
Покатили в страхе вспять,
Далеко ещё ваш хаус,
Можно смерть сто раз принять.

Широки поля России,
Вековечна глубь лесов.
Разве вас сюда просили,
Наглых нелюдей и псов?

Так, незваные, ступайте,
Супостаты – вражья рать, –
И бесславно умирайте,
Фатерланд вам не видать.

И ничто уж не поможет:
Ни муштра и ни броня.
Каждый голову здесь сложит,
Жизнь, как каску, оброня…

ЖЕНЩИНАМ

В год Победы, в славном сорок пятом,
Было вам по восемнадцать лет.
И с фронтов вернувшимся солдатам
Были вы как несказанный свет.

Расцвели в ту памятную дату
Вы, невесты. Каждый воин мил.
Каждой бы досталось по солдату,
Если б братских не было могил.

Ах, какие это были годы.
Хлебушко и тот был из травы.
В те, послевоенные, про моды
Даже слыхом не слыхали вы.

Из овчины старая шубейка
Да фуфайка, а не то – бушлат.
Да из кирзы сапоги. Сумей-ка
Быть красивой, тот надев наряд.

Платьице застирано… И всё же
Были вы красивы и тогда,
Даже в той немыслимой одежде,
В вечных буднях жаркого труда.

Было всё… пришлось и в плуг впрягаться,
И копать лопатой день-деньской,
И в страду с серпом не расставаться,
И на луг с зарёй спешить с косой.

Сколько лет прошло с тех пор, промчалось?
Ныне вам уже за пятьдесят.
Где ж ты, где ж ты, молодость, осталась?
Годы, годы! Как они летят.

Жизнь прекрасна. Славно жить на свете.
Наши сёла новью расцвели.
И не знают нынешние дети,
Что поднять, осилить вы смогли.

От судьбы не ждёте вы подачки,
Светлым солнцем путь ваш озарён.
Милые, хорошие землячки,
Счастья вам и мой земной поклон.

Александр Гилёв

ОСКОЛОК

Я упал, дотянувшись до немецкой земли,
Не дошёл до Берлина, другие дошли.
Я был ранен осколком,
Что под сердцем застыл,
Но я выжил и долго потом ещё жил.

Задыхался я: он мне дышать не давал.
И толкал меня в сердце,
Если я отставал!..
Есть у нас и враги, есть у нас и друзья.
Уцелели с войны
Мой осколок и я!

Оксана Гориславская

ПОРА ДОМОЙ, СОЛДАТ!

Пора домой, солдат, и охов-вздохов
Теперь не избежать твоей родне.
Закончилась военная эпоха,
А может быть, она живёт во мне.

Через десятки лет, из дальней дали,
Безвестности, сосновой тишины…
Тебя почти случайно раскопали,
Свидетеля, участника войны.

Ты призван был, конечно, в сорок первом,
Шел «под напором стали и огня»,
И были у тебя стальные нервы,
Совсем, совсем не то, что у меня.

Как паспорт твой, в солдатском медальоне
Цела бумажка, тонкая как дым.
Перенесут и перезахоронят –
К своим!

Николай Грибачёв

У ПЕРЕПРАВЫ

Июль. Жара и пыль. И крик и стон. Вот-вот
Накроет переправу канонада.
Плетутся старики, спешат обозы вброд,
Погонщик из реки не может выгнать стадо.

На лицах малышей смешались слёзы, пот,
С утра уже детей огнём пытает жажда,
Но сзади топот толп: не время пить — вот-вот
Накроет переправу канонада.

Хоть каплю бы дождя, хоть тени бы кусок,
От пыли поседев, к земле сникают травы.
Вы спросите меня, когда настанет срок,
Как я вступил в бои, где сердцем стал жесток?
Я в этот день стоял в толпе у переправы.

* * *

Когда б мне и двойной длины
Природа путь дала, я всё же
Сто раз вернусь, себя итожа,
Туда, в огонь и кровь войны.

Перед атакой, в миг особый,
Как бы при молнии во мгле,
Увидишь мир, в единстве собранный,
Всё-всё, что любишь на земле.

И сдавит жалость нестерпимо
К себе, к земле, к друзьям, к родным,
Но миг – он миг, он пулей мимо,
А следом пламя, грохот, дым.

И тут – как в пропасть всё былое.
Все вон из памяти года.
Мне кажется, я после боя
Рождался наново всегда.

И жаркий ветер в душу веял,
И сердце требовало – пой,
И наново любил и верил,
Хоть знал, что завтра новый бой.

* * *

Ночь освещает подбитые танки.
В небе какой-то шатается ас.
Тихо зачитан приказ об атаке.
Краткий. Сухой. Беспощадный приказ.
Снова вести под огонь пулемётный
Чьих-то мужей и отцов, и сынов.
Кто из них вскоре раскинется мёртвым,
В мокрой траве засыпая без снов?
Кто из них будет безногим? Безруким?
Поле сраженья пройдя до конца,
Кто из них будет рассказывать внукам
Об огнедышащем утре Донца?
Так взбудораженный кратким приказом,
Тем, что вести на погибель велит,
Мечется в поисках истины разум,
Сердце, как старая рана, болит…
Но, командир, в эту ночь фронтовую
Сосредоточься и окаменей…
Трудно в атаку ходить штыковую,
Но поднимать в штыковую трудней!

ТИШИНА

В брянском лесу тишина, тишина,
В брянском краю отгремела война,
И над могилами тех, что мертвы,
Жёлтое солнце стекает с листвы.

В брянском лесу тишина, тишина,
Что предвещает на завтра она —
Теплые росы, грозу от реки?
Вы настрадались, мои земляки.

Вы настрадались, и счастью пора
С нашего больше не бегать двора.
Пусть наградится ваш подвиг сполна!
В брянском лесу тишина, тишина.

Леонид Гришин

ЧЕТЫРЕ БРАТА БАЛЛАДА

Война гремела над Россией,
Косила пламенем хлеба.
В борьбе с проклятой чёрной силой
Решалась Родины судьба.

Ушли на бой четыре брата –
Краса и цвет всего села.
И опустела сразу хата,
Печаль под крышей залегла.

Война гуляла по России,
Звала на бой за ратью рать.
Мы для того ль сынов растили,
По одному чтоб потерять.

Сын Михаил погиб за Киев,
А Николай за Ленинград.
Не уж-то грешники такие,
Что Бог был жизням их не рад?

Старшой Иван как в воду канул,
Где разменял судьбу свою?
Лишь боль утраты тяжким камнем
Легла на всю его семью.

Казалось, нет предела бедам,
Но вот судьбе наперекор,
За долгожданною победой
Вернулся младший сын Егор.

Пришёл с ним вместе праздник в хату,
Но, что за радость? Посуди:
Шли на войну четыре брата,
Домой вернулся лишь один…

Молчал Егор, на сердце лихо,
Что скажешь матери, отцу?
Лишь слёзы горестно и тихо
Из глаз катились по лицу.

Тут подошла сестрёнка Маша,
На грудь ладони положив:
– Егор, ты радость, гордость наша,
Нам про награды расскажи.

И, тронув звонкие медали,
А всех их было ровно пять:
– За что тебе вот эту дали?
Егор стал тихо отвечать:

– Мне орденов и звёзд не надо,
Я не в обиде на страну.

Мне жизнь – вот высшая награда
За ту суровую войну…

Тут встал отец, обнял Егора:
– Я возвращенью сына рад.
Ты поубавил наше горе.
Ты нам дороже всех наград.

Пускай Ивана, Михаила
И Николая люди чтят,
Пусть их далёкие могилы
Поля Российские хранят!

Живёт страна в красе и силе,
Сынов сзывает на парад.
Но сколько хат ещё в России,
Где помнят горести утрат!?

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШЕМУ ОТЦУ

Я помню тебя лишь немного.
Лишь последнюю ласку твою,
Когда от родного порога
Ушёл ты в солдатском строю.

Курносый, вихрастый мальчишка,
Помахав на прощанье рукой,
Я не понял тем детским умишком,
Что на век распростился с тобой.

Я не понял, что с этой разлукой
Ты ушёл от меня навсегда,
Я не знал, что отцовские руки
Не коснутся моих никогда.

Отгремела война, завывая,
Отсвистел над Европой свинец.
И с тех пор я тебя ожидаю,
Мой пропавший без вести отец.

Где-то в грозном войны урагане
Ото всех затерялся твой след.
Не пришла похоронная маме,
И средь нас до сих пор тебя нет.

Я не знаю, в какой ты могиле,
Я не знаю герой ты иль трус…
А может ты в Лондоне или Берлине
Видишь сны про Советский Союз?

Может, бродишь ты там на чужбине,
Будто запертый в клетку скворец,
Может сны тебе сняться о сыне,
Мой пропавший без вести отец?

Нам не праздновать встречи с тобою,
Но мечта на двоих нам одна:
Пусть никогда над землёю
Не гремит, завывая, война!

Не хочу, чтоб тревогу трубили,
Чтобы жизнь захлебнулась в свинце!
Не хочу, чтобы дети скорбили
О пропавшем без вести отце…

Николай Денисов

АИСТ

Памяти, дяди моего
Алексея Павловича Волкова,
погибшего в минувшую войну

Плавал аист
В утреннем тумане
Над озябшей
Беседью-рекой.
Ты лежал в траве
Смертельно ранен
И в немую даль
Смотрел с тоской.
Детских былей
Памятью касаясь,
Слышал зов
Встревоженных берёз
И слова отца,
Что добрый аист
Малышом
Домой тебя принес.
Для того ли,
Чтоб на поле брани
Стон последний
Замирал в груди?..
Плавал аист
В утреннем тумане
И никак не мог
Тебя найти.

МАРФИН КРЕСТ

(Легенда)

Была гроза…
Мы выжили едва.
Казалось,
Не отбиться от беды.
Спасаясь от мороза,
На дрова
Враги рубили
Русские кресты.
У бабки Марфы
Вздрогнула душа:
«Поганцы!..
Не замайте дорогих!..»
И с кочергой,
Всё на пути круша,
Из темноты
Набросилась на них.
И тут свершила
«Колдовство» своё
Старушка
В ту кладбищенскую ночь.
За привиденье
Приняли её:
И бросились
незванцы в страхе прочь.
…Домой
Под вьюгой еле добрела…
Когда ж
Умолк военный горевест,
Весной воскресшей
На краю села
Поднялся
Непокорный Марфин крест.

ПАРТИЗАНСКАЯ ПОЛЯНА

О, Партизанская поляна!
Не полоненная
Врагами!
Молчу
Под шелестом багряным.
Как будто здесь
Дымится раной
Грудь партизана
Под ветвями...
Вздыхает лес
В ночных туманах
Далеким эхом
Ратных буден...
О, Партизанская поляна!
Коль исцелить не можешь
Раны,
Дыши моей
Сыновней грудью.

Александр Дивинский

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Сегодня День Победы,
Сегодня все в знаменах.
Сегодня наши деды
В почетных батальонах.
Сегодня молодые
От той войны в полвека,
Сегодня фронтовые –
Сто грамм на человека.
Сегодня День Победы!
Торжественно и строго
Сегодня мы обеты
Даём и славим Бога.
Погоны и лампасы,
И звезды золотые –
Горят иконостасом
Награды боевые.
Сегодня обелиски
Усыпаны цветами,
Здесь близкий и неблизкий
Сегодня вместе с нами.
Здесь головы склоняют,
Здесь неуместны шутки,
Здесь метроном считает
Секунды той минутки…
Сегодня День Победы! –
А значит, день салюта,
И небо над планетой
Расцветят залпы круто,
Ну а потом всё стихнет,
Накроет тишиною,
И каждый в своих мыслях
Останется с собою,
Кто в радостях, кто в бедах
Дойдет до самой сути...
Сегодня День Победы –
Он был, он есть, он будет.

Валентин Динабургский

* * *

В ту лихую окопную юность
Не мечталось дожить до седин.
Сколько, сколько очей сомкнулось,
Сколько песен застряло в груди?
Не считай бугорков придорожных,
Обелисков в степи не считай.
Только Память светло и тревожно
Нас ведет на передний тот край.
Тишина... Её тяжесть безмерна
Среди гор, и лесов, и долин.
Лишь звенят в напряжении нервы:
Я из сотни вернулся один.
Я, наверно, родился в рубашке.
Память в рост исполинский встаёт,
И чернеют на поле ромашки,
Как тогда, в незабвенный тот год.
И врываются танки из мрака,
И летят, и горят под огнём...
Если старый солдат вдруг заплакал –
Это прошлое ожило в нём.

* * *

Что есть окоп
под Старой Руссой? –
По пояс ржавая вода,
И «Юнкерсы» заходят курсом
На наши юные года!
И падаешь невольно
в жижу,
сдержав в груди
холодный крик.
И вот поток торфяно-рыжий
врывается за воротник!
А бомбы, сотрясая души,
крушат траншеи и песок.
А наши думы лишь о суше –
и чтоб резвился костерок!
Чтоб нам просохнуть
и согреться,
переобуться, а потом...
Потом – хоть что!
Хоть пуля в сердце,
но только чтобы на сухом.

ДОСРОЧНО СЕДЕЛИ СОЛДАТЫ

Седина –
это вовсе не блеклость волос.
Это – внутреннее состояние.
Тусклый свет – от свинцовых гроз,
от потерь,
от утрат,
от страданий.

Седина –
это зрелость и твёрдость души,
через годы с боями прошедшей,
где берут города
и сдают этажи,
где рождаются,
гибнут надежды!

Седина –
это как ордена:
знак победы
и боль утраты.
Когда в огне
задыхалась страна,
досрочно седели
солдаты.

* * *

Сергею Васильчикову

Я боюсь теперь кукушке
задавать вопрос наивный:
сколько, мол, ещё осталось
мне скитаться по земле?
Ведь кукушка-прохиндейка,
одиночка, без родства,
кукнет раз – эх, жизнь – копейка!
Хорошо, коль кукнет – два.
А когда-то ведь без счёта,
словно вправду из ковша,
щедро сыпала с полёта,
сколь потребует душа.
В сорок первом в миг затишья
голос птахи я не слышал.
Дремлет рота на привале,
что одна во всём полку...
И кукушка, пролетая, –
ни гугу и ни ку-ку...

ВОЙНА

Она пришла
убить поля,
убить леса,
убить меня,
убить мой дом
и край, где жил,
убить цветок
в июньской ржи.
Убить любовь,
убить родных
и речку
в берегах замшелых,
впадавшую
в мой юный стих,
как в омут
солнечные стрелы.
Пришла убить
исток души,
убить мечту,
убить свободу,
стереть,
разрушить,
сжечь,
распять!..
Смотрю,
как осыпает воду
осенней бронзой
листопад.
Смотрю, как солнце
в жёлтых брызгах
лучи косые
стелет в ряд.
Безмолвно стынут
обелиски,
могилы братские
молчат.

* * *

Я холод
с фронта не люблю.
Я там,
на Ладожском, на льду,
промёрз насквозь,
до каждой клетки.
Не пожелаю и врагу!
За долгих восемь пятилеток
никак согреться не могу!

* * *

Над рекою тихо дремлют вербы,
ветер наклонился над поляной.
В память барабанит сорок первый
грозным баритоном Левитана.
Кто-то целовался,
кто-то плакал.
Захлестнул страну водоворот.
Дымный шлейф
по синим хвойным лапам
эшелон тянул за поворот.
Где вы ныне, юноши былые?
Выстояв и выстрадав сполна,
с гордостью носите
головы седые,
с гордостью
носите ордена!
Те, кто не вернулись, –
стали песней,
бронзою взошли под облака.
По-над Волгой
и над Брянским лесом
память их нетленна на века.
Пусть порой пошаливают нервы –
это и понятно
и не странно.
В память барабанит сорок первый
грозным баритоном Левитана.

* * *

Я в окопах с войною один на один.
Надо мной облака-мокрошлёпы.
Сколько било по мне
и снарядов, и мин,
но всегда выручали окопы.
Весь в грязи, в глинозёме,
промокший насквозь,
на предельном душевном изломе,
но сидел я в окопах
незыблем, как гвоздь.
А вот Васька, напарник мой, помер.
Не простуда свалила –
осколок шальной!
Только взвизгнул – и нету солдата.
И опять я один на один с войной,
лишь со мной
автомат да лопата.

СОРОК ПЕРВЫЙ...

Николаю Троицкому

В сорок первом –
какие уж там ордена!
Мы медалей в глаза не видали.
Из-под пыльных сапог уплывала земля –
и просёлки, прогнувшись, рыдали.

В сорок первом
понуро брели на восток,
огрызаясь последним патроном.
В сорок первом –
в гортани солёный комок
и бескрайние дни в обороне.

В сорок первом –
на каждой изрытой меже,
уступая металлу по силе,
умирали.
Но зрела уже
затаённая сила России.

В сорок первом
с боями мы шли на восток,
чтоб вернуться, дойти до Берлина!
Сорок первый – кровавый,
сорок первый – жесток,
и из всех прошлых лет –
самый длинный.

* * *

Минутная слабость – и в пятках душа!
Ползу по траншее, натужно дыша.
Гудит, полыхает, грохочет ад,
и танк под себя подминает ребят.
Хобот изогнут, расплюснут щит,
пушечный ствол нелепо торчит.
Я, кажется, выжил нелёгкой ценой,
Я танк заприметил согбенной спиной.
Он вдруг появился, он выполз из тыла.
Ещё бы секунда – и всё, и могила!..
Ползу по траншее, оглох, но живой...
Но как буду жить, пережив этот бой?

ДОРОГА ЖИЗНИ

Я вспоминаю Ладогу во льдах –
с торосами, вселяющими страх,
с морозами свирепыми, с ветрищем!
А мы спасение
во льдах тех мёртвых ищем...
Не для себя –
для тех,
кто стал прозрачней тени,
кто в голоде изведал все ступени
и выстоял на самом на пределе.
Их души камельками тлели в теле...
В морозной мгле полуторки с ЗИСами,
и дети с очень взрослыми глазами
смотрели проницательно и строго
на жизнь дарящую дорогу...
Я вспоминаю Ладогу войны –
и холодом пронизывает сны,
как будто всё ещё держу экзамен
пред теми детскими
недетскими глазами.

НО НЕ ХВАТАЛО ПОЕЗДОВ…

Я мог, конечно, быть убит,
но был всего лишь ранен.
Втянул осколки, как магнит, –
и застонал в бурьяне.
А город всё бомбят, бомбят...
Лежу под Старой Руссой –
насквозь простреленный солдат,
совсем ещё безусый.
Пытаюсь встать: пустой маневр –
в ногах осколки ль, пули?
Бомбёжкой разворочен сквер,
и голос тонет в общем гуле.
Потом – санбат... Хирург в халате
скорей похож на мясника.
И чьё-то хриплое проклятье,
и чья-то в таз летит... рука.
Потом – разбитая дорога:
пункт назначения – Крестцы.
Что ни ухаб, то в мать и в Бога
костят водителя бойцы.
«ЗИС» полон воплей, полон стонов
и окровавленных бинтов.
А на Восток шли эшелоны,
но не хватало поездов...

ВОСПОМИНАНИЕ СОЛДАТА

Вокзалы пахли
карболкой.
Третья полка –
мечтаний предел!
Поезд гудел,
и стонала земля
без умолку
от зажатых
в обоймы окопов
простуженных тел.

Поезд гудел.
Сквозь фанерные ставни
Резкий ветер буравил
Зябкий бушлат,
И припомнилось мне,
И припомнилось очень
недавнее.
Жизнь припомнилась та,
Что была хороша.
Заболела душа
Соловьиными вёснами,
Голубым перезвоном
Лебяжьих берёз,
И нетленной знакомою
россыпью
Очень мирных
Над рощами звёзд.
Не сбылось,
Что мечталось-надеялось:
Жизнь вписала свои
поправки.
Пронесла
Через все горнила.
Переделки и переплавки!
И твердели ребячьи
мускулы.
И мужала духовная сила!
Каждым нервом
Ребята чувствовали,
Что за ними стоит
Россия!

ПОД ПРОХОРОВКОЙ

Броня, броня... Железный скрежет
полуглухое ухо режет.
Спустилась ночь средь бела дня.
«Огня, ребятушки, огня!..»
Стонал металл, броня дымилась,
хотелось пить, хотелось жить!..
Над силою вставала Сила, –
и эту Силу не сломить!..
Теперь в полях алеют маки,
сады раскинулись в тиши.
Еще в земле ржавеют траки –
следы войны, следы атаки,
где я оставил часть души.
Оставил тех, кто не вернулись,
кто пал в бою среди жнивья...
И дышит памятью, волнуясь,
вся белгородская земля.

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

Здесь на прицеле каждый метр,
и в каждой пуле скрыта смерть.
И кажется – спасенья нет!
А мне неполных двадцать лет!
Но где воронка, где кювет,
а где смекалка русская!..
От пуль не так велик уж вред,
коль есть траншея узкая.
И если есть большая злость:
на вражьи все расчёты,
Сгребаю эти пули в горсть –
стальные зубы чёрта!
И обращаю свист их вспять
жестоко и уверенно!
И научился враг считать
теперь свои потери!
А мы считали день за три
и год за три считали!
И шли, и верили – в груди
стучат сердца из стали!
И верили, что смерти нет,
и знали, что победа близко.
Но обрывался чей-то след
новорождённым обелиском.

СОКОЛ

— «Сокол», «Сокол», ответь!
Я – «Ока», я – «Ока»!
Я – река
твоего детства!
Я бегу по лугам из того далека,
так бегу, что заходится сердце...
— «Сокол», «Сокол», ответь!
Я – «Ока», я – «Ока»!
Я – строка,
перебитая взрывом!
Я сжимаю в зубах эти два проводка.
Отвечай, отвечай!..
Нет обрыва...
...Через зубы его,
через скулы его,
через душу,
почти что угасшую,
за командой вослед
понеслось на врагов
отомщенье
лавиной фугасною!
— «Сокол»! «Сокол»...
В небе высоком,
виражами
смиряя полёт,
сокол –
гордая птица –
плывёт.

* * *

Как падал он,
споткнувшись об осколок...
Металл был рван
и грудь пронзил насквозь.
И кровь, сестра гвоздик и роз,
пылая, обожгла просёлок.
Как падал он...
Шинели крылья бились
в горячем вихре тола и песка.
Такая смерть в бою, как милость.
Угаснул пульс у бледного виска.
Он падал долго.
Вечность пролетела.
Когда же глобус, бег смиряя, встал,
полёт иссяк. Земли коснулось тело...
Упал солдат – и руки разметал.

ПРОЩАЙ, РОДИНА...

Нас звали «Прощай, Родина» –
и это не ирония!
Сорокапятку «грозную»
тащили дружно кони.
Земля никем не пахана,
прут танки с разворота.
Придавленная страхом,
лежит в пыли пехота.
В расчёте нас лишь трое.
Зарыться б... Но спокойно
летит команда: «К бою!».
И тут же: «Бронебойным!»
И тут же: «Чуть правее!
Да ниже, по каткам!..»
Сюда бы – батарею:
одним не сладить нам...
Но танк –
он вдруг споткнулся,
второй – пускает дым...
И санинструктор Люся
ползёт к нам,
к неживым...
Прости нас – слышишь, Родина?!
О, Родина, прощай!..
Крестами изуродован,
дымит передний край.

* * *

...Она была с противогазом,
на рукаве рдел красный крест.
И всё одну твердила фразу:
«Скорее в лес, скорее в лес!»
Война. В то утро на рассвете
она тряхнула древний Псков.
Прощай, жена, прощайте, дети,
прости-прощай, моя любовь!
А я не знал ещё любви,
не знал войны – юнец зелёный!
Нас доставляли эшелоны
на огненный рубеж земли.
И полегли мои погодки –
однополчане, земляки.
Их жизнь была, как миг, короткой,
как взмах отчаянный руки.
Мы, старики, пройдя сквозь это,
не позабудем злое лето,

БРОСОК НА ВЫСОТУ

Свихнуло рот презренным матом:
«Вперёд, вперёд!»
Вспороли сумрак автоматы –
за взводом взвод!
На высоту всю злость обрушив,
был бой, как миг.
Который год стучится в душу
предсмертный крик!
Потом по склонам мы считали
тела солдат... –
И писарь с вещмешком медалей
потупил взгляд.

ВЗРЫВОМ КАЧНУЛО ПЛАНЕТУ

Памяти минёра Вити Мончинского,
товарища по оружию

Ни в безымянной,
ни в братской
праха его не сыскать.
И нет той звезды солдатской,
которую ищет мать.
И нету на землях сожжённых
от Волги до Эльбы-реки
ни пня, ни креста,
ни оградки зелёной.
И те – не его бугорки.
А минное поле – потёмки,
а минное поле – ад!
Шипела сухая позёмка,
и стыло молчал Ленинград.
Вдруг взрывом качнуло планету –
и толовый чёрный дым!..
Пронзило рощу горячим ветром –
и замело следы...

ПОД СТАРОЙ РУССОЙ

Игорю Григорьеву

На лес обрушился металл,
и был металл тот смертоносным.
Я видел – отступали лоси,
и ворон с нами отступал.
А рядом рыжая лиса
(тот бой, как помню, был в июле),
спасаясь от фашистской пули,
слинявший хвост в наш тыл несла.
И я, как зверь, худой и хмурый,
к своим ломился сквозь леса,
и с каждым шагом пуля-дура
могла разверзнуть небеса.

ЭХО

Я не о том, что на потеху
ребячьим крикам гулко вторит.
Тут не до смеха.
Это эхо –
глухая боль
и чьё-то горе…
Я ехал полем,
в перелеске,
берёзы навзничь разметав,
взметнулось в небо эхо резко.
Фонтаном дым, земля, металл…
И кровью брызнула рябина
на ранний палевый закат.
Как злобу затаила мина –
врагом оставленный заряд…
А парню было двадцать лет,
И двадцать лет
войны здесь нет.

* * *

Коснулось голосом далёким,
Как бы идущим от травы.
Он был не громким, не высоким.
Тот голос плыл и падал в рвы
И замирал. Потом как будто
Рождался заново и рос.
А над рекою рдело утро
И отражалось от берёз.
Волненьем тронуло ромашки,
Широкий луг, как белый плат.
Вдруг понял: втрое стал я старше
Тех нестареющих ребят.
Тех, из четвёртой батареи,
Тех, из окопных, дымных дней.
От их дыханий ветром веет,
Бессмертным запахом полей.

* * *

Он долго ехал. Из самой Сибири.
Потом всё шёл, минуя перевал.
Долина показалась много шире,
А прочего совсем не узнавал.
В пространстве лет огромны перемены:
Явились внуки, смыт траншейный шрам.
На избах крестовидные антенны
И звёзды кое-где по бугоркам.
— Да, точно здесь. Конечно!..
В сорок третьем,
Среди вот этих пожелтевших трав…
Всё вспомнил он, а горный ветер
Трепал пустой его рукав.

Анатолий Дрожжин

ЭВАКУАЦИЯ

Со дворов вели коров мычащих
и котомки ладили к плечам.
И ворчал старик на домочадцев,
на слезливых дочек и внучат.
В сад прошёл.
Остановился, сгорбясь.
Долго землю разминал в горсти
и в кисет, пропитанный махоркой,
как ребёнка в люльку, опустил.
И рукой потрогал под поветью,
бросил взгляд на вымахи стропил.
Дверь закрыл.
На дверь замок повесил.
И собаку отпустил с цепи.
Брызнул дождь.
И затихали хаты,
пустоты не зная отродясь.
И людской поток заколыхался,
на восток тревожно уходя.
Люди шли.
Глаза им вечерила
горькая осознанность вины.
И собака долго-долго выла
там, в деревне, в стороне войны.

ПЛЕННЫЕ

На их ногах лохмотья маскхалатов
пылили, точно в печке помело.
Солдаты их вели через село,
как гнали стадо пастухи когда-то.
Один – здоровый, рыжеватый, лысый –
в растоптанных лаптях маршировал.
По сторонам поглядывали лица,
пожухлые, как осенью трава.
Коза орала за соседским садом,
и дым заречный небеса лизал.
Мы, пацаны, до помутненья взгляда
на этих фрицев пялили глаза.
Они устало горбили лопатки,
поддерживая рваные порты.
И почему-то матери-солдатки,
остолбенев, не раскрывали рты.
И не грозили больше кулаками.
И молвил дед:
«Усё, капут войне».
И мы в воронку сбрасывали камни,
освобождая руки от камней.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Стрелял пригорок жаворонком,
и на пригорок трель текла,
и жизни радовалось звонко
село, спалённое дотла.
И праздник шествовал по душам
и светом лица обдавал.
И наволочку, сняв с подушки,
к древку пристроила вдова.
За нею, руку слив с рукою,
как будто сердце с сердцем слив,
солдатки шумно над рекою
под красной наволочкой шли.
Солдатки шли, смеясь и плача,
забыв на время о полях.
Висели давней кройки платья
на их телах, как на колах.
Но дайте время отрыдаться,
отрадоваться по живым!
И одноногий председатель
впервые не напился в дым.

НА СМЕРТЬ ДЯДИ

На миру и смерть красна
(поговорка)

Раскисли и дороги и поля —
недельный дождь расхристанный,
и даже
светлее неба выглядит земля,
хотя она едва ль белее сажи.

И каждый дом, поникнув, обветшал,
как будто всё село
ушло под воду.
Ах, дядя Ваня, вновь ты оплошал:
не мог для смерти
выгадать погоду!

Всю жизнь работой согнута спина,
да нелады с милицией в получку.
А ведь с войны принёс ты ордена,
И мог судьбу определить получше!

Строптив и неуживчив без вина,
в застольях ты бывал взрывоопасен.
Вот смерть и на миру,
а не красна,
и даже красный гроб
во тьме не красен.

В удушливой и мрачной тишине
соседей уйма жмётся у порога.
И непритворно
плачется жене
перед твоей последнею дорогой.

И мертвенно стоят в углах венки
подобием
вопросов нерешённых.
Лишь ордена —
как будто угольки
в костре,
в последний раз разворошённом.

СТИХИ О СЛАВЕ

Человек за славой не гонялся.
От смертей в кусты не убегал.
Делал дело — пулей и гранатой
очищал Россию от врага.
Шёл в атаки ярыми ночами,
спотыкался, падал в красный снег.
И за это орден получает
через четверть века человек.
Вид солдата радостью расписан,
тихим светом взгляд его прошит.
Пуле надо к цели торопиться,
а награде незачем спешить.
Он сегодня в клубе самый главный,
и ему — все почести села.
Не гонялся человек за славой,
человека
слава догнала.

СТАРИКИ

Владимиру Константиновичу Соколову

Старики, старики,
в этой жизни досталось вам!
Все в трудах да боях...
Только вам повезло —
В мире столько людей
не дожило до старости,
пало в яростных схватках
с прожорливым злом!
Зло являлось в обличье
пожара и голода,
одевалось и мундир
ядовитой войны.
И косила карга синегубая
головы
разъяренно
с одной и с другой стороны.
По полям и лесам
ураганились битвы,
и горячая кровь
прожигала виски.
Старики, старики,
как смогли победить вы,
выжить как вы смогли,
старики, старики?!
Зло и ныне сильно,
зло не знает усталости,
и кровавы закаты
за дальней рекой.
В мире столько людей
не дожило до старости!
И поэтому надо
беречь стариков.

ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН В БРЯНСКЕ

Про Брянский лес звучит мотив,
течёт горячих дней сказанье.
И, лица к свету обратив,
на площадь вышли партизаны.
Усталый, непарадный вид!
Ведь столько выпало осилить,
чтоб доказать, на чем стоит
и стоит что страна Россия!
В рывке – стремительность штыка,
в лице – готовность насмерть драться,
в руке – граната для врага
и для себя, чтоб в плен не даться.
Машины мчатся налегке, –
и облака плывут куда-то,
и смотрит женщина в платке,
и смотрит русич бородатый,
как по сердцам идет мотив
и как растут под солнцем дети.
Стоят герои, воплотив
мгновенья жизни, смерти, мести.
У ног лежат цветы любви,
и годы шаг чеканят гордо.
На площади эпоху битв,
как на ладони, держит город.

ПИДЖАКИ

Егору Исаеву

На поле брани пали мужики.
От мужиков остались пиджаки.
Их вдовы
и на хлеб не променяли,
хозяев новых
к ним не примеряли.

У сельских вдов
устойчивая память,
а мужняя одёжка всех теплей.
Ходили в них с граблями и цепами
дорогами прожорливых полей.

Награды и взысканья получали
в тех пиджаках, свисающих с плеча.
Полою утирали след печали,
детишек укрывали по ночам...
Давно детьми подарены обновы,
какие и не снились старикам.
А в пиджаках поныне ходят вдовы,
и нет износа этим пиджакам!

БЕЖЕНЦЫ

Слёзы женщин,
страшный вой металла —
я в душе навеки сохраню...
По каким дорогам не мотало
нашу деревенскую родню!

Как цыганы — табором
спешили.
От войны уйдешь ли далеко?
Помню,
что дома большие были —
слишком уж горели высоко.

Помню,
как поскрипывали дроги,
помню
раскиселенность дорог.
Кто-то обнимал нас на пороге,
кто-то не пускал и на порог.

Воскрешаю
ночи в месте гиблом,
цвет небес над нами земляной...
Но не помню,
словно бы отшибло,
детства, что осталось за войной.

НА МОЕЙ ПАМЯТИ

Входная дверь завешена попоной.
В святом углу фанерная икона,
с неё глядит сочувствующий Бог.
От вдовьих слёз сыреет полотенце.
Гуляет снег по выстуженным сенцам.
Грядёт весна – мальчишка без сапог.

Вдова по хате ходит, бедолага,
в руке дрожит казённая бумага,
какую искарябал карандаш:
был представитель строгого закона,

в сундук залез и четверть самогона
забрал с собою.
Что теперь продашь?

Какие в той бумаге закорючки?
Простят или упрячут за колючку?
Но что б там ни придумал сельсовет,
как без сапог сынишке
в половодье?
На нет сойдёт ли горюшко в народе?
Наверно, да.
А может быть, и нет.

ФРОНТОВИК

Наплыв на курорты велик —
по швам расползается Гагра!
На пляже лежит фронтовик —
весь в пятнах, лишенных загара.
Я рядом.
Склоняю главу
и слушаю речи мужские:
«Вот этот ожог — за Москву.
А этот осколок — за Киев...»

Стыдливо, с оттенком вины,
средь юности греется робко.
В глазах его — тени войны,
на теле — вся карта Европы.

Беда откатилась давно...
Мне думалось, может быть, странно:
не хватит любых орденов
прикрыть неизбывные раны.

Аркадий Зернов

РОССИИ, МАТЕРИ СОЛДАТСКОЙ

Тебя они в сердце носили,
Без страха шли в яростный бой.
Ты ими бессмертна, Россия!
Они же бессмертны тобой!

ФРОНТОВИКАМ

За всё в долгу мы перед вами.
За то, что юности не знав,
Вы, повзрослев, прошли с боями
И сохранили зори нам.

Пусть ваше слово не стареет,
Его несите молодым.
Ведь ценность прошлое имеет,
Пройдя через огонь и дым.

Нет! Вы не прошлое, вы – больше,
Не дрогнув в тот далёкий час.
Живите радостно и дольше
Как гордость вечная для нас.

Николай Иванин

АИСТЫ СОРОК ЧЕТВЁРТОГО ГОДА

Аисты в небе кружились…
И было хоть недосуг,
Всматривались, напружинясь,
Бабы, забыв про плуг.

Всматривались с тоскою,
С такою – не пересказать…
И прикрывались рукою –
Крылья слепили глаза.

Виделось всё, как прежде,
То, что ушло сполна.
И чиркнуло вдруг надеждой,
Робкой, как тишина.

«Ах, загрубели рученьки,
Если ласкали – во сне…
А возле глаз-то – лучики,
А в волосах-то – снег…»

А над землёю талою,
Разбуженною для зерна,
Аисты всё летали,
Словно бы
не война…

КОРОБОК

Я смотрю на отцовские вещи.
Коробок.
В нем нет больше спичек.
Я хочу его бросить в корзину.
Но глянул на этикетку –
И увидел красное небо.
И юношу.
Он с гранатой в руке.
И красное небо.
Клок красного неба.
Как тяжка ноша...
Коробок. В нем нет больше спичек.
Я хотел его бросить в корзину,
Механически, между прочим:
Умирая, отец просил,
Чтобы я стол очистил от хлама.
Коробок.
Он давно без спичек:
«1945 год».

Николай Иванов

ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА

1.

В Россию текла боль.

Она с усилием переваливала своё рваное, длинное тело через косогоры, глотая пыль с терриконов и собирая для пропитания колоски среди сгоревшей на полях бронетехники. Её саму из последних сил тащили на костылях, толкали в детских колясках и несли спелёнутой на руках. Везли в набитых нехитрым скарбом машинах. Именно по ним, по машинам, и узналось: а боль-то сама по себе бедна, богатые на таких стареньких «жигулях» не ездят.

Её останавливала, пытала и исподтишка пинала на блок-постах родная украинская армия, обвиняя в предательстве и грозя то ли отлучить от родины, то ли наоборот – никуда не выпускать. При этом боль сама могла тысячу раз, ломая шею, сорваться с крутых склонов, свалиться с искорёженных пролётов на разрушенных мостах и навеки остаться на домашней земле под наспех сколоченным крестом. Но всякий раз она находила и находила силы двигаться дальше. Её двужильность удивляла, это нельзя было ни понять, ни объяснить. Особенно тем, кто не видел, с какими муками она рождалась под минами в посёлке Мирном. Как вдоволь, словно про запас насыщалась слезами в городе Счастье. Как горела днём и ночью в Металлисте. Уродовалась в Роскошном, превращалась в чёрные кровавые сгустки в Радужном, плавилась в Снежном. Пряталась в тесных подвалах Просторного ради того, чтобы не померк свет, как в Светличном, и рыдала на Весёлой Горе...

Брела, текла по юго-востоку украинская боль – немая, но оттого легко переводимая на любые языки мира. Порой казалось, что это просто мираж Первой мировой, начавшейся таким же жарким летом 14-го года. Но – ровно сто лет назад. Та война смела с планеты правых и виноватых, разорвала в клочки империи и загнала в небытие целые династии: ей после первого же выстрела становится всё равно, что засыпать в могилы – любовь или ненависть, добро или зло, счастье или боль.

Боли нынешней тоже не гарантировалась безопасность и потому она вместе со всеми мечтала лишь об одном – побыстрее увидеть засечную черту. С пограничными вышками. С русскими солдатами на них. Там, за их спинами, за их оружием и могли прекратиться все мучения.

Но не торопилась, не спешила открываться граница. Словно оберегая собственный дом от близкой войны, оттягивала и оттягивала засечную черту вглубь России. А может, просто давая людской боли возможность испить свою чашу до дна.

Вот только где оно, дно? Кто его вымерял-выкапывал? Под чей рост и какую силу?

Но не идти, не ползти, не ехать нельзя было, потому что за спиной «градины» от «Града» срезали бритвой деревья. Вспарывали крыши школ и детских садиков. Перемалывали в труху бетонные укрытия бомбоубежищ. А смешнее всего войне вдруг оказалось наблюдать за стеклянными ёжиками. Разбиваешь взрывом на мелкие осколки стёкла, и они веером сначала впиваются, а потом шевелятся на людях, когда те начинают ползти. Дети ползут – ма-

ленький ёжик, старики – ёжик большой. Летом одежды на людях мало, видно всё очень хорошо…

Однако и на эти остатки живого после артиллерии серебристыми коршунами сваливались с неба МиГи и «Сушки». Из-под их крыльев, как из сот, с шипением вырывались гладко отточенные «нурсы» с единственным желанием – доказать свою военную необходимость, своё умение рвать на куски, сжигать, крушить всё без разбору. Роддом и морг – одновременно. Водозабор и подстанцию – можно по очереди. Церковь, пляж, тюрьма – как получится. На то они и неуправляемые реактивные снаряды.

Вольготно на войне металлу.

Территория Новороссии, при любом исходе битвы уже обозначенная историей как Донецкая и Луганская Народные Республики, могла показаться адом, выжженной, потерявшей рассудок землей. Могла, если бы не ополченец «Моторолла», ломавший плоскогубцами гипс на своей правой руке, – ради фронтовой свадьбы, ради того, чтобы могла невеста по всем правилам мирной жизни надеть ему обручальное кольцо. Если бы не черепашка, которую нашли ополченцы в разрушенном детском садике и не поставили на довольствие в одном из своих отрядов самообороны. В конце концов, если бы не врачи, во время обстрелов прикрывавшие в реанимации своими телами малышей, которых нельзя было отключать от медицинских аппаратов и переносить в подвал при бомбёжке. А их, врачей, закрывали собой и расставленными руками, – чтобы захватить как можно большее пространство, – обезумевшие матери этих недвижимых деток...

С усилием, с кровью, но жили, выживали Луганск и Донецк, хотя и сражались в одиночку. Соседние территории, исторически тоже считавшиеся Малороссией или тяготевшие к ней, не подтянулись, не отвлекли врага хотя бы ложным замахом. Укрылись в глухое молчание Харьков и Николаев. Да, обезглавили сопротивление, заполонили тюрьмы людьми с георгиевскими ленточками, но ведь не на пустом месте родился закон: вчера рано, но завтра – уже поздно!

Отворачивался Днепропетровск. Потеряло удалую казачью шашку под женскими юбками Запорожье.

Одесса? Город-герой оказался городом-героем всего лишь пятьдесят сожжённых в Доме профсоюзов горожан. В других странах ради одного невинно убиенного вспыхивают народные восстания, мужество же одесситов иссякло вместе с тайными похоронами этих мучеников. Смолчала Одесса. Не произнесли ни звука и её великие дерибасовские сатирики, ещё вчера поучавшие с экранов телевизоров всех нас достойно жить. Может, еще потому не встала Одесса, потому распылила великое звание «Города-героя», что в нём с помпой открывали памятники портфелю Жванецкого и нарисованной, брошенной на тротуар под ноги прохожих тени Пушкина, но не ветеранам Великой Отечественной?

А может, ещё встанут? Ещё соберут силы и злость?

Но первый, второй, третий, четвёртый месяц Донбасс и Луганск, которые собранная на майдане в Киеве национальная гвардия вкупе с армией и частными батальонами олигархов обещали раздавить, как колорадских жуков, за десять дней, бились вопреки всем прогнозам. В соотношении 1 к 50. И тем значимее выглядело мужество одиночек, если даже в семимиллионном шахтёрском крае слишком многие посчитали, что война их не касается. Почувствовав эту слабину, власть в Киеве и взвела курок. Полетели «градины», засветились в ночи начинённые фосфором бомбы, взмыли в небо стальные коршуны. Воевать глаза в глаза с ополченцами украинская армия не смогла, били по площадям, а значит по невиновным, непричастным и отстранённым тоже.

Потому из Счастья, Мирного, Радужного, Славянска, легендарного «молодогвардейского» Краснодона, Шахтёрска, Ясиноватой, Дебальцево вытянулись колонны уходящих от войны людей. В Россию. К «агрессорам», как объявили русских в Украине.

Вместе с беженцами потекла и боль. Никого не спросясь, ни с кем не посоветовавшись, она просто проникла в одежды, в глаза, в кожу, в сознание, в слова, в мысли, даже в сны людей, идущих к засечной черте.

2.

Я ехал навстречу этой боли на БМП – универсальной, сотворённой для вёрткого, скоротечного боя боевой машине пехоты.

Её тонкие, изящные, словно только что вышедшие из-под педикюра траки легко сдирали мшистый слой дёрна вдоль просеки, ведущей к границе. Но я стучу ногой по левому плечу торчавшего из люка механика-водителя – сворачивай в эту сторону. У меня нет погон, камуфляж без опознавательных знаков, но бойцы слушаются, как безоговорочно подчиняются в незнакомой местности проводникам. Собственно, я и вывожу войска на самую удобную с военной точки зрения позицию. Сейчас ещё левее, потом рывок через выросший самосевом лесок…

Вообще-то я ехал в родные края в отпуск, а не водить колонны. Но в очередной раз грустно подтвердилось, что в нашей огромной стране, при её огромной армии воюют, выходят на острие событий одни и те же люди: что в Афгане, что в Чечне, что в Цхинвале я встречал в окопах одних и тех же офицеров. И даже здесь, в медвежьем углу брянского леса (древнее название города Дебрянск произошло как раз из-за непроходимых дебрей) нос к носу столкнулся на просёлочной дороге со знакомым полковником с Урала. Знать, не только Одессу и Донецк победило телевидение, если даже у нашей армии нет длинной скамейки запасных...

— Извини, нам пора, – дёрнул щекой через пару минут после встречи уралец.

Приказ для стоявшей за его спиной войсковой группировки уже знаю – вылезти из капониров, в которые пришедшие из глубины страны бойцы зарывали себя и технику последние три дня. И не просто снять маскировку, а обозначить себя как можно ярче в непосредственной близости от границы. Порадовался: неужели руководству страны наконец-то надоело прятаться на собственной территории и делать перед заграницей вид, что не ведаем о перемещениях своих войск?

— Свои тапки в своей хате ставлю хоть под лавкой, хоть на печку, – перевёл дипломатию и военный приказ на житейский язык уралец.

А я успеваю увидеть на его карте отметку около своего родного села. И хотя держал в уме и дальнюю, а потому, скорее всего, более верную причину проснувшейся активности - оттянуть от Новороссии на этот участок границы войска украинской армии, помочь мужикам из ополчения хотя бы таким, косвенным образом – встаю перед другом-полковником по стойке «смирно». Отдаю честь: готов быть рядом. Слов в данном случае не требуется, и командир кивает на головной «тапок» – залезай и рули.

Лишнего шлема со связью нет, рулю колонной по-афгански – ногами. Впереди до размеров солдат вырастают из-под земли боровички в зелёных касках и с оружием, перевязанным пропитанными зелёнкой бинтами – чтобы не блестели стволы среди листвы. Снимают с рогатин перегородившую нам дорогу длинную осину со срезанной через равные промежутки корой – чем не шлагбаум! При скорости начинают хлестать нависшие над дорогой ветки и приходит осознание полной зависимости нашего мира от случайностей: когда-то кого-то не отхлестали розгами по заднице, мальчики выросли, стали никудышными политиками, и вот теперь ветки бьют нас. Уже по лицу.

Благо, наша «гусянка» быстроходна, и грудью вперёд, урча от скрытой мощи, вырывается из самосевки на простор. Под бинокли замерших на сопредельной стороне украинских пограничников.

Цыганочка с выходом.

Мазурка.

Барыня.

Гопак, в конце концов!

А лучше всего вальс. Но – севастопольский! Он только что, этой весной прозвучал для России, и весь мир в оцепенении осознал её величие и силу: когда возродилась «Рашка», когда вышла из-под послушания немытая Рассея? Ведь к слабым целыми полуостровами не уходят!

И вот эта сила здесь. И я первым, помня о Новороссии, готов показать припавшим к окулярам украинским пограничникам, что сила эта сумасшедшая и могу ударить механика-водителя и правой ногой, направляя колонну на границу. Через засечную черту.

Горючки – почти до Киева! На стволах пушек – чехлы, но они скорее от пыли: 100-мм снаряды со скорострельностью 15 выстрелов в минуту прошьют ткань, не заметив этого. А рядышком – автоматическая пушка на 330 выстрелов в минуту. Под локтем гранатомет «Балкан» со скорострельностью уже 400-500 выстрелов в те же 60 секунд. Если в бинокль вдруг не видно, добавляйте на веру ещё два комплекса – для уничтожения вертолётов и выноса мозгов танкам. Вместе с экипажами. Ну, и куда без родных крупнокалиберных танковых пулеметов. Они – классика жанра. И всё это подо мной, под башней, на которой я восседаю царём на троне. В чреве только одной «гусянки». А их пылит сзади с десантом на броне... Бррр. Бойтесь, ребята. Или хотя бы просто доложите наверх про наш демарш. Войной, конечно, не пойдем, но вдруг наш откровенный танец хоть немного заставит Киев задуматься о безнаказанности. Поможет притушить вашу же, украинскую боль, текущую в Россию за сотни километров отсюда. А может, как в былые времена, станцуем вместе? Ради будущего. Оно ведь всё равно настанет, на Луну друг от друга не улетим. А вот Америка останется за океаном, его не выпьешь. Так что приглашаем! Пройдём по острию каната, как шутят в армии. Училища-то заканчивали одни и те же, ещё пока есть за что зацепиться в общем прошлом. В нём не называли презрительно фронтовиков колорадами, портрет приспешника фашистов Бандеры не висел образцом нации в государственных кабинетах, от русской речи скулы не сводило…

Проносимся мимо заброшенного колхозного сада, больше похожего на недоенное стадо коров, стоящее по колено в бурьяне. Десанту хочется яблок, лето с зеленью, ягодами и фруктами проходит мимо них, но скользят, елозят по броне малые саперные лопатки, притороченные к солдатским ремням. Для бойца неизменно правило – окоп раньше еды. Обустроимся, а потом можно и яблочек, даже молодильных, поискать.

Рывок на скорости не долгий – пошли рытвины от плугов. Они перед нашим сельским кладбищем и словно тормозят ретивых – к нам торопиться не надо. Не будем. Там уже лежат моя бабушка, первая учительница, облучившийся в Чернобыле друг. Стволы синхронно, как на плац-параде, кланяются их могилам, и вслед за оружием, вроде бы просто потому что качка, кланяюсь и я. Вот, привёл защиту. Теперь можете лежать спокойно. Может, и хорошо, что не дожили до таких времён...

Кладбище – самое высокое место в округе, в кустарнике рядом с ним можно укрыться, а вот обзор на все 360 градусов. Прекрасна и связь, из села народ сюда ходит звонить и в Москву, и в Киев: оказавшись практически на равных расстояниях от столиц, мы и разъезжались в них за лучшей долей тоже почти поровну...

Командиру неведомы мои переживания, привычно отдаёт распоряжения. Солдаты то ли дурачась, то ли потому, что по-иному не получалось, повернули бээмпешки к границе задом, в охотку погазовали и юркнули нашкодившими котятами в тень от деревьев.

Но не котята, конечно. Украина зазывает к себе всех, кто мог бы наказать, проучить, просто укусить Россию. Она готова стать плацдармом, подносить спички, снаряды, чтобы заполыхало и у нас. В конце концов, выколоть самой себе глаз только ради того, чтобы у России был кривой сосед.

Потому и замерли на сельском кладбище БМП, по-китайски прищуривая от пыли глаза-триплексы. Целые и невредимые.

Командирам прищуриваться некогда.

— Это, случаем, не ваши? – полковник кивает на дубки, редкой стёжкой отделявшей наши деревенские поля от украинских наделов.

К ним на всех порах неслась запряжённая в телегу лошадка. То, что в селе занимались контрабандой, не видела только полиция, но с приходом армейцев ситуация, конечно, изменится. Надо предупредить земляков, чтобы зачехляли свой «контрабас» от греха подальше.

Командир понимает, что даже спрятанных под броней 660 «лошадей» не хватит догнать телегу из контрабанды, дёргает щекой: хорошо, но это последняя. Потому как он теперь главный на этом клочке России и отвечает за всё происходящее здесь. А точнее, за то, чтобы на нём ничего не происходило.

3.

— Вроде пронесло.

Стёпка Палаш притормозил Орлика, вывернул шею. Танки не гнались, и он подмигнул лежавшему в телеге Кольке Трояку: вот так мы их по-партизански.

Но тут же затушевал мысли, вновь вскинув вожжи. Трояк в войну пусть и по малолетству, но числился в полицаях, и хотя отсидел за свою белую повязку сполна, при нём прошлое в селе старались не ворошить, щадили самолюбие.

Да только не объехать сегодня прошлое ни на Орлике, ни на кривой козе – вспомнится. Потому что ехали за сватом Трояка – Федькой, умершим вчера на Украине. Последним сельским партизаном. Кто теперь будет красить в селе памятник серебрянкой перед 9 мая? Когда по приходу немцев Кольку записали в полицию, Фёдор подался в лес. Жалел-завидовал потом Степан, что в это время совсем пацаном был, а то бы тоже, конечно, взял в руки оружие. И тоже имел бы потом все льготы ветерана и почести.

А вот Победа одного и тюремный срок другого так и не примерили бывших друзей одноклассников. Даже свадьба старшего сына Фёдора Максимыча за девкой Трояка не посадила их за один стол.

— Ты что творишь? Хочешь, чтобы внуки были полицейскими? – метал громы и молнии Фёдор перед свадьбой.

— Люблю я её. А внуки будут партизанские! – не отступился сын.

Характером вылился весь в батю. А потому и первым из района поехал закрывать Чернобыль...

– Хороший человек был Федька. Замысловатый, но не вредный, – опять нарушил молчание Степан.

Трояк согласно кивнул головой, хотя отношения сватьёв секретом ни для кого не являлись. А может, поддакнул всего лишь одному слову – «замысловатый»: кто узнает мысли соседа, даже если ехать с ним в одной телеге?

— А от чего они, тромбы, отрываются? – не отпускали Степана мысли о покойном.

— Всё в организме от нервов, – пожал свободным плечом Трояк из своего лежбища в сене.

— Ещё хорошо, что позвонили оттуда. А то по нынешним временам могли просто в яму скинуть.

— Главное, вывезти.

— Вывезем. Давай, Орлик, давай, милый, – подхлестнул Степан коня, вставшего перед крутой насыпью украинской трассы.

Четырёхметровый ров, как в других местах, здесь хватило ума не рыть, колючую проволоку не натянули, а пограничников к каждому кусту не приставишь. Так что если не шуметь, то проскочить можно, контрабанду так и перекидывают, не спрашивая национальности.

Но Орлик скосил сливовый глаз, перебрал перед препятствием в неуверенности ногами, и мужикам пришлось спрыгнуть с телеги. Палаш взял коня за уздцы, потащил за собой наверх, Трояк упёрся в телегу сзади. В натяг, все трое припадая на колени, но взяли пограничный рубеж. Повторить такой же подвиг с телом Фёдора вряд ли получится, сами свалят его в яму. А это грех несусветный, чтобы живые роняли мёртвых. Так что возвращаться придётся официально, длинной дорогой через пограничный пост.

Город знали, как собственное село: чай, пожили без границ, а поскольку Украина была значительно ближе собственного райцентра, то и в магазины, на поезда, в больницы ходили-ездили сюда. Без подсказок разыскали и морг. Там их заставили расписаться в какой-то бумажке и впустили в прохладный, матово освещённый барак: забирайте, который ваш.

Фёдор лежал на крайнем топчане. Заострившийся нос, выступивший вперёд подбородок и впавший рот изменили его облик, но не настолько, чтобы не узнать или засомневаться. На пиджаке висели колодки от медалей, но без самих кругляшей. На правой стороне, где по праздникам всегда красовался орден Отечественной войны, раной зияла рваная дыра.

— Как поступил, так всё и есть, – толстенький санитар, не дождавшийся подношения, демонстративно отвернулся и наседкой

замер над остальными топчанами. Авось на каком-то и снесётся золотое яичко на обед...

Деды затоптались вокруг топчана, примеряясь, как подступиться к покойному.

— Бери за ноги, – скомандовал Степан.

Стараясь не смотреть на лицо свата, Трояк взялся за туфли. Они скользили, одеревеневшие ноги Фёдора норовили хотя бы ещё раз коснуться земли. На телеге порядок заранее не навели, и пришлось расправлять сбитую попону уже под умершим, чтобы ехалось ему домой мягко, без неудобств. От любопытных глаз прикрыли тело предусмотрительно прихваченной простынкой и тихонько тронулись.

Покрывало отбросили пограничники. Сверили Фёдора с фотографией на паспорте, бдительно ощупали сено под покойным, долго созванивались по телефону, и в конце концов дали от ворот поворот:

— Вы нигде не переходили границу официально, а этот, – кивнули на телегу с умиротворённо лежащим Фёдором Максимовичем, – должен идти уже как груз. Через таможню. Надо декларировать.

— Да вы что, ребята? Домой же везём. Человек умер, – опешил Степан, взявший на себя роль переговорщика.

— А откуда мы знаем, где и как умер? Может, возите специально, выведывая секреты.

— Какие секреты? – простодушно не понял Степан.

— Ну, железная дорога рядом. Да мало ли что задумали. Вон, мотаетесь на танках вдоль границы. Что у вас на уме, откуда нам знать. Давайте назад, пока лошадь не конфисковали. Или ищите какие хотите справки. Назад.

Из машин, стоявших в очереди на пересечение границы, недовольно засигналили. Орлик нервно загарцевал, пытаясь развернуться с оглоблями в узеньком, огороженном бетонными блоками, коридоре.

— Сейчас, сейчас, – бормотал Степан, стыдясь своей нерасторопности при всеобщем внимании.

Трояк тоже прятал глаза. А вот с лица Фёдора Максимовича покрывало на разбитой дороге сползало раз за разом, позволяя ветерку легонько перебирать его седые волосы.

— Слава Украине!

— Героям слава! – вдруг раздалась из узкой полосы парка, тянувшегося вдоль дороги, знакомая по телевизору речёвка.

— Хто не скаче, той москаль.

— Про нас, Колька, – с грустной усмешкой посмотрел на попутчика Палаш. На телегу пока не садились, шли рядом с покойным. Но ускорили шаг, подстегнув вожжами Орлика - от греха подальше.

— Москаляку на гиляку.

— Что такое гиляка? – уже не без тревоги полюбопытствовал Степан. Трояк сидел свой срок на Украине, за столько-то лет язык поневоле выучишь.

— Виселица.

Степан проворно вспрыгнул на телегу, кивнул напарнику – поехали отсюда.

— Хотя правильнее – шибениця, – попытался успокоить Трояк, словно на ней, шибенице, висеть приятнее, чем на гиляке.

А шум митинга нарастал, впереди через низенькую ограду стали перепрыгивать люди, пробуя останавливать машины. Первые успели увернуться, но толпа густела, и перед Орликом улицу, наконец, закупорили.

— Хто не скаче, той москаль, хто не скаче, той москаль, – запрыгала вокруг машин молодёжь.

Орлик задёргался, не понимая шума, а тут и к экзотическому транспортному средству подскочило несколько человек.

— Хлопці, кінь не скаче. Москалюка. Треба конфіскувати. На донецький фронт.

— Або нехай за него скачуть діди.

Степана и Трояка оторвали от телеги, задёргали, вовлекая в общий ритм скачки. Палаш несколько раз подпрыгнул, лишь бы отстали и не принялись потешаться над телом соседа. Да и с какого рожна отдавать им лошадь.

Его дряблых скачков оказалось достаточно, чтобы сойти за своего, а вот Трояк встал как вкопанный. Как Орлик. Но тому нельзя падать на колени, на них у него с рождения белые звёздочки, сразу замарает...

— Слава Украине! – принялись кричать в лицо деду пацаны с накрученными на руки цепями, требуя ответа.

«Фёдору слава», – вдруг произнёс про себя Трояк.

Наверное, ему ничего не стоило, как Палаш, два раза подпрыгнуть и уехать восвояси. Но жизнь, прожитая после войны на задворках, без права голоса, сейчас словно давала ему шанс начать ее последний остаток с чистого листа. Да-да, здесь, сейчас его не просто заставляли скакать бараном посреди улицы. Через 75 лет после начала войны ему вновь предстоял выбор. Возможность исправить трагическую ошибку юности. Обрести хотя бы на старости лет собственное достоинство. Пожить днём, с людьми, а не прятаться от их взглядов десятилетиями в ночных сторожах. А Фёдор, даже мёртвый, завёрнутый в попону, был судьёй, он из своего небесного далека словно готов был поверить, что тогда, после седьмого класса, произошла нелепая ошибка…

— Скачи! – нетерпеливо толкали Трояка. – Скачи, москаляка.

Из-за прыгающих тел строил страдальческую мину Степан – да прыгни ты, что взять с идиотов. Но Колька Трояк не трогался с места. Его уже толкали в спину, сбили картуз, и центр сборища, предчувствуя жертву, стал перемещаться к телеге, а он оставался нем и недвижим. Стало понятно, в какую катавасию попал перед смертью и Фёдор, как сорвали у него ордена...

— Да хлопцы, хлопцы, – порывался защитить друга Степан. – Он же глухонемой. Немой и глухой.

И как последнее спасение, сорвал простынь: не глумитесь при покойнике, не берите грех на душу. Простынь висела в поднятой руке белым флагом, он мог развести стороны, но в эту секунду Трояк, словно боясь опоздать, вдруг запел. Он помнил, когда пел на людях последний раз – в школьном хоре на Первомай, перед самой войной. Потом миллионы раз про себя в тюрьме и длинными ночами долгие годы при работе сторожем в колхозе. А сейчас на удивление толпе, самому себе, а более всего - Степану, негромко напел вслух:

— Ой у гаю, при Дунаю
Соловей щебече.
Він же свою всю пташину
До гніздечка кличе…

— Да какой же он глухонемой? – замерла толпа, сама наполовину говорившая по-русски.

Однако песня звучала украинская, на телеге лежал покойник, и постепенно, отвлекаясь на другое, люди стали отходить. Первым развернулся парень с белым котёнком на плече, последним отошёл вояка с накрученной на рукавицу цепью. «Эх, такое бы на ведро, таскать воду из колодца», – мимоходом отметил Степан. А то и впрямь, приходится верёвкой...

Слух о почившем достиг передних рядов, и не сразу, по одной машине, но затор стал рассасываться. Вслед Орлику свистнули, не без этого. Но именно лошади, а не умершему, – даже молодёжь озверела не до конца. В глазах Трояка стояли слёзы, он вытирал их истоптанным в пыли картузом, и Палаш сочувственно тронул попутчика, готовый разделить его боль от ударов.

Только дед Коля Троячный не мог сдержать слёз не от боли, а от опустошившей его гордости. От забытой радости. От того, что выстоял, не запрыгал старым козлом. Что не сдался даже при поднятом белом флаге. И что теперь мог впервые за семь десятилетий долго, не отводя взгляд, смотреть в лицо свату: «Здравствуй, Фёдор. Вот так оно получилось. Спасибо тебе».

— Как ты их! – поднял зажатую в кулаке вожжу Степан. – А я того… чтоб быстрее вырваться, – оправдался за себя, хотя деду Коле чужого не требовалось. – Запрыгивай. Но, милый. Домой, Орлик. А мы ещё побачим, хто и как будет скакать на морозе без газа. У нас цыплят по осени считают...

Подъехав к месту, где утром выбирались с русского поля на украинскую дорогу, остановились. Степан стал поправлять сбрую на лошади, а на деле выжидая, когда освободится от машин трасса. Хотя следовало поторопиться: над лесом нахлобучивалась туча, потянул свежий ветерок, будоража лошадь. Они такие, они грозу ноздрями чувствуют.

Дед Коля тоже спрыгнул с телеги, вдвоём оглядели место спуска. Степан на правах возницы вздохнул:

— Можем перевернуть. Придётся переносить на руках.

Замешкались, не помня, головой или ногами нести тело с насыпи. Попробовали боком. Заскользили, путаясь в будыльях старой травы. Как ни старались удержать Фёдора на весу, уронили. На трассе заурчала машина, и мужикам пришлось лечь, прикрывая покойного собой.

Подняли головы, лишь дождавшись тишины на дороге.

— За нас умер, – вдруг произнёс Степан. И хотя Николай не спорил, упрямо кивнул: - За нас. Мы жили – а он работал. Горел. Не было лучше соседа...

Степан словно тоже просил прощения у покойного за все споры и насмешки, случившиеся на долгом соседском пути-житии. А может, и за невольный белый флаг перед теми, кто убил Фёдора Максимовича. Легче было промолчать, никто не требовал оценок и подведения итогов, но это на похоронах, при стечении народа есть возможность укрыться за спинами других, а когда остаёшься один на один с умершим, совесть беспощадна и заставляет каяться.

— От совести умер, – подытожил Степан.

Троячный согласно примерил услышанное к свату. Глаза и рот у того от тряски приоткрылись, и он наложил ладонь на веки свату. Затем оторвал по кругу, лентой низ у своей рубахи, подвязал покойному челюсть, закрывая рот. Дела скорбные, но житейские, и кому-то требовалось заниматься и этим. Он, Николай Иванович Троячный, проводит в последний путь истрепавшего ему все нервы родственника с честью и достоинством. А памятник ко Дню Победы покрасят внуки. Может, конечно, и сам, но как посмотрят люди? А вот внукам скажет, чтобы приехали. На Украине, вон, похоже, этого не сделали...

4.

— Опять они? – полковник недоумённо оглядывается на меня.

Если ему отвечать за безопасность границы, то за безумие на ней жителей близлежащих сёл объясняться, видать, мне. Щека у друга снова дёргается, это нервный тик, и скорее всего, от контузии. Где успел поймать её?

Около дубков угадывалась понурая лошадка. К телеге, оглядываясь, тащили по траве тюк двое мужиков.

Бинокль приближает границу до вытянутой руки, и по белым звёздочкам на коленях легко узнаю Орлика, едва ли не последнего из оставшегося в селе коня. Его погоняют веткой Стёпка Палаш и Колька Трояк, бывшие уже дедами даже в моём детстве. Странно, на границу моталась обычно молодёжь...

— Проверить, – отдаёт команду для головной машины полковник.

Остаюсь на броне и, единственное, чем помогаю землякам – «рулю» так, чтобы пыль уходила в сторону от телеги. Только бы не везли ничего запрещённого.

Везли… мёртвого. Из старой попоны, свёрнутой тюком, торчали ноги, и командир оглянулся на меня: ты что-нибудь понимаешь?

— Дед Федя того… песня спелась, – начал доклад Стёпка Палаш, выделив из всего десанта в командиры человека с биноклем. И это правильно. У кого бинокль, тот главнее всех.

— Тромб оторвался, – не забыл диагноз дед Коля. – На Украине.

Он перевёл взгляд на меня, на лице мелькнуло удивление, он недоверчиво обернулся за подтверждением догадки к напарнику. Я это, дед Коля, я. Между прочим, везу приветы и фотокарточку от вашего внука-курсанта. Через месяц ему на погоны упадут лейтенантские звезды и он займёт место в одной из таких же боевых машин. Только вот имя покойного...

Спрыгиваю с брони. Непроизвольно задерживая себя, трогаю мокрые бока лошади. Из детства всплывает отцовское предостережение: потных лошадей не поить, прежде надо давать им остыть. Тем более, тянет прохладным ветерком. Чересседельник совсем истончился, а вот ступицы в колёсах можно было бы и смазать. Или солидола теперь днём с огнём? И, кстати, совсем необязательно, что это «мой» дед Федя. Человека два-три с этим именем в селе точно ещё есть...

— С мамкой твоей... – первой же фразой рассеивает надежды Стёпка Палаш, и я трогаю под пыльной простыней торчавшее острое плечо. Дед Коля, заглядывая под покрывало,

развязывает какой-то узел около лица покойного, словно не желая открывать и показывать его лицо в неприглядном виде. Вытаскивает повязку, приоткрывает простынь.

Он.

— Как? Почему оказался там?

— Командир его умер, поехал к нему на похороны. Да при наградах, как положено. А там, видать, это как раз и не положено. Налетели скачущие. Может и не тромб - сердце оборвалось...

Он ещё что-то говорил, а я всматривался в знакомое, хотя и не бритое, осунувшееся лицо старого партизана. Он воевал вместе с моей мамой в отряде, которым командовал её отец. Однажды в окружении, когда не осталось надежд вырваться, дедушка свою дочь и самого юного из разведчиков Федю вместе с ранеными отправил через болото. А сам повёл отряд на прорыв в другом месте, отвлекая на себя немцев. Погиб, когда поднимал партизан в атаку и закричал «ура». Пуля попала в горло, она словно хотела остановить этот клич – клич отваги и победы...

Когда я оказался в плену в Чечне и за меня затребовали миллион долларов выкупа, и люди понесли родителям деньги – кто сто рублей, кто пятьдесят, дед Федя вместо живых денег принёс баночку краски:

— Вот, хотел бабке своей крест на могиле обновить, но пусть полежит под старым. А тут, ежели краску продать, какая-никакая, а копейка появится. Вдруг её-то как раз и не будет хватать на освобождение...

И вот дед Федя лежит передо мной на старой скрипучей телеге с вырванными медалями. Живой, он не только хранил память о войне и погибших односельчанах. Он, как тогда при прорыве, словно прикрывал собой ещё и маму. Теперь, выходит, она осталась крайней, последней из отряда...

Господи, как всё вдруг сошлось около деревенской телеги. И боль, что текла из Украины в Россию далеко-далеко отсюда и, казалось, не затронет меня вживую, вдруг выцелила острием в самое сердце. Дотянулась через сотни километров, отыскала меня средь перелесков, пронзила, заставила бессильно замереть. И я со своей – не своей колонной, опоздавший на какие-то сутки. Авось бы наш проезд утихомирил горячие головы там, за дубками, вдруг непреодолимой стеной разделившими всех, кроме контрабандистов.

Зашелестела в голос трава у колен. Ветер от дубков, легко разогнавшись по чистому полю, упруго ударил в спины. Вихрю они препятствием не послужили, ему бы мчаться дальше, но он почему-то закрутился юлой вокруг нас, психом расшвыривая из телеги соломенную подстилку. Орлик тревожно зафыркал, и Степан, преодолевая сопротивление, продавился к нему, обнял за шею, унимая и свою, и его дрожь. Дед Коля навалился на телегу, вцепился в свата, – то ли как в последнюю опору на земле, то ли не позволяя ветру вознести умершего сразу на небеса, без погребения на земле. Сечкой полоснул дождь, загромыхало, потемнело вокруг, завыло.

— Давайте к нам, – позвал полковник в десантный люк.

Но я остался со стариками. Повторяя Трояка, навалился на телегу, закрывая собой деда Федю. Что уже натворил смерч на украинской стороне, нам было неведомо, требовалось сберечь своё – живых и мёртвых.

Сколько продолжалось светопреставление, осознать, наверное, мог только Орлик. И то потому, что стоял на земле четырьмя ногами. Нам время в любом случае показалось в два раза дольшим...

Первым и пришёл в себя он – зафыркал, словно очищая забитый пылью рот. Унялась у ног омытая трава. И солнце вновь заластилось с неба: «Ничего не помню, ничего не знаю, не при мне было». Подняли головы на меня и старики: что это было? Американский торнадо, подчиняющий себе всё? Он такой, он вечно готов свалиться туда, где ещё минуту назад светило солнце, чтобы перекурочить, разметать, сломать мирную жизнь. Не знаем, как на Украине, а вот мы выстояли! И никого не сдали...

Спрыгнул с БМП, удерживая от тика щёку, полковник. Неожиданно сделал то, что обязано было исходить, наверное, от меня – перекрестился. Знать, повидал и прочувствовал за время нашей разлуки что-то более значимое в этой жизни.

— Я уведу броню в другое место, – прошептал затем только для моих ушей.

Зачем?

Но он уже подтолкнул меня плечом – ещё наверняка увидимся. Вспрыгнул с разбега на острую грудь машины, отдал команду, и та осторожно, чтобы не испугать лошадь, развернулась, ушла виражом к кладбищу. За ней, как за вожаком, начала вылетать из засады и выстраиваться журавлиным клином остальная «гусянка». Не закурлыкала – ревела моторами на грешной земле. Оно и правильно: что бы ни летало в небе, земля остаётся у тех, чей стоит на ней пехотинец. А я для них всё же лучшее в округе место выбрал. И какая защита была родному селу!

Но бронеколонна истончалась, исчезала в самосевке, и вдруг меня пронзило: а ведь командир уводил не просто свой клин. Он уводил от могил моих родных и близких, к которым я ненароком, думая только о военной выгоде, привёл войну. Словно заглянув в неведомые мне глубины, полковник распознал какую-то неправильность сделанного мной и теперь прикрывал не только страну, выделенный ему участок границы с моим селом, но и лично меня. Уралец оказался мудрее на ту самую контузию, которую заполучил без меня на одной из войн.

И как совсем недавно я кивал могилам родных с брони БМП, кланяюсь незаметно вслед исчезающей колонне. Спасибо. И... и тем не менее, всё равно! – танцуйте, мужики. Танго!

Лезгинку.

Краковяк.

Жемжурку!

Танцуйте без устали, с полной отдачей, пусть даже ради других – как только и может русский солдат. Потому что наша телега с дедом Федей – она тоже из той, общей боли, что течёт к нам с юго-востока. И как желал командир, но как пока не будет на самом деле – пусть окажется последней.

— Но, милый, – тронул Орлика Палаш.

Николай Исаков

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БОРЬБЫ С БАНДИТИЗМОМ ВОЕННОГО НАБОРА

После изгнания многоязыковых фашистских орд, партизанские землянки в западных брянских лесах на границе с Белоруссией пустовали недолго. В них обосновались недавние полицаи. Они мирно приняли прибившихся к ним дезертиров из местных жителей, которые после скорой мобилизации военно– полевыми военкоматами, отойдя с наступающими красноармейцами на десяток километров, оставляли передовую с первым встречным выстрелом. Пока фронт накатывался на Берлин, новые обитатели суражских урочищ жили весело, легко, вольно, как и будучи на службе в полиции: в утеху себе стрелять, разбойничать, но чаще пьянствовать и ходить по приветливым девкам.

В Москве узнавали о творимых бандитами бесчинствах из меморандума перлюстрированных писем местного населения на фронт. В первую же папку по вновь образованной в июле 1944 года Брянской области легли переписанные сотрудниками отдела «В» НКГБССР два письма от одного отправителя.

Письмо Савориненко Мартыну Петровичу

Дорогой Мартын Петрович!

Письмо от твоей горькой семьи! К нам вот приходили бандиты, то есть власовц, которые надо мной издевались и обобрали нас .Все, наверное, с кем-то имеют связь.

Почему-то знали, что у меня было. Нейдут в Рославку, а всё ко мне, в Красную Поляну. Чума будто на нас сошла.

Савориненко Мария Васильевна.

Второе письмо было направлено тем же днём на один и тот же номер военно-полевой почты.

Командирам красноармейца Савориненко Мартына Петровича

Дорогие командиры!

Вот подходит ночь, а по мне с детьми лучше помереть. Обратилась к председателю колхоза. И что бы у нас засаду поставил?! Или он нас пометил в деревне?

Живу в поле. В хату страшно.

Тот же председатель плечами вздёрнет и этим делом кончится, а я с детьми продолжаю страдать.

Прошу вас, дорогие командиры, направьте мужа с фронта в отпуск, чтобы он дал нам порядок или перебросил нас в другое место.

Дайте моему Мартыну оружия побольше – пострелять всех лесных тварей о двух ногах, если встрянут.

Просительница Савориненко Мария Васильевна.

Меморандумы поднимались по инстанциям и сверху со многими резолюциями скатились до УНКВД по Брянской области.

Прочёски леса – иногда с привлечением до роты солдат – не были результативными, они сменялись ссылками или выселками семей и пособников бандитов под жалобные причеты в голос. Группа Павла Козина или Урки, бывшего старшего полицейского, который во время оккупации часто подменял начальника волостной полиции, передвинулась ближе к белорусским пущам, где провела весну и лето 1945 года.

Лес вместил в себя и уравнял в значении бандита бывших полицейских, солдат русских вспомогательных подразделений вермахта, дезертиров, уголовников, а с осени победного сорок пятого года и недавних бойцов Красной Армии, бежавших из-под стражи: у одного колхоз отнял полсада, председатель суда отказал в жалобе и получил в лоб чернильницей-непроливайкой, другой разметал милицию, избавляя раньше его захмелевшего земляка от ареста, третий белым днём по пьяной дури увёл с чужого двора корову. Среди бывших полицейских сноровкой, лихостью и хитростью выделялся человек из села Слище, которого все называли Лёнькой, но не все в банде знали, что от рождения тот имел иное имя, и никто не мог разглядеть в нём прошлого диверсанта, получившего специальную подготовку в подмосковной разведшколе. После прыжка с парашютом Лёнька не вышел на связь с партизанами, но и не раскрылся перед немцами, прибился к полицаям, обретя временную разгульную свободу.

Лесной союз был вынужденным и временным, бандиты не скрывали друг от друга свои планы затеряться в глубине страны по чужим документам. При нападении отбирали партийные билеты, военные билеты, у возвращавшихся с войны ещё и выписки о ранениях и наградах, в сельсоветах – незаполненные бланки справок и печати. Не зная, что вписывать в обязательные для заполнения строки, искали выход на председателей сельских советов.

Но со временем козинцам стало ясно: сидеть им в лесу ещё зиму, а может и не одну, пока, как ожидали, уже американцы не нападут на СССР. От махровой уголовщины развернулись к политическому бандитизму. Первой антисоветской акцией стал налет на склад «Заготзерна» в полуразрушенной церкви села Нивного следующим днём после Первомая. Ведь реально бандиты ничем не поживились: скоро, сбив замки со склада и пустив местных пацанов по домам созывать всех на вынос зерна, ушли в большие белорусские леса, предполагая, что после всего в местные урочища власть бросит войска.

Да, опять в леса зашли солдаты, но почти в то же время Брянск стал отбирать тех, кто уже отличился оперативным мастерством в сочетании с личным бесстрашием. Внимание было обращено на бывших особистов и сотрудников «Смерша» с фронтовым опытом. Руководителя этой когорты долго не искали.

По прямой линии связи капитану Чирикову в Почеп позвонил начальник УМВД по Брянской области Фирсанов. Сразу стал говорить о бандитском налете на «Заготзерно» в Суражском районе и массовом участии местного населения в разграблении государственного имущества.

Собранные под присмотром уполномоченными по зернышку пшеницу и рожь в первый послевоенный и самый голодный год по колхозам и личным амбарам нивнянцы вынесли в один час.

— Ты мне, орденоносец, вначале зерно верни. Потом разберись с теми, кто это зерно растаскивал. Это надо для срочного доклада в обком. По банде потом поделишься соображениями. Банду саму с наскока не возьмёшь, но, может, что поднимешь.

Чириков молчал. Неловко было думать, что генерал Фирсанов ошибся телефоном. Ведь говорил о Суражском районе, даже не соседствующим с Почепским. Но из районных начальников только Чириков был награждён орденом Красной Звезды. За уничтожение в 1944 году вражеского парашютного десанта из тринадцати диверсантов.

Возникшая пауза не осталась незамеченной Фирсановым.

— А на тебя разве кадровики не выходили? Я час назад в кабинете Матвеева, в обкоме, подписал приказ о твоём назначении в Сураж. Дела передашь позже, Я ещё не думал, кого поставить на Почеп. Главное сейчас Сураж. Вот там уже сегодня сменишь Гайнутдинова. Завтра к обеду жду от тебя сообщения с результатами.

За генералом позвонил руководитель кадрового аппарата Щелкунов, подтвердил новое назначение. Приказ передали по телеграфу шифровкой.

— За что меня ссылаете? В чём провинился? – Чириков попросил прояснить ситуацию, ведь должен был какой-то повод, направить его на окраинную территорию в лесах и болотах с населением почти вдвое меньшим. Это должно было сказаться и на денежном довольствии. Явное понижение!

— А ты видел ли когда-либо, чтобы кадровые приказы подписывали у первого секретаря обкома? Всех допёк Сураж. Мы уже на контроле в Москве по вчерашнему случаю.

Щелкунов был прав – банда Козина и прежде раздражала Москву.

Сов. секретно
Нач. Фирсанову

Работа по ликвидации бандитской группы Козина, действующей с июня 1944 года на территории Суражского, Мглинского районов Брянской области Хотимского района Могилёвской области недопустимо затянулась.

Банда Козина является серьезным антисоветским формированием, так как состоит из изменников Родины, бывших ставленников и пособников немцев.

Участники банды продолжают безнаказанно совершать преступления, терроризировать сельский актив, замучивают население, вследствие чего последнее, из-за боязни мести бандитов, старается избегать связи с органами НКВД.

В целях быстрейшей ликвидации банды Козина приказываю:

Всем провести следующие меры:

Вооружить руководящий состав сельского актива и создать в населенных пунктах районов действия банды группы самообороны.

Начальник ГУББ НКВД СССР
генерал-лейтенант А. Леонтьев
сентябрь 1945 г.

К резким поворотам за тридцать три года жизни Чирикову было не привыкать. В орловском селе Кромы он был самым шебутным подростком. Участковый уполномоченный Калгушкин иногда, заглядывая ему в глаза, говорил:

— Из тебя, Мишака, вырастет или бандит или милиционер.

Чириков по материалам участкового был помещён в детскую трудовую колонию, которая вскоре была реорганизована в трудовую коммуну ОГПУ. Здесь Чириков освоил кузнечное дело и окончил школу.

— Я тебя, Мишака, в люди вывел. Пусть даже и через колонию,– говорил ему после не раз Калгушкин.

Участковый оформил Чирикова осодмильцем, выполняя разнарядку НКВД СССР по реализации Постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об обществах содействия органам милиции и уголовного розыска» от 25 мая 1930 года.

Чириков не раз рисковал жизнью в стычках с местной блатной шпаной. Однажды задержал опасного бандита Малышкина. Этот факт открыл ему дорогу в милицию, хотя и на должности младших сотрудников.

В рост по службе пошёл после окончания Московской межрайонной школы НКВД, где

за три месяца готовили оперуполномоченных секретно-политических подразделений по выявлению бывших белогвардейцев, служителей церкви и дезертиров.

Войн застала его в должности заместителя начальника районного отделения НКВД в Мценске, а по мере отступления Красной Армии – в Ельце, Задонске. Из Новосилья в 1943 году Чирикова перевели в освобожденный Почеп.

С образованием Брянской области начальником нового управления НКВД был назначен переводом из Орловской области комиссар госбезопасности Фирсанов, с июля 1945 года – в новом, на армейский лад, звании генерал-майора.

…Капитан Чириков добирался до Суража не напрямки – от Почепа через Мглин, а по более надёжной в начале мая 1946 года дороге через Унечу. Он спешил успеть к месту назначения засветло, но немецкий трофейный мотоцикл «Триумф» с чешских заводов, закреплённый за ним как начальником Почепского РО МВД, впервые преодолевая большие расстояния, постоянно капризничал. Техника явно не было готова к большому переходу.

Мотоцикл окончательно заглох с наступлением темноты. Чириков откатил его с дороги и пешком пошёл за помощью.

Встреченное на пути селение оказалось большим и неприветливым. Напрасно постучав в закрытые наглухо ставни нескольких крепких домов, где хозяева могли иметь какой-либо транспорт, Чириков двинулся на единственный огонёк впереди и так вскоре вышел на кирпичный особняк.

Осветил фонариком обрамленную картонку у дверей с названием « РО НКВД по Суражскому району».

— Вот тебе медвежий угол, – печально, как бы сожалея о новом назначении, вздохнул Чириков.

Уже скоро два месяца как народные комиссариаты были преобразованы в министерства и одновременно НКВД СССР переименован в МВД СССР. Пока внезапный посетитель не представился и не показал своё удостоверение, дежурный по отделу младший лейтенант Фещенко смотрел с большим подозрением на Чирикова – фуражка форменная, с сиреневым верхом, красным околышем, чуб из-под фуражки на казачий манер, одет в мотоциклетную куртку без погон, маузер в деревянной кобуре ещё со времён гражданской войны, в кавалерийских галифе, на сапогах шпоры с травой и грязью. Для Чирикова, впрочем, это была обычная форма для выезда на мотоцикле.

До этого сидевшие участковые Садохин и Воропанов тотчас встали и, отступая задом к двери, скрылись за ней, оставляя за собой кислый запах буряковки – местной разновидности самогонки из сахарной свеклы.

— Где начальник ? – спросил Чириков.

— Володька, что ли? – переспросил Фещенко.

— У Гайнутдинова имя вроде бы другое, – Чириков и сам забыл татарское имя своего коллеги, с которым на совещаниях в Брянске только и виделся.

— Володька, – убедительно сказал Фещенко. – Все его здесь так зовут.

Отрапортовал затем по форме.

— Старший лейтенант Гайнутдинов выехал в Нивное с отделением ББ и батальоном солдат. Сейчас возвращается по указанию из Брянска. Приказ о Вашем назначении нам уже отбили.

— Оперативной обстановкой владеешь?

— Вот она, обстановка, – Фещенко протянул Чирикову лист с крышки телеграфного аппарата.

Начальнику УМВД Брянской области
Генерал-майору Фирсанову

Докладная записка

Дополнительно к сообщению о бандитском нападении на склад «Заготзерно» в с. Нивное Нивнянского с/с в ночь со 2 на 3 мая 1946 г. докладываю.

С января 1944 г. по май 1946 г. на территории Суражского района совершено

а) убийство председателя Струженского с/с коммуниста Бохана Василия Николаевича

б) ограблению и избиению подверглись трое председателей колхозов

в) совершено ограбление 78 домов колхозников, у которых похищено одежда и продукты питания в общей сумме на 260 тыс.руб.

г) совершено 15 вооруженных ограблений государственных складов, магазинов, учреждений, колхозных складов, скотоферм, где похищены ценности на сумму свыше полутора миллиона рублей.

д) при ночных нападениях на группы самоохраны и совпартактива забрано 1 автомат, 3 винтовки, 2 пистолета.

Начальник РО МВД Гайнутдинов

Цельной картины о масштабах деятельности банды Чириков здесь получить не мог. Похожие доклады о налетах Фирсанов также запрашивал из подчиненных Клетнянского и Мглинского РО МВД, а также из УМВД Могилёвской области Белоруссии об оперативной обстановке в приграничных Хотимском и Костюковичском районах.

К приезду Чирикова в Нивное сотрудники милиции уже замерили остатки зерна на складе.

Отсутствовало 700 центров ржи и пшеницы. Подозреваемых в хищении – в списки попало около ста человек – солдаты согнали перед сельсоветом.

Чириков дал три часа на возврат зерна.

Тех, кто соглашался, Чириков отпускал в сопровождении солдат. Не тронувшихся с места грузили в армейские машины и отвозили в Сураж для дознания и суда.

В домах арестованных принудительно изымали всё зерно. Так что вечером 5 мая Чириков смог доложить генералу Фирсанову о полном возмещении ущерба.

Разбирая бумаги своего предшественника Гайнутдинова, Чириков формировал из них две стопки. В первую попадали сообщения о налётах и личностях бандитов, во вторую – о засадах и операциях. Вот она, вторая, оказалась хилой и по содержанию пустой.

В июле 1945 года прикомандированный из Брянска старший группы оперуполномоченный отдела ББ старший лейтенант Межуев и начальник Суражского РО НКВД лейтенант Гайнутдинов сообщали Фирсанову.

«Доносим, что согласно Вашего приказа о проведении операции по ликвидации бандитов, оперирующих в урочище «Василевщина», нами была проведена операция по поимке последних.

Подготовка к проведению операции прошла организованно и строго конспиративно, т. е. выполнены все пункты. Ввиду того, что донесение лесника Хуторцова о якобы обнаруженной им землянке, не подтвердилось, операция не завершилась ликвидацией бандитов. Лесник провел опергруппу туда, где предполагалась землянка, но вместо землянки бандитов оказался естественный бугор.

Так как лесной массив «Василевщина» небольшой, решили провести его прочёску, которая также положительных результатов не дала».

Ещё одна докладная о прочесывании урочища Иглищино. Со взводом солдат в августе 1945 года. В проводники взяли председателя колхоза из Барсуков Зенченко. Вышли на два старых логова. Рваное обмундирование красноармейцев, погоны. Под верхнее бревно колодезного сруба была подсунута записка «Мы пришли, ищи тут». Собака, сопровождавшая Зенченко от дома, залаяла. Зенченко пошёл в кусты вроде бы по нужде, вернулся совсем болезненным.

Попросил солдата для сопровождения и вернулся в Барсуки. Старший группы Овсянников операцию прекратил.

Чириков читал докладную записку Овсянникова на пяти листах и удивлялся. Зенченко явно работает на бандитов. Через него для НКВД были сданы покинутые схроны. Но к этому месту, очевидно, подошла другая бандитская группа. Вот Зенченко и натерпелся страху.

Были ещё донесения о напрасных трудах оперативников. У Чирикова создавалось впечатление, что бандиты умышленно дезинформируют Суражский отдел милиции. Похоже, что оживала толстовская мудрая и жестокая сказка из учебника для чтения в колонийской школе о лгунишке-пастушонке, который пугал народ волками, а когда люди перестали бегать на крики, то волки этого пастушонка и съели. Так, в Брянске перестали остро реагировать на сообщения из Суража. В начале марта 1946 года дежурный принял шифротелеграмму:

Гайнутдинову. Считаю, что у Вас нет в настоящее время более важной работы в

районе как ликвидация действующей группы. Оперативно-войсковая операция по утверждённому плану 8 марта 1946 г. руководством УНКВД Брянской и Могилёвской областей временно отменяется. Зам. нач. УНКВД майор Богданчиков.

Конечно, не только ради этого поехал Чириков в Брянск.

Удалось согласовать увольнение трети личного состава откровенных бездельников, выбить высокопроходимую и вместительную автомашину. Американский «додж», полуторатонный трёхосный грузовик, предназначенный также и для перевозки личного состава, в тот же день от областного управления временно передали Суражскому райотделению в связи с осложнением оперативной обстановки.

Что же волновало начальника Суражского РО МВД капитана Чирикова?

В райотделении была только одна должность оперуполномоченного по линии борьбы с бандитизмом (ББ). Командированные из Брянска на короткие сроки объективно не могли установить оперативные связи, создать свой агентурный аппарат. Поэтому всегда шли по следам преступлений, без опережения.

Чириков просил генерала ходатайствовать перед Москвой, в порядке исключения, из Положения об отделах по борьбе с бандитизмом создать отделение ББ непосредственно в структуре Суражского РО МВД с прямым подчинением новой структуры территориальному начальнику.

Фирсанов сделал карандашом несколько записей.

— Ну, ты, Михаил Васильевич, понимаешь, какую на себя ответственность тем самым возьмёшь?

— Готов положить партбилет и погоны.

— А о наших головах почему не сказал, – буркнул генерал.

Кондратий Филиппович Фирсанов имел рязанские крестьянские корни, в разных регионах страны работал телеграфистом, строителем, помощником финансово-налогового инспектора, в 1930-х годах – заведующим райфинотделом и заместителем председателя Енифаньского райисполкома Московской области, секретарем Енифаньского райкома партии. После окончания Высшей школы госбезопасности НКВД СССР в 1939-1944 годах занимал должность начальника управления НКВД, НКГБ по Орловской области, с 1944 года – начальник управления НКВД, МВД по Брянской области.

Генерал Фирсанов находил полное понимание и поддержку у первого секретаря Брянского обкома и горкома ВКП(б) А. П. Матвеева, бывшего довоенного первого секретаря Минского обкома и горкома КП(б) Белоруссии, наркома внутренних дел БССР, а уже в годы войны – члена Военного совета Брянского фронта, начальника Брянского штаба партизанского движения, первого секретаря Орловского обкома и горкома ВКП(б). Сейчас справедливо отмечают, что фигуры такого масштаба, как Александр Павлович Матвеев, во главе Брянской области никогда не было.

Чириков не напрасно надеялся, что добрые боевые и товарищеские отношения руководителя области и начальника областного управления МВД, их общая тревога за ситуацию в Суражском районе окажут необходимое воздействие на МВД для получения санкции на создание в районном звене отдельного подразделения по борьбе с бандитизмом.

Так и оказалось. Санкция на создание отделения была получена из Москвы.

Сотрудников в это отделение подбирал и назначал Брянск.

Из Смоленского военного округа на должность старшего уполномоченного ББ был переведен Павел Иванович Тимковский. Ему было около тридцати лет. Его прошлая серьёзная работа в особом отделе Сталинградского фронта, затем в «Смерше» давала ему повод держаться несколько заносчиво и выглядеть значительно старше по возрасту. Именные часы он выставлял напоказ при каждом удобном случае. Лоск терялся во время операций, где Тимковский проявлял чрезмерную осторожность, но не трусость, как уроженец Полтавской области вскоре среди сослуживцев получил имя «Хитрого хохла».

Противоположностью Тимковскому стал другой старший оперуполномоченный ББ –

Валерьян Григорьевич Бессмертный. Он также прошёл школу армейского особого отдела и «Смерша» в нерядовых должностях. Но вёл себя подчёркнуто деликатно в силу своей довоенной профессии железнодорожного инженера, был добродушным человеком. В минуты свободного времени пропадал у закреплённого за ним трофейного мотоцикла БМВ. На операциях Бессмертный действовал уверенно и грамотно, с дотошностью, словно разбирал незнакомый ему прежде механизм.

Оперуполномоченный ББ Павел Петрович Клюев только и сделал, что написал рапорт о переводе. До этого был прикомандированным в Сураж из областного отдела по борьбе с бандитизмом. Уроженец Клетнянского района. До войны работал заведующим делопроизводством Клетнянского райвоенкомата, эвакуировался в Орёл, где некоторое время занимался бухгалтерией областного военкомата. На фронте был дважды ранен. Орден, несколько медалей помогли остаться в войсках. Стал начальником химслужбы полка. При приёме химсредств из-за заводского брака взорвалась ёмкость с боевым газом. Клюев стал кашлять. До демобилизации служил в «Смерше». После того, как обжился в Сураже, перевёз сюда из родного клетнянского посёлка любимую женщину, расписался с ней.

Из-за кашля Клюева не брали в засады. В операциях он действовал стремительно, храбро. Писал небрежно, со многими ошибками. Но в одежде был аккуратистом. Носил армейское обмундирование с погонами капитана. Был среднего роста и очень стройным, ежедневно подшит – со свежими подворотничками.

Однажды после совещания в райкоме к Чирикову подошёл старшина с голубыми погонами авиации. Представился уполномоченным местного радиокомитета Петренко. Из-за важности задачи по восстановлению радиоточек в сельской местности временно прикреплён к райкому. По роду занятий он обходил все дома по деревням, и много разговоров там было о банде. Особой проверки требовала информация о связи одного из заведующих отделом райисполкома с лесовиками.

Прежде, чем проверить такие сведения – это как на минное поле вступить, Чириков навел справки о самом старшине.

Петренко Николай Родионович, 1916 года рождения, белорус, до войны окончил Минский техникум связи. В 1941 – 1943 годах стрелок-радист бомбардировщика. Ударил своего командира за то, что тот, испугавшись интенсивного заградительного огня, развернулся и сбросил бомбы на полесскую деревню в прифронтовой полосе без данных разведки о нахождении здесь возможного объекта для воздушного налёта. Петренко был лишён звания младшего лейтенанта, направлен в штрафной батальон.

Последствия могли быть печальнее, но его бывший командир в первом же вылете без него был сбит.

Петренко в штрафном батальоне дослужился до старшины роты. Безудержно храбр и дерзок. Трижды ранен. Награждён орденом Отечественной войны 2-ой степени, орденом Славы 3– й степени, орденом Красной Звезды.

Полесье – родные места Петренко. Средний брат Валентин погиб под Воронежем в 1943 году. Украинские националисты из соседней Ровенской области зашли в освобожденную от немцев белорусскую деревню Михайловка Брагинского района, зверски убили младшего 19-тилетнего брата Владимира – как местного активиста. Опасаясь за жизнь престарелых родителей, Петренко перевёз их в российский городок Сураж.

Не только биография бывшего штрафника привлекла к нему внимание начальника райотделения. Подкупало умение добывать информацию, подвижность, мгновенная реакция на изменение ситуации, ненависть к бандитам.

Путь Петренко в подразделения ББ был трудным. Служба в штрафном батальоне становилась здесь мощной преградой, почти непреодолимой.

К этому времени, после скоропостижной смерти 1 августа 1946 года А. П. Матвеева, отношения начальника Брянского управления МВД генерала К. Ф. Фирсанова с новым областным партийным руководителем откровенно разладились. Доходило до открытых стычек на заседаниях бюро обкома.

Первый секретарь А.Н. Егоров уже в 17 лет стал партийным функционером. Отметился до перевода в Брянск в пяти других тыло-

вых областях СССР: взлетал до высоты второго секретаря обкома партии, затем опускался до партийного аппарата мелких городов, заведующего районным отделом народного образования, затем вновь поднимался. Помогала дружба, устоявшаяся с довоенной партийной работы в ярославских организациях, с Н. С. Патоличевым, секретарем ЦК ВКП(б). В 1937 году Ярославльский обком ВКП(б), редакция областной партийной газеты, УНКВД, облисполком в два приёма, как пишет историк С. В. Кудрявцев, с июня по октябрь, были разгромлены с последующим применением репрессий. Именно в это время в бюро обкома партии был введён А. Н. Егоров.

Секретарь Брянского обкома ВКП(б) А. Д. Бондаренко, бывший комиссар объединённых партизанских отрядов Брянского, Севского, Суземского, Трубчевского, Погарского, Почепского, Выгоничского районов тогда ещё Орловской области, при А. П. Матвееве оказывал Фирсанову и Чирикову активное содействие. При Егорове повёл себя иначе. Обком превратился в надзорный, карающий орган. А спустя время, в 1950 году, А. Д. Бондаренко его и возглавил.

Выводя Фирсанова из-под возможного удара, дождавшись, когда генерал уйдёт в отпуск, капитан Чириков написал рапорт на имя 1-го заместителя Министра внутренних дел СССР В. С. Рясного, на которого была возложена обязанность по наблюдению за работой ГУББ МВД СССР. В. С. Рясной был известен как бывший нарком внутренних дел Украинской ССР, реально боролся с политическим бандитизмом в лесах после освобождения ранее оккупированных территорий. На рапорт Чирикова он наложил положительную резолюцию.

Генерал Фирсанов посчитал поступок начальника Суражского РО МВД неуставным, строго отсчитал. Зачислив Петренко в областной отдел ББ, Фирсанов некоторое время продержал его в Брянске, закрепив за ним работу с репатриантами. Только потом передал его в штаты Чирикову.

Петренко вернулся в Сураж с восстановленным званием младшего лейтенанта, погоны были офицерские, но не по форме – голубые, для летного состава. Влюбился в молоденькую и фигуристую Надю, инструктора РК ВКП(б) по спорту.

Через год после свадьбы Петренко узнал, что отдельно от них проживавшая тёща тайно, на другой адрес, получила письмо из мест лишения свободы от мужа, Пастухова, ранее по всем документам проходившего как пропавший без вести в боевой обстановке. Петренко рапортом доложил о случившемся. Статья, по которой был осужден новый родственник, не содержала состав преступления против советской власти – Петренко оставили служить.

Клюев и Петренко, равные годами, во многом также были похожи – ростом, лихостью, граничащей с безрассудством. Лица у одного и у другого были тронуты оспой. У Клюева – в большей мере. Они не пропускали ни одной операции, примелькались населению Нивнянского и Струженского кустов так, что уже всех появлявшихся здесь сотрудников милиции – российских и белорусских – стали называть «рябыми».

Дети, завидев, как поднимая клубы пыли, в деревню въезжает «додж», неистово орали:

— Тата, тата, тякай! Рябые бягут!

С Чириковым – и только с Чириковым – выезжал на операции Фещенко.

Капитану внушал уважение этот высокий, хлесткий человек, выглядящий моложе своих сорока лет. Он, довоенный участковый уполномоченный из Нивного, всю войну прослужил в разведке казачьего кавалерийского корпуса, дважды был тяжело ранен. А когда вернулся в милицию, засел в дежурную часть.

Фещенко, томясь дежурной службой, многое рассказывал Чирикову о Павле Козине. О связях Козина, о местах в Малинниках, удобных для укрытия. До войны это были две самые заметные фигуры в Нивном – под два метра ростом милиционер и за два метра Урка. Когда Козина пьяного грузили и везли к дому в санях, то ногами он загребал снег и терял валенки. На следующее утро, побитый отцом, он босиком шёл по следу саней, пока не находил свою удивляющую большими размерами обувку. Он легко срывал замки с амбаров и сундуков. После каждой кражи Фещенко находил в поле «эмтеэсовский» трактор ХТЗ

Козина и нещадно лупил по спине молодого великорослого тракториста заводной ручкой, пока тот не признавался в содеянном.

Однажды Фещенко ответил Чирикову на вопрос, почему отказывается выезжать куда-либо с оперативной группой, ссылаясь на недомогание.

— С Овсянниковым что ли ехать? Пустые хлопоты. Только на пулю нарвёшься.

Назначенный – ещё до Чирикова – на должность старшего оперуполномоченного по борьбе с бандитизмом лейтенант Овсянников находился в прямом подчинении Брянского отдела ББ: сам планировал операции и привлекал к ним личный состав.

В октябре 1944 года в засаде южнее Нивного в час ночи Овсянников встретил человека. Сделал два выстрела и убежал в другую сторону. Потом говорил находившемуся неподалеку Фещенко, что за первым, мол, шли ещё двое бандитов, и он стал их преследовать.

Овсянников был неместным, всецело зависел от жены.

Выезжая в Нивное на акции, Овсянников обязательно прежде проведывал престарых родителей жены, передавая им продукты и лекарства. Любому было ясно – сегодня жди облавы!

Любил писать. Строчил подробнейшие докладные, объясняя провалы операций. Приказы легко заучивал назубок.

Чириков не рассматривал Фещенко в качестве кандидата в подразделение ББ из-за недостатка в его образовании, но из дежурной части перевёл в уголовный розыск.

Овсянникова пока не стал трогать. Надо было кому-то в бывших «Смершенцев» и штрафника вложить содержание большого числа инструктивных приказов и общие знания уголовного и административного права. В этом Овсянникову замены не было.

Так сформировалось местное подразделение ББ, и только затем началась оперативная игра, навыки которой оттачивались ещё на фронте.

…В урочище Малинники оперативники задержали безобидного евангелиста – дезертира Матвея Козина. Его товарищ по лесной жизни, не примкнувший к бандитам – Иван Пушков, по прозвищу Пух, каким-то чудом вырвался из засады, о чём с видимым сожалением сокрушался Чириков. Пух ушёл к жене, где в устроенном им под печкой лежбище вдруг обнаружил своего племянника из Мглинской деревни Косенки.

Сотрудники Суражского РО МВД не раз приходили с обысками в дом Пуха, но особого старания не проявляли. Племянник, запятнанный своим участием в карательной акции немцев, спьяну поделился своим планом добровольно пойти на вербовку, и Пух, мол, тоже спасёт свою жизнь, если согласится на сотрудничество. В ином случае он сообщит о приходе Пуха тем, кому надо.

Пух был боязливым человеком, но подозрения в том, что молодой словоохотливый племянник до прихода Пуха из леса мог сожительствовать с его женой – матерью четырёх малолетних детей, толкнули его на поступки более решительные.

Узнав вскоре о том, что Урка вернулся из белорусских лесов в Малинники, Пух стал искать с ним встречи. Пришел в лес с племянником, мол, так тот легко «срисует» бандитский «табор» для НКВД. Принесённая самогонка пошла в ход. Улучив момент, когда племянник ходил по лагерю, оценивая его для возможной атаки НКВД, Пушков шепнул Козину о якобы уже состоявшейся вербовке парня.

— Ты, погань, пришёл за моей головой! – рассвирепел Урка, и выстрелами из ППШ убрал соперника Пуха.

Иван Пушков остался в банде. Он не переодевался в армейское обмундирование, единственный в банде ходил в штатском, носил заношенные пиджаки или ватники – по погоде. Козин приблизил его к себе как верного адъютанта.

Чириков, узнав о случившемся, посчитал это первой большой оперативной удачей. О ней он мог рассказать только генералу Фирсанову на первом докладе уже в качестве начальника Суражского РО МВД.

Вскоре в силки оперативной работы попал и бывший красный диверсант Лёнька. Через год с бандой было покончено.

Иван Касацкий

ПАМЯТЬ

Проходит рядом
В день Победы,
Звеня медалями, сосед.
Ты не в обиде на соседа,
Но у тебя медалей нет.
И вот опять траншея — память
Тебя уводит за собой.
И ты с безусыми стрелками
Опять идёшь в последний бой.
Белёсый дым над речкой Проней,
От близких взрывов грязь в лицо.
Не в наступленье, в обороне
Ваш батальон попал в кольцо.
«Вести огонь!» — приказ комбата.
Ты полз с катушкою связной.
Мгновенье... Искры...
Взрыв гранаты —
Тебя отбросило волной.
Допросы. Рельсов стук.
Концлагерь...
В бреду горячечных ночей.
Там выжигали дух отваги,
Людей бросая в пасть печей.
Но есть в тебе земная сила,
Сильнее смерти и огня,
Она тебя всегда хранила,
Как щит, как лучшая броня.

Эдуард Киреев

БУТЕРБРОД

Ежедневно, во второй половине дня, в одно и то же время, к краю глубокого оврага подъезжает телега с огромными колёсами. И сама телега, и колёса выкрашены в зелёный цвет. Кони, запряжённые в неё, под стать телеге, огромные и немножко страшные: ноги толстые, словно столбы, и от колен до копыт покрыты густыми рыжими, свисающими чуть ли не до земли, волосами. А копыта? Каждое копыто размером с таз, в котором мамка моет посуду. Одним таким копытом конь даже взрослого дядьку может насмерть раздавить, а уж о ребёнке и говорить нечего. Головы у коней большущие; коротко подстриженные гривы топорщатся, словно иголки у ёжика, а на уздечках какие-то кожаные нашлёпки вперёд торчат, с боков глаза коням прикрывают. Один вид этих коней невольно вызывал у местной ребятни страх. Да и как не испугаться: у одного коня хвост завязан в узел, у другого обрезан так коротко, что в случае, если начнут кусать оводы или слепни, то и обмахнуться будет нечем. Может потому и были страшными, что казались какими-то куцыми, ненастоящими, непохожими на других коней, которые стояли у немцев в конюшне. Правил ими солдат – худенький очкарик в мятой пилотке, грязных коротких сапогах и в расстёгнутом френче без ремня.

Дорога вдоль оврага шла под уклон. Подъехав к оврагу, солдат, откинувшись всем телом назад, туго натянув вожжи, осаживает коней. Телега, продолжая катиться, наезжает на коней, подталкивает их сзади. Кони всхрапывают, приседают на задние ноги, копыта скользят по траве, дышло выпирает вперёд, хомуты налезают коням на голову… и кони останавливаются. Немец спрыгивает на землю, подходит к коням, берёт их под уздцы и, шагая впереди между ними, подводит телегу ближе к обрыву. Шедший по самой кромке оврага, конь вскидывает голову, косит большим влажным глазом в сторону пустоты. Успокаивая, немец похлопывает его рукой по крупу. Став на ступицу колеса, влезает на телегу. Откинув борт, берёт в руки вилы и начинает сбрасывать мусор. Из телеги в овраг полетели куски гипса, какие-то сетки, решётки, тряпки, склянки, заскорузлые бинты с запёкшейся кровью, рентгеновские плёнки, обрывки газет и журналов, игральные карты и фотографии, консервные банки.

Немец служит при госпитале и в его обязанности входят не только хозяйственные ра-

боты, но и вывоз мусора. А его там хватало – каждый день по целой телеге вывозил.

Недалеко от сгоревшего дома, от которого остались лишь печка с закопченной трубой да покосившие остатки полуразрушенного и неполностью растасканного на дрова забора, спрятавшись в зарослях лопуха, за немцем наблюдают двое мальчишек. Это два закадычных друга – Павлик и Толик. По правде говоря, их не интересуют ни очкарик немец, ни его тяжёлые огромного роста кони. Они ждут того момента, когда он закончит работу и уедет, тогда они смогут спокойно спуститься в овраг и среди мусора насобирать банок из-под мясных консервов, ведь в них на стенках остаётся немало вкусного жира и волокон мяса. В животе у Толика бурлит. Он уже раз пять бегал под забор в кусты. Вчера мамка наварила полный чугун крапивы с лебедой. Он и поел этого несолёного варева. И вчера поел, и сегодня: полных две миски сегодня съел. А теперь вот живот крутит. Конечно, если бы он ел с хлебом, может и не болел бы тогда живот. Только, где ж его взять? Витька, старший брат, ещё с утра ушёл с ребятами через овраг к пекарне. Конечно, ему всё можно, куда захочет, туда и идёт – ему уже десять лет. Ушли, в надежде раздобыть там хоть немного хлеба. Иногда случалось, что немец-пекарь, раздобрившись, бросал детям, не выходя за порог пекарни, как собакам, куски. Детей перед пекарней собиралось много, и каждому из них хотелось раньше других успеть подхватить с земли хлеб. И пока они собирали, немец, наслаждаясь их вознёй, стоял в дверном проёме, скрестив на толстом животе руки, и хохотал. Потом выходил его помощник, выносил на двор стул. Пекарь усаживался, закуривал сигару и, откинувшись на спинку, попыхивая дымом, отдыхал. Ребята ушли, а Толика с Павликом не взяли – маленькие. Не взяли, чтобы, если случится убегать, не путались у старших под ногами. Ведь бывало и так: выходили два солдата и, хлеща направо и налево поясными ремнями по плечам и спинам ребят, не скупясь на пинки и подзатыльники, разгоняли всех собравшихся.

Наконец немец выбросил мусор. Закончив работу, распрямился, бросил вилы на дно телеги, вытер локтем мокрый от пота лоб, закрыл борт, закурил сигарету и посмотрел в сторону ребят. Сверху он уже давно заприметил их и теперь хмуро смотрел в их сторону.

Выкурив сигарету, солдат отбросил окурок и, развернув коней, подъехал к лопухам, где прятались дети. Остановился и пальцем поманил мальчишек к себе:

— Ком! Ком!

Этот солдат не был таким страшным и опасным, как другие с винтовками и автоматами, но Толика мамка не раз предупреждала, чтобы он никогда ни к одному немцу даже на шаг не подходил, и Толик, не сводя с немца глаз, остался сидеть, прижавшись к другу.

Немец опять поманил ребят, показывая место на козлах рядом с собой. Он видимо приглашал их покататься, но они, не понимая ни слов его, ни намерений, ещё теснее прижались друг к дружке. Немец отвернулся и, не обращая больше на них внимания, взмахнул хлыстом, чмокнул губами, крикнул: «Йё!» – и дёрнул вожжи: кони, тяжело топая своими огромными, словно обутыми в валенки копытами, легко стронули пустую телегу с места и, поднимая на дороге клубы пыли, скоро скрылись за домами.

* * *

На другой день, в окружении ребят, Толик рассказывал им про то, как немец дал им с Павликом сала и сладкого хлеба. Но все слушали его с недоверием, не веря в неслыханную щедрость немца.

— А ещё, – Толик с вызовом добавил, – я теперь знаю, как по-немецки сказать спасибо, вот! Как? Танк ушёл, вот как! Ребята принялись смеяться над ним.

И Толик, надеясь увидеть рыжего немца и тем самым доказать свою правоту, повёл ребят к гаражу, но того там не было. Ребята опять стали смеяться над ним. Толик от их смеха засмущался, потупился, покраснел и замолчал. И даже немножко шмурыгнул носом, потом развернулся и дал стрекача в сторону дома.

Когда город освободили от немцев, тётю Женю за связь с немцем арестовали и судили, но через несколько месяцев почему-то ос-

вободили. Вернувшись из заключения, тётя Женя рассказывала подруге, что Курт, так звали того немца, был отправлен на фронт, и она о нём ничего больше не знает. А у тёти Жени родился и вырос сын – рыжий, длинный и худой. И звали его… Но это уже, простите, совсем другой рассказ.

* * *

Приятели вылезли из зарослей лопуха. Павлик и Толик одного росточка, но по возрасту разнятся. Одинаково чумазые и голодные. Павлику недавно исполнилось пять, а Толику уже скоро будет семь, но это нисколечко не мешает им дружить. Штанишки на них до колен с одной помочью через плечо. Это им сшила мать Павлика. Короткие рубашонки едва закрывают вздувшиеся голодные животы. Босые ноги за лето покрылись цыпками. Пошептавшись, дети взялись за руки, подошли к краю оврага и стали спускаться по склону вниз.

Натаскав из оврага банок, ребята поделили их поровну и, усевшись на траву, прямо на краю оврага, стали выуживать всё то, что ещё могло остаться внутри на стенках и под крышкой, и отправлять к себе в рот, со смаком облизывая грязные пальцы.

Они так увлеклись своим занятием, что даже не заметили того, что рядом стоит немец и, молча, наблюдает за ними. Это был не тот немец, не очкарик, который привозил мусор, а потом звал их покататься, это был совершенно другой немец. Тот был молодой и худой, с вилами в руках, а этот пожилой. На плече у него висела винтовка, а на ремне пристёгнут большой нож. Ещё он отличался от того тем, что был рыжий, небритый, потный и очень толстый, сапоги и френч пропыленные. На правом плече из-под погона свесилась пилотка.

Ничего не говоря, немец подошёл к ребятам, взял их за шиворот, поднял, слегка встряхнул на весу, поставил на ноги. Сгрёб банки в кучу, а потом так наподдал их сапогом, что те со звоном разлетелись обратно в овраг.

— Найн! Нихт эссен – шайзе. – Немец согнулся и стал корчиться, делая страшные гримасы на лице, словно у него внезапно разболелся живот:

— Нихт гут, – он сложил руки на груди. – Гифт. Тот! Капут! Ферштеен? – немец снова взял детей за шиворот и повёл по тропке в сторону гаража, где стояли немецкие машины. До гаража было не дальше ста метров, но тропинка петляла мимо уцелевших частных домов, и дорога детям показалась очень длинной. Скованные страхом ребята не могли ни дёрнуться, ни пискнуть в его сильных руках. Им только казалось, что они бегут рядом с немцем, на самом же деле, обвиснув, они только перебирали ногами, едва касаясь земли. Слёзы текли из глаз, оставляя дорожки на грязных щеках.

Часовой у ворот гаража посмотрел на них, поправил на плече винтовку и отвернулся.

* * *

Немец привёл ребят в маленькую комнатку с единственным затянутым пылью и паутиной окном. Посадил на стоявший у стены топчан и ушёл. Его не было долго. Ребята сидели, скукожившись, зажав руки в коленях.

Вернулся немец не один, с ним пришла высокая немолодая женщина. Толик сразу узнал её: она часто приходила в их барак, приносила соседке в стирку солдатское бельё. Звали её тётя Женя. Она принесла таз и ведро воды. Поставила таз на табурет в углу комнаты, налила в таз воды. Немец, не обращая на неё внимания, разделся до пояса и стал умываться, смешно фыркая и расплёскивая воду на пол. Пока он умывался, женщина стояла, опершись о дверной косяк и, молча, смотрела на детей. Умывшись, немец довольно похлопал себя по животу, достал из ранца полотенце, посмотрел на него, понюхал, смешно сморщив нос, и стал утираться. Вытерся и брезгливо бросил на пол; что-то сказал женщине, та буркнула: — Гут! – слила в ведро грязную воду из таза, подняла с пола полотенце и ушла.

Немец подошёл к столу, достал из него большую банку, буханку хлеба, завёрнутый в тряпицу кусок сала и оранжевую коробочку в которой оказалось масло, и вынул из ножен

кинжал. Глаза у ребят округлились от ужаса: «Всё, сейчас он их зарежет и, может быть, даже съест». Губы искривились, рот открылся готовый издать первый вопль. Но немец отрезал от буханки хлеба, разрезал кусок пополам, положил на каждую половинку по тонкому пластику сала и подал детям:

— Кушайт! Эссен! Ам-ам! – немец сделал губами жевательное движение, словно во рту у него, как у тех больших коней, тоже находились железки. – Брот унд шпек – шнитте! Бутерброд. Ферштеен?

Толик, в ожидании с его стороны подвоха, протянул руку и взял хлеб. Рот наполнился голодной слюной. Он посмотрел на Павлика, который, выпучив глазёнки, с удивлением, не веря неожиданно свалившемуся ему в руки счастью, уставился на свой кусок, и робко откусил маленький кусочек мякиша.

Немец сидел на стуле у стола и с удивлением пристально смотрел на маленьких, истощённых войной и голодом ребятишек. О чём он думал в эти минуты? Какие мысли в это время были в его голове? Возможно, в этих чумазых, голодных детях он вдруг на какое-то время увидел своих. Вот, сидят, едят, но страха в глазах уже нет. Даже в поведении этих детей видна непонятная для немца черта русского характера. Голодные, но едят спокойно, с достоинством, без жадности. Да и цену хлебу знают: едят аккуратно, собирают крошки в раскрытые ладошки и отправляют в рот. И это не показное – это, видно, у русских в крови: гордость и такт.

Ребята, доев хлеб, сидели, облизывая губы, и изредка посматривали то на немца, то на стол в надежде получить добавку.

Немец вздохнул, подошёл к столу, отрезал от буханки два толстых куска, намазал их маслом, потом из банки зачерпнул ножом и намазал поверх масла слой повидла. Открыл дверь и что-то крикнул. Пришла тётя Женя. Немец залопотал, изредка показывая на ребят, и лопотал долго. Она стояла и только лишь кивала головой. Немец подал ребятам хлеб и ушёл. Тётя Женя взяла ребят за руки и, опасаясь, что на улице у детей хлеб могут отнять, отвела их домой.

Виктор Кирюшин

ОСИНОВАЯ ГОРКА
(Памятник военным шоферам)

Стою на Осиновой горке,
Смотрю на холодный гранит,
Что память о времени горьком,
О времени гордом хранит.

Из дали суровой и вьюжной
Доносится в этот лесок
Едва различимый,
Натужный,
Полуторки хриплый басок.

— Не дремлешь, сержант-бедолага?
— Не смею – такая судьба...–
Солёная светлая влага
С гранитного капает лба:

Глаза воспалённые строги,
Седой, потемневший с лица,
Он так и остался в дороге,
Которой не будет конца.

Вперёд устремленный крылато,
Рабочий великой войны,
Собрат и соратник солдата,
Что спит у Кремлевской стены.

ПРОЩАНИЕ

Мужчинам плакать не пристало,
Когда уходят воевать.
Она на цыпочки привстала,
Чтобы его поцеловать.

По доскам зыбкого настила
Увел команду военком.
Она его перекрестила,
Неловко, истово, тайком.

Шагало молча отделенье,
Он оглянулся раз и два.
...Она стояла в отдаленье,
Ещё не зная, что вдова.

МУЖЕСТВО

Военная карта-трёхверстка.
Не мудрствуй лукаво,
Стратег!
...Бойцов уцелевшая горстка
Да минами вздыбленный снег.

Январское утро свинцово.
Кусты.
Перелесок.
Река.
Лежат у села Одинцово
Остатки шестого полка.

Прицела черно перекрестье,
Мороз по-военному крут.
Шинели настывшею жестью
Коробятся вмиг на ветру.

Сержант, заменивший комбата,
Над твердью взметнувшись земной,
Всего-то и крикнет:
— Ребята! –
И, падая навзничь:
— За мной!

Спасения нет ниоткуда,
Но дрогнет фашистский редут...
А где-то про «русское чудо»
И ныне беседы ведут.

У БРАТСКИХ МОГИЛ

Здесь не как на обычном погосте —
Горечь с гордостью переплелись.
Эту землю носили по горсти
И минувшее помнить клялись.

Пусть известно не каждого имя,
В день, когда народится листва,
Мы приходим сюда не чужими
По особому праву родства.

Разве нет между нами такого,
Что вовеки превыше всего:
Окрыленной зари Куликова
И могилы отца твоего?

Сколько самого горького горя
Прячут вдовы с угасшим лицом
В том углу, где заступник Егорий
Потрясает своим копьецом!

Потому-то, пугающе резок,
Нынче нам и слышней
На Руси
Скрип едва различимый протеза —
И земной потрясенной оси.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ

Битвою взяты кровавой –
Нет ни звезды,
Ни креста...
Бог с ней,
С посмертною славой,
Главное – совесть чиста.

Снайпер ли не дал промашки?
Ныне суди да ряди.
Саваном белым
Ромашки
Тихо припали к груди.

В землю ушли батальоны,
В чёрное небытиё,
Павших солдат медальоны
Стали цветами её.

Помнит рябина у прясла
Лютый и праведный бой.
Родина,
Разве угасла
Наша великая боль?!

Чистому память – не плаха,
Без вести вы не ушли
И обернулись не прахом –
Горстью родимой земли.

МОНОЛОГ СВЯЗИСТА

Слабостям не потакаю,
Видно, не выспаться всласть.
Выпала доля такая –
Я отвечаю за связь.

Ниточка, строчка живая!
Смерть намечает межу...
Голос в ночи надрываю,
Слабых и сонных бужу.

«Ставшую нашей судьбою
Землю спасите любя,
Не закрывая собою,
А открывая себя».

Утро подступит рябое,
Тихое, как на войне.
Колокол громкого боя
Не умолкает во мне.

Не угасает мерцанье
Лампы, эфира, листа.
Горькая суть отрицанья
Не замыкает уста.

Как, оставаясь бойцами,
Нежностью соединить
Между людскими сердцами
Памяти хрупкую нить?

Чтобы не стал погребальным
Шар, от раздоров ярясь,
Каждый в масштабе глобальном
Должен ответить на связь.

Каждый услышать обязан
Совестью,
Всем существом
Землю, с которою связан
Нерасторжимым родством.

ВЕТЕРАН

По комнате плавают тени.
Как сумерки, зимние дни.
Посадит гармонь на колени,
Забросит на плечи ремни.

Душа-то чего не накопит,
Храни её, музыка, чисть!
Сыграл бы, да где-то в окопе
Покоится правая кисть.

Давно перемучило это,
А нынче больнее всего,
Как мальчик безусый
С портрета
Спокойно глядит на него.

Отцу, воевавшему в роте,
Где выжили трое из ста,
Он вычертил на обороте
Короткое «Афганистан».

Прошедший и суши и топи,
Солдат переводит табак,
А где-то за Нейсе,
В окопе
Сжимаются пальцы
В кулак.

ЗВЕЗДА

Под струями свинцового дождя
Упал солдат зелёным утром мая,
На песню до победы не дойдя,
Руками землю крепко обнимая.

Едва заметна рана у виска,
И смерть лица почти не исказила.
В его глазах дрожали облака
И удивленье детское сквозило.

Казалось, он запнулся на ходу,
Раскинув руки горько и устало.
...И стало небо меньше на звезду,
А на земле звездою больше стало.

ПОБЕДИТЕЛЬ
(Глядя на старую фотографию)

Грязь месил,
В медсанбате срывал бинты,
Стали руки темней свинца...
Я не знаю,
Не знаю совсем, кто ты, –
Ни фамилии, ни лица.

Ведь Россия-мать велика собой,
У неё не счесть сыновей.

А случится бой: там солдат – любой.
Все одной семьи и кровей.

Тополя цвели, пели кочеты,
Но пришел июнь ледяной.
Сколько холмиков по обочинам
У тебя, солдат, за спиной!

От Москвы лежал в десяти верстах –
Все равно свое наверстал!
Позади война, позади рейхстаг.
Вся земля тебе – пьедестал.

СЫНОВЬЯ

Василию и Андрею Шевелевым

...И была в огне Россия,
И пришли на помощь к ней
Сын по имени Василий,
Сын по имени Андрей.

Там и тут пылали хаты,
Рылись вороны в золе.
Были вновь нужней солдаты,
Чем оратаи земле.

Вновь от молота и плуга,
В дымном зареве руин,
Брат за брата, друг за друга
Поднимались, как один.

А кому какая доля –
Не солдату выбирать:
На краю седого поля
Довелось им умирать.

Может, пуля, может, мина
Заслонила белый свет...
Больше нет у мамы сына,
У России сына нет.

Только разве нас осилить?
По стерне родных полей
Шел уже другой Василий,
Шел другой солдат Андрей.

Далека была дорога
Той невиданной войны...
Смотрят пристально и строго
Два солдата со стены.

Отстоявшие Россию,
Ту, которой нет родней,
Сын по имени Василий,
Сын по имени Андрей.

СТАРШИЕ БРАТЬЯ

Душа хранит мечту об отчем крове,
О тропке, утонувшей в лебеде.
Мы выросли на хлебе и любови,
Те, кто до нас, –
На горе и воде.

Мы сухари, как лакомство, не грызли,
Но к старшим зависть мучила не раз:
У них игрушки – стреляные гильзы
И покупные прыгалки – у нас.

Мы помоложе.
Мы не повидали
Своих отцов в горячей той пыли.
Нам о войне поведали медали,
Им – траурного цвета костыли.

Мы так на фото стареньких похожи!
Но сознаем порою, как вину:
Они прямей
И в чем-то главном строже,
А может, просто старше на войну.

Григорий Кистерный

ПРИЗЫВ

Оглядываясь в прошлое, назад,
Войны великой горя не измерить,
Как не измерить страшные потери
Отважных воинов, прошедших через ад.

Героев подвиги история хранит,
И яркие, и горькие страницы.
О той войне в событиях и лицах…
Напоминает нам и мрамор, и гранит.

Да не забудутся все те, кто пал за нас!
Кто умирал за милую отчизну.
Их знаем мы, по ним справляем тризну
В минуты гордости и общей скорби час.

Клич поколениям послевоенных лет:
«Давайте уважать своих героев –
Всех стариков – трудящихся и воев,
Всех, несших Родине победы добрый свет!

Смотрите, слушайте, цените блеск наград
Седых и гордых наших ветеранов:
Сержантов, лейтенантов, капитанов,
Войны участников, пришедших на парад!

Смотрите, слушайте, что с прошлым единит
Отчетливо: свидетели живые,
Их жизнь, их боль и беды фронтовые.
Их облик нынешний нам души пламенит,

И каждый мудрый взгляд,
и каждый тихий вздох,
В глазах – огонь, на сердце только раны…».
И каждый год все старше ВЕТЕРАНЫ:
«Живите, милые, да будет с вами Бог»!

Виктор Козырев

БЫВШИЕ ФРОНТОВИКИ

Да, на юности давней точка,
на висках негустых седина.
Уже замуж повышли дочки,
уже выросли сыновья.
Жизнь как жизнь – и с хорошим именем,
и грустить бы им не с руки,
но ночами,
ночами зимними
спят неважно фронтовики.
Снятся выстрелы им, пожарища
да томительный свет ракет.
И живые идут товарищи –
всем ребятам по двадцать лет.
И под ветками пляшет низко
неширокий огонь костра,
и хохочет красивая Нинка –
медсанбатовская сестра.
Ах, зазноба, Нинка-картинка...
Окровавленные бинты.
Что ж ты губы кусаешь, Нинка,
не хохочешь, а плачешь ты?
И невидяще смотришь долго,
и ручонки твои дрожат...
А ребята лежат у Волги
и под Брянском они лежат.
Замело их снегами синими,
стали лица их далеки...
И ночами,
ночами зимними
спят неважно фронтовики.
И понятны мне их метания
и ночами,
и в праздник, когда
они, звякая медалями,
облачаются в кителя.
Глянут в зеркало – сводит скулы
боль, что сродни вине...
Не по фронту они тоскуют –
По утерянному на войне.

* * *

Помню, у разбитого вокзала
раздавала девочка цветы.
Раздавала и сама не знала,
что цветам тем не было цены.
И солдаты, нависая, росло,
от трофейных чарок веселы,
брали в руки разрывные розы
и застенчивые васильки.
Шёл победе только месяц третий.
И над чьей-то шалой головой
плыл разнокалиберный букетик,
собранный голодной детворой.
Шрамов тихо лепестки касались,
и сгорало солнце в вышине.
Ясным чудом васильки казались
людям, уцелевшим на войне.
Рельсы разогретые дрожали,
гасли над перроном голоса...
Только тех цветов не отражали
девочки сожженные глаза.

9 МАЯ

Шёл с улиц мягкий шторм тепла
и пахла зелень люто.
Москва торжественно плыла
под сводами салюта.
Мы пили горькое вино.
И небо серебрело.
Но для меня цвело оно,
а для него – горело.
И кто-то поднимал бокал
и тосты гаркал бегло...
А он молчал и отступал
лесами в сорок первом.
Фронтовики, как короли,
нестройно пели в зале.
А он убитых хоронил
под траурные залпы.
Ломала боль упрямый рот,
когда опять сквозь гулы
в атаку шёл охрипший взвод,
встречая грудью пули.
А дорогое торжество
весь небосклон дробило.
Он не кричал. И всё ж его
молчанье криком было.
Война витала меж огней,
и понял я, отчаясь, –
она для тех, кто был на ней,
вовеки не кончалась.

БРЯНСКИМ ПАРТИЗАНАМ

Леса, леса! Былинные леса!
Деснянские низины и обрывы.
Прошли года, но чуть прикрой глаза –
и снова бой, и выстрелы, и взрывы.
И вновь родимый край горит в огне,
и вновь всплывают чёрные туманы...
Вовеки не забыть нам о войне,
о мужестве о вашем, партизаны!
И вспомнив свет тех непомеркших дней.
Вы приезжайте к нам дорогой близкой –
обнять по-братски боевых друзей
и поклониться низко обелискам.
И тем лесам, израненным войной,
и тем местам, единственным на свете...
Вас, как героев, город над Десной
открытым сердцем и цветами встретит!

БОМБЁЖКА

Не помнится мне –
только снится
на краткую вспышку, на миг:
над просекой
чёрные птицы
и сосны в разрывах немых.
Ну где же?
Где мамины руки?
Сквозь слёзы –
взлетающий свет.
Кричу, посинев от натуги,
кричу,
только голоса нет.
И всё выбираюсь из ямы…
Не верил бы в сон я ночной,
да ноют давнишние шрамы,
что выросли
вместе
со мной.

КИНОХРОНИКА 1942 ГОДА

На полотне на миг короткий
война нежданно ожила...
Шла
шляхом
маршевая рота,
к передовой
не в ногу шла.
Хлеба горели крупным планом,
и стлался чёрный дым кругом.
И, словно ястреб,
«мессер» плавал
над затаившимся селом.
И были кадры не парадны –
шли в бой солдаты,
шли на смерть.
Спешил военный оператор
их навсегда запечатлеть.
Перед страдою горькой,
бранной
их были тяжелы шаги.
Мелькали лица новобранцев,
обмотки,
скатки и штыки.

Страна смотрела их глазами,
боль нестерпимую терпя...
Седой майор вдруг вскрикнул в зале
узнав нечаянно себя.
Никто открыто не заметил
ни слёз его и ни седин.
Из роты той на белом свете
в живых остался он один.
И будто вновь открылись раны,
и память сердце обожгла...
А по горящему экрану
шла рота в бой,
В бессмертье шла!

БЫК

Плыл за обозом плач и крик,
и шлях желтел листвою...
Тащил телегу нашу бык
в неметчину,
в неволю.
Он приблудился по весне –
голодный доходяга.
Но на десятой лег версте
у тёмного оврага.
Закат кровавою каймой
струился над лесами...
Немецкий бил быка конвой,
и били полицаи.
Вовсю куражилось зверьё
(сукно – под цвет крапивы).
За спинами, как вороньё,
взлетали карабины.
И жгли огнём ему бока,
им всё казалось мало.
Трещала кожа у быка,
и морду кровь марала.
Остервенело, стиснув рты,
кормильцу хвост крутили.
Ругался тихо дед: «Скоты!
Замучают скотину!»
Но, как валун,
бык в землю врос,
собой, закрыв дорогу.
Глядел обоз,
молчал обоз,
прислушиваясь к рёву.
Над полем бедным
рёв скользил,
всё поднимаясь выше,
И унтер, выбившись из сил,
отбросил кнутовище.
Глаза съедали пыль и дым.
И враг ошеломлённый
пролаял резко:
«Со вторым
пойдёте эшелоном!»
Дед вожжи дёрнул наугад.
И в тишине оглохшей
рванулся мощно бык назад,
чуть не сломав оглобли.
И вдоль дороги враз махнул,
как добрый конь намётом...
Свернуть дед вовремя смекнул
в сосняк за поворотом...
Кормили кашею меня
среди глухой поляны,
и хохотали у огня
негромко партизаны.
Свет лунный грустно заливал
истерзанную землю.
А бык лежал,
траву жевал,
сам, будучи в резерве.
Он до победы не дожил –
долга была победа,
но он ей верно послужил,
хотя о том не ведал.

ВЕСНА ПОБЕДЫ

Ещё зияли чёрным клином
затопленные блиндажи;
ещё патроны в мякоть глины
не вбили тёплые дожди;
ещё тянуло дымом горьким
от развороченной земли;
ещё разбитые пригорки
живой травой не заросли;
ещё меж рваного металла
синели спины хищных мин,
но в воздухе уже витало,
взлетало,
пело,
ликовало:
«Весна и Мир! Весна и Мир!»

НАДПИСЬ НА ОБЕЛИСКЕ

Пусть сверкнёт на твой быт
обнажённо, открыто –
никто не забыт
и ничто не забыто.
Мёрзлый топот копыт
мимо танков разбитых –
никто не забыт
и ничто не забыто.
Риск мгновенный судьбы,
как прыжок из зенита –
никто не забыт
и ничто не забыто.
Плащ-палаткой укрыт
воин, пулею сбитый, –
никто не забыт
и ничто не забыто.
Этот скорбный гранит,
эти серые плиты –
никто не забыт
и ничто не забыто.

Николай Колобаев

ПАРТИЗАНСКАЯ ЗЕМЛЯНКА

Накат землянки незамысловатый,
Надежнее опоры не найти…
И снова к ней идут по круглым датам,
Участники суровой той войны.
Вдали от гулких мест в глухой тиши
Она скрывала, грела и лечила,
И грамоте войны бойцов учила,
И сосны слышала окрест.
И с потолка срывались капли слез,
Когда в нее не возвращался кто-то,
А там, вдали трещали пулеметы
И поезда летели под откос.
А там, вдали шла битва не на жизнь
И полнилась земля друзей телами –
Простых парней, которых нет уж с нами,
Хоть вечно жить любимым поклялись…
Накат землянки незамысловатый,
Надежнее опоры не найти…
И снова к ней идут ее солдаты,
Но реже-реже может кто дойти.

У ОБЕЛИСКА

Вот опять стою у обелиска…
Ветви ивы – след застывших слез,
До земли, касаясь низко-низко,
В травах тают, капельками рос.
До Победы два неполных года
Не дожить тебе, солдат, пришлось:
В сентябре у Навлинского брода
В той атаке всё оборвалось…
Не допелось и не долюбилось,
Не дождалась та, что так ждала.
Но Победа все-таки случилась!
Всех кто пал к Рейхстагу привела.
За тебя здесь чарку поднимали,
И с тобою возрождали жизнь.
Рудники и шахты открывали,
И ракеты поднимали ввысь.
И ты вечен в памяти и бронзе...
Мера нашей доброты, и зла.
Но прости меня, солдат, за Грозный,
За Норд-Ост, и пламенный Беслан!
Сотни тысяч в мире обелисков
Под надзором времени стоят,
Чтоб не пополнялись больше списки
В новых битвах гибнущих солдат.

ПОКРОВСКАЯ ГОРА

От Покровской горы колокольный трезвон
Разбивает морозный деснянский хрусталь,
В миллиардах снежинках, нарушив их сон,
Отражаяся в каждой,уносится вдаль.
И несёт торжество благовонного дня,
Очищая туманную томность зари.
Это Русь! Это Брянская наша земля!
Это край, где весною поют соловьи!
Это мир Пересвета, Кравцова, Дуки...,
Это подвиг героев, чьи души легки,
Их победный полёт исторических дней
В колокольном трезвоне России моей.

Любовь Кондратова

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Самый светлый, самый мирный праздник –
День Победы над врагом лютым.
Много лет прошло, а в странах разных
Этот день считается святым.

Этот день вы лично приближали,
Каждый миг рискуя в дни войны.
Честно, героически сражались
И дошли до праздничной весны.

Подарили вы своим потомкам
Солнце, неба синь и чистоту.
Глядя вслед весёлому ребенку
Хочется забыть годину ту.

Только подвиг каждого солдата,
Будь он рядовой иль генерал,
Не забыть ни взрослым, ни ребятам,
Не стереть бегущим вдаль годам.

Вам желаем крепкого здоровья,
Бодрости, весёлости души!
В День Победы в праздничном застолье
Мы за вас по чарке осушим.

К ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ

Как много вёсен пронеслось,
А всё болят войны той раны.
И не одну ночь не спалось
Вам, дорогие ветераны.

И не одна старушка-мать
До Спаса яблок есть не станет.
И без вести пропавших ждать
Мужей их жёны не устанут.

И мы сейчас сказать хотим,
Те, что военных лет не знали,
Всегда Россию защитим,
Как вы когда-то защищали.

Я РОДИЛАСЬ, ВОЙНЫ НЕ ЗНАЯ

Посвящаю деду своему –
Власикову Михаилу Арсентьевичу.

А если б не было Победы,
Писала б я сейчас стихи?
В огне войны горели деды,
В аду кромешном дней лихих.

В груди с осколком от снаряда
Пришёл мой дед с войны домой;
Контужен, шёл со смертью рядом,
Но видел небо – он живой!

Я родилась, войны не зная,
Где каждый воин был герой,
Но День Победы почитаю
Как самый главный Праздник мой.

Алексей Корнеев

ПОБЕДА

Ветер тронет золотые кисти
опаленных славою знамен.
Первый выстрел. И последний выстрел.
И салюта жаркий небосклон!

Между ними там, где пропасть ада
(Господи! Спаси, перенеси …) –
боль и ярость, пот и кровь солдата –
главного спасителя Руси.

И сегодня он, кто бился честно
и ценой безмерной землю спас,
из могил, и чтимых, и безвестных,
смотрит вопрошающе на нас.

Спрашивает:
– Что же вы, потомки,
отступились от родной земли?
Снова проходимцы и подонки
Родину к обрыву подвели.

Киллеров умелых пригласили,
отстреляли, будто рыбу-кит.
Золотая чешуя России
на заморских теремах блестит.

Сколько же терпенья на Руси?
Господи, спаси! Перенеси…

ЗЕНИТКА

В мирном небе самолеты выткут,
разбросают связки белых лент.
Над Десной невзрачный постамент
оседлала старая зенитка.

Дремлет.… И совсем иного тона
в полусне ее тревожит звук.
Звук, набрякший злобой многотонной,
звук несущий сто смертей и мук!

Грохот взрыва, крик последней боли,
хриплые команды, топот ног…
А в стволе – снаряд! – как будто в горле
ненависть запаяна в комок.

Взвей его, спрессованное пламя,
в неба опрокинутый провал,
чтобы там, под черными крестами,
он свое железо разорвал!

Выстрел! Выстрел!.. И короткой дрожью
снова сотрясается лафет.
…Кто-то тихо положил к подножью
в разнотравье собранный букет.

Юрий Кравцов

НЕЗАБУДКИ

О.Г. Устенко

Стоявшая у роковой черты,
Познавшая немецкую неволю,
Чуть свет сажает нежные цветы
У дома над рекою баба Оля.

С собой и день и ночь наедине.
И, опершись на гнутую лопату,
Задумается,
Вспомнит о войне,
И вот горят, горят повсюду хаты.

И пулемёт стучит, стучит, стучит.
В кровавой пене старики и дети,
И мечутся, как волки, палачи
Среди огней пожарищ
В страшном свете.

Она, очнувшись,
Пот со лба сотрёт.
Но не смахнёт кошмар
Видений жутких,
И розы, и настурции берёт,
Но чаще всех сажает незабудки…

ПЛАНКА

В Освенциме детей, не дотягивающихся до высоты 120 см, отмеченной на специальной планке, фашисты в годы войны отправляли в газовые камеры

Как только Алёшка,
Мой сын, подрастёт,
Его привезу я с собою
В Освенцим, где женщины возле ворот
Торгуют цветами весною.

— Гляди, – мальчугана за плечи я трону. –
А после об этом друзьям расскажи.
Вот чёрная планка.
Возьми-ка пионы
И рядышком с нею, сынок, положи.

Он к ней подойдёт.
— А зачем эта палка? –
Задаст мне Алёшка нехитрый вопрос.
И вдруг я замечу, и станет мне жарко
От мысли, что сын до неё не дорос…

АНЮТА

А.А. Исаевой

На плите её имя в длиннющем ряду.
Пуля жизнь унесла
В сорок первом году.
Рядом с именем этим
Небесной окраски
Смотрят в мир,
Не мигая, анютины глазки.

Я не знаю, какою девчонка была,
Только чудится, чудится мне почему-то:
Свой приветный,
Задумчивый взгляд отдала
Лепесткам над плитой
Незнакомка Анюта.
Отойду от огня, меркнет ласковый свет.
Грустно-грустно Анюта
Мне смотрит вослед.

ВАСИЛЁК

Лётчику Василию Морееву,
погибшему возле деревни
Филиппово Брянской области
в годы войны

На краешке заросшего болота
Ковш трактора извлек из глубины
Останки боевого самолета,
Пробитые осколками войны.

В кабине – прах советского пилота,
Комбинезон, оружие, планшет,
Девчонки улыбающейся фото
И с силуэтом Ленина билет.

Открытый взгляд.
Зовут его Василий,
А меж страниц,
Как бы любви намёк
К девчонке той и к ласковой России,
Нетронутый войною василёк…

ОКНО

Когда душе в груди тесно
И нудный дождь никак не кончится,
Он, распахнув своё окно,
Глядит на мир из одиночества.

Солдат о том, что одинок,
В минуты эти забывает
И даже по земле шагает,
Хоть и с войны живёт без ног…

УЛЬЯНА

Девятый десяток, а жить не устала.
Встает, как и прежде, до солнца,
Нарубит у речки она краснотала,
Несёт – и ничуть не согнётся.

От жизни не ждёт ничего и не просит,
Вернется уставшая с речки
И ношу свою с облегчением сбросит,
Растопит остывшую печку.

Присядет, посмотрит на фото Стефана –
Солдат в гимнастерке смеётся...
Вот так на рассвете встречает Ульяна
Своё и Стефаново солнце...

Евгений Кузин

ВЕЧНОСТЬ

И тридцать, и триста, и тысячи лет
Мне дарит Россия немеркнущий свет.

От имени предков, упавших в траву,
Я в веке двадцатом по-русски живу.

Стреляли в меня на Непрядве-реке.
Я мчался на шведов с дрекольем в руке.

И с русскою ратью мне выпало лечь
Убитым за Русь в Бородинскую сечь.

За землю, за волю в родимой стране
Был ранен смертельно в гражданской войне,

Фашистские каты убили меня,
И каплей Руси я упал в зеленя.

И каплею крови, как прежде, пророс
На русской земле, среди русских берёз.

И снова, как тысячи лет, наяву
Лелею Россию, Россией живу.

И жить ей в веках! И быть ей века!
Тобою и мною Россия крепка.

РОВЕСНИКАМ

Сквозь беды и невзгоды
Мои летели годы.

Война меня пытала
Жестокостью металла.

Ровесники, что пали,
С Победою не встали.

Их навсегда укрыла
В концлагере могила.

И мы за них, живые,
Взлелеяли Россию,

Подняли из пожарищ
С тобою мы, товарищ.
И дарим внукам нашим
Ещё сильней и краше.

Как прежде, над Россией
Идут дожди босые.

Как прежде, у Державы
Густы в покосе травы.

Как прежде, зреет жито...
Но есть печаль гранита.

Он в скорбных обелисках
Над прахом наших близких –

Отцов, сестер и дедов,
Упавших до Победы.

От пуль, упавших в травы,
За вольный дух Державы.

...Война нас всех пытала,
Но вот не растоптала.

ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ

12 июля 1943 года в ходе Курской битвы здесь произошло самое большое танковое сражение второй мировой войны

Шесть часов среднерусского шляха
Тряс автобус, железом звеня,
И на поле кровавого страха
Он к обеду доставит меня.

Я сошёл, разможённый дорогой,
Оглушённый моторной нудой,
Будто странник – хмурной и убогий,
Измождённый хулой и нуждой.

Предо мной зеленели просторы
Белгородских холмов и долин.
Тех долин, все века на которых
Бился с ворогом Рус-Исполин.

Я спешил в этот край поклониться
Тем местам, где гремели бои,
Где тучнеет овёс и пшеница,
И по маю поют соловьи.

Белгородское древнее поле,
Затерялся твой Прохор в веках.
Был он пахарь и отчину холил,
И держал Матерь-Русь на плечах…

ВЕЧНОСТЬ

И тридцать, и триста, и тысячи лет
Мне дарит Россия немеркнущий свет.

От имени предков, упавших в траву,
Я в веке двадцатом по-русски живу.

Стреляли в меня на Непрядве-реке.
Я мчался на шведов с дрекольем в руке.

И с русскою ратью мне выпало лечь
Убитым за Русь в Бородинскую сечь.

За землю, за волю в родимой стране
Был ранен смертельно в гражданской войне,

Фашистские каты убили меня,
И каплей Руси я упал в зеленя.

И каплею крови, как прежде, пророс
На русской земле, среди русских берёз.

И снова, как тысячи лет, наяву
Лелею Россию, Россией живу.

И жить ей в веках! И быть ей века!
Тобою и мною Россия крепка.

ЭХО
Поэма

Опять не сплю. Опять в душе тревожно,
Как будто там, за стёклами окна,
Где зреет сад, где поле пахнет рожью,
Живая оборвётся тишина.

Запляшет пламя над соседской крышей,
И детский крик взметнётся вновь в ночи.
Я так боюсь опять его услышать,
Но тридцать лет он в сердце мне стучит.

Он страшен – крик девчонок и мальчишек,
Сгоревших на пожарищах войны.
Пока мы живы, он не станет тише:
Мы памятью навек обожжены.

Нам детство освещали не зарницы,
А пламя хат, пожары русских сёл.
И нам уж никогда не отрешиться
От жуткой ноши, что в сердцах несём.

1
Есть такая деревня русская.
Есть такой уголок земли.
Там в орешнике светло-русом
Белый ландышевый разлив.

Там столетние грустные сосны
Смотрят в окна притихших хат.
Там девчата нежны, как вёсны,
Только мало в деревне ребят.

Но родная хацунская пажить,
Страшной памятью ты живёшь.
Говор лающий, говор вражий
Не забыли и пажить, и рожь.

Это было… О, как это было!
Ранним утром, в тревожной тиши
Автоматная дробь разбудила
Луговую хацунскую ширь.

И Хацунь, и Хацунь занемела –
Горстка русских сосновых хат.
А хацунцы ждали расстрела,
Прижимая к груди ребят.

И солнце увяло в рассвете.
Как розги, – немецкая речь.
Хацунцы – российские дети,
Никто вас не смог уберечь.

Вот здесь, где стоишь ты, потомок, –
Последнего вздоха тропа.
Из прошлого, как из потёмок,
В нас пулей – хацунцев судьба.

Расправа, расправа, расправа…
Со взгорка строчит пулемёт.
И полнится кровью канава.
И гибнет хацунский народ!

Предсмертные слёзы и вскрики.
О, Боже-Заступник, спаси!
Убийцы германского лика
Вершили свой суд на Руси…

2
Беда одна не ходит по земле.
Беда беду, как злое семя, множит.
Свой путь в хацунской породив золе,
И к нам она пришла в деревню тоже.

Беда пришла в деревню на заре,
Когда она, в беду ещё не веря,
Держала небо на росе застрех
И только открывала в утро двери.

Плясал огонь на лезвиях штыков,
Слова чужие мне давили уши.
Осела в пепел хата тёти Груши,
И взвился дым до самых облаков.

Вот к нашему крыльцу берлинец рыжий
Метнулся разъярённым кабаном.
Разорвалась граната за окном.
Ручьи огня лизнули жадно крышу.

А бабы приглушённо голосили,
Глотая слёзы и прогорклый дым.
Огнища оставались, как следы
Сосновых деревень России.

3
Дорога – вся в рыданиях и стонах.
Как призраки, мы шли в пыли густой.
И замирали траурно в поклонах
Берёзы и осинник молодой.

Рычали мотоциклы на ухабах,
Конвойные резвились гогоча.
Шли дети и заплаканные бабы
С котомками в руках и на плечах.

4
У чистого луга, где говор ручья,
Черёмуха вьюжит – лесная, ничья.

И сыплет отчаянно нам лепестки,
Печально-печально молчат сосняки.

Прощайте, родимые! Это – война.
Дымные, дымные вёрсты у нас.

5
И вот привал. Фашистские команды
Под соснами звучат, как на плацу.
О, эти звери знали, что им надо,
Когда погнали нас через Хацунь.

И вот привал. Веснился сорок третий,
Пропахший динамитом горький год.
И дым пожара доносил к нам ветер.
И был кровав хацунский небосвод.

И мы над пеплом хат тогда молчали.
Прощай, Хацунь! Пришёл черёд и нам.
…Дорогою немыслимой печали,
Дорогой смерти нас вела война.

6
На перроне Навли – стыло.
Чуть рассвет зарю зажёг,
Понесли тебя в могилу,
Незнакомый паренёк.

Не дошёл ты вместе с нами,
Слишком долог был большак.
И звучат теперь, как память,
Крики скорбные в ушах.

И бегут, бегут вагоны
(Те вагоны – для скота).
Стонут люди, рельсы стонут.
За верстой летит верста.

От родной земли, от брянской,
От её полей, лесов
И отрядов партизанских,
И ушедших в них отцов.

И стучат, стучат вагоны,
Оставляя плач в пути.
Вот и Гомель утомлённо
Страшный поезд пропустил.

7
Вагоны мчатся, вагоны мчатся.
О, дайте людям глоток воды!
В вагонах душно, в вагонах чадно
И очень много юнцов седых.

«Пустите, тётя, к решётке маму!
Ей ветра нужен хотя б глоток».
Вагоны мчатся в колёсном гаме.
Сестрёнка плачет: «За что, за что?»

…А помнишь, мама, цветенье вишен?
А помнишь – утром в огне крыльцо?
Но только мама меня не слышит –
Как белый саван её лицо.

«О, вассер, вассер!» – глумятся фрицы
И шлют нам пули взамен воды.
(Мне тридцать лет тот поезд снится.
Так жгучи в сердце его следы).

А поезд стонет. На рельсах стонет.
Куда кровавый наш путь намечен?
И вот приклады нас жмут с перрона.
И вот мы в поле. За Молодечно.

Ржаное поле. Как наше поле,
Что там осталось, у Брянска где-то.
И это поле – в тоске-неволе,
В колючий саван оно одето.

8
А рядом – глухо, вон там за бугром,
Будто проехал по небу гром.
А рядом, где зелено стелется рожь, –
Фашистская явь – пулемётная дрожь.

Клокочет свинец над глиной могил,
В бездумье, как звери, лютуют враги.
Впиваются пули в родные сердца.
Вот брата не стало, а вот и отца.

Вот сотни не стало пленённых бойцов –
Чьих-то любимых, чьих-то отцов.
Вот жуткая явь. И кровав её след.
И гаснет в глазах милой Родины свет.

Чёрное солнце роняло лучи.
Детское сердце, от боли молчи!
Это тебя на место отцов
В пустые бараки загонят свинцом.

9
…Клокочет август. Густа жара.
Песок у бараков – ступить невмочь.
Трупы выносят всегда с утра.
Трупы, как дань, приносит ночь.

Детские трупы, тела старух
Лежат у бараков горой, горой.
Сколько их здесь, скрюченных рук!
И мухи над ними. Смертельный рой.

Мы к трупам привыкли. Не страшно уже.
Клокочет август, густа жара.
А голод в глазах. И тоска в душе.
И бочка баланды – на весь барак.

10
Ветер пылью хлещет лица.
На зубах скрипит песок.
Нам сейчас бы не умыться,
Нам воды – один глоток.

Подорожник редкий скрючен.
Всё пожухло без воды.
А за проволокой колючей
Рожь клубится. Жёлтый дым.

Белолицые ромашки,
Словно девушки стоят,
Как в тех дальних, тех домашних –
Брянских радостных краях.

От жары ромашки вянут,
Просят помощи у ржи.
И зовут ромашки Таню,
И Танюшка к ним бежит.

Выстрел в спину. И бедняжка
Навзничь падает в песок.
На груди в руке ромашка –
Роковой её цветок.

* * *

Увяла ночь, а сна и не бывало.
Московская газета на столе.
С её страниц мне душу жгут напалмом.
Я пулями пришит опять к земле.

Мне кажется, что там, за Молодечно,
Опять я в страшный лагерь заключён.
И снова жизнь любого человека
Дешевле, чем винтовочный патрон.

В Сонгми я пал, сожжённый снова болью,
В Лаосе пал на горном большаке.
И надо мной хохочет дико Колли,
Дымится пистолет в его руке…

Нет, мне уж никогда теперь не сбросить
Больную ношу тех далёких дней.
С тревогою встречаю утра просинь.
Лучи восхода пляшут на окне.

Скворцы проснулись. В домиках зелёных
Весёлый щебет молодых скворчат.
А мне он кажется каким-то жутким стоном,
Как будто павшие ровесники кричат,

Зовут на помощь, руки тянут к небу.
О, Родина, о кровь родной Руси!
Я всё бы отдал, чтобы там я не был,
Но там я был. И помнить – свыше сил.

Но там я был. И память не остудят
Ни ритм годов, ни радость мирных дней.
Да, там я был, но с нами их не будет –
Ровесников, что пали на войне.

Мы даже всех не помним поимённо.
Мы ищем их родные имена.
Над братскими могилами знамёна
В дни памяти склоняет вся страна…

Степан Кузькин

ОТЦОВСКАЯ ШУБА

Село, будто рваная рана.
Багрово дымилось в снегах...
С боями ушли партизаны –
В селе мародерствовал враг.

У нас в покосившейся хате.
Притихшей у лип вековых.
Зипун на дощатой кровати
Да шуба отца на троих.

И всхлипнули грустно ступени
Осевшего на бок крыльца,
И дверь в полутемные сени
Прикладом толкнул полицай.

— Где, так-перетак, твоя шуба!
Доколь ей солдатика ждать! –
И в угол уставился тупо,
Взглянуть не решаясь на мать.

...С крыльца соступил он весёлый,
В обнове с чужого плеча.
Вцепиться б ручонками в полы,
От боли глухой закричать.

Но мать, вскинув косу тугую,
Сказала всего-навсего:
— Коль с бабами Гитлер воюет.
Дела, знать, его – не того...

АЛЁНА

В домишке у старого клёна,
Годам потерявшая счёт,
Не старится бабка Алёна,
На радость деревне живёт.

Коль тёщи теперь и свекрови
К внучатам не шибко-то льнут,
Сюда, за порог её вдовий,
С утра ребятишек ведут.

Под бабкиной шиферной крышей
Есть место всегда и для всех.
Уже спозаранку тут слышен
Ребячий заливистый смех.

...А к вечеру дом опустеет,
Но снова среди тишины
И радость, и боль её с нею –
В некрашеных рамах сыны.

Не выпала доля Алёне
Понянчить родимых внучат...
Вздохнёт. И шершавой ладонью
Погладит портреты солдат.

Елена Леонова

**КО ДНЮ ГОРОДА БРЯНСКА.
17 СЕНТЯБРЯ**

Мы о войне читали только в книжках.
Раскрасит осень клёны в сентябре,
Дождями загрустив о тех мальчишках,
Что так недолго жили на земле.
Осины светят из осенней дали,
Как пламенем леса обожжены,
Где в сорок первом партизаны стали,
Защитниками брянской стороны.
Играет марш оркестр заворожённый,
Мелодии торжественно звучат,
Ведь помнит Брянск, из пепла возрождённый,
С войны не возвратившихся солдат.
Смыкая строй проходят ветераны,
С любовью дети им несут цветы,
Летит на землю лёгкий лист багряный,
И полон день спасённой красоты.

ВЕСНА ПОБЕДЫ

Салюта майского раскаты
Услышим мы в который раз.
Победный вспомним сорок пятый,
Что судьбоносным стал для нас.
Зарубцевало время раны,
Снарядов взрывы не слышны,
Спасибо скажем ветеранам
Великой, праведной войны.
Вы служили Отчизне,
Вы прошли сквозь бои.
Ради будущей жизни –
Людям мир сберегли.
Не сломили Вас беды
Ни в дыму, ни во мгле –
Стала Вашей Победой
Наша жизнь на земле.
Мир не поставлен на колени,
Вновь распускаются цветы,
Душистым запахом сирени
Весна наполнила сады.
Мы помним горькие утраты,
Благодарим за тишину,
И молча пьём за сорок пятый,
За ту победную весну.

* * *

Сынишка рисует Победу
И часто играет в войну.
И очень похож он на деда,
Что встретил в Берлине весну.
В рисунках стоят обелиски,
В них – память Великой Страны.
Далёкое кажется близким
В преддверии новой весны.
И, словно всю горечь изведав,
Цветы на граните лежат,
Ведь миру досталась Победа
Ценой небывалых утрат.

Юрий Лодкин

ВЕЗУЧАЯ СТЁЖКА

Не так давно у Ивота-поселка рядышком деревенька Ивоток стояла. Ныне нет той деревеньки, только добрая память о ней осталась. Жил в Ивотке, как и во всём нашем крае, люд к лесу привычный. Детишки в Ивотке чуть на ноги встанут, первый шаг – к лесу. А уж кто постарше, те днюют, а порой и ночуют в чаще лесной. Случилось как-то: в Ивоток к бабке Акулихе из большого города погостевать внук прикатил. Фамилии-отчества у мальца никто не спрашивал, узнали имя одно – Венька. Скажут на деревне «Веник Акулихин» – и всем ясно, о ком речь.

Приезжему мальцу наш лес в диковинку. Лес, понятно, парня манит, да страх перед лесной дремой дальше первого куста на опушке идти не велит. Но как-то увязался Веник Акулихин за грибами идти с парнишкой соседским Егоркой Федюшиным. Год сухой был, не шибко грибами баловал. Далеко от дома мальцы ушли, к Чёрному болоту. Идут по ельнику, стали белые попадаться. Веник за Егоркой семенит, на пятки наступает, на полшага отойти от него боится. Егорка впереди, понятно, все грибы ему навстречу. А Венька-то хитруком оказался. Только нагнется Егорка над грибом, а внук Акулихин из-за спины уже кричит:

— Чур, мой гриб, чур, мой...

Подскочит и без ножа – хвать белый и в своё лукошко его. Идут мальцы дальше – грибов больше. И всё чаще за Егоркиной спиной Венька свой голос подает:

— Чур, мой, чур, мой...

Вскорости у городского гостя полное лукошко одних боровиков набралось, а у Егорки – едва донышко прикрыто. Венька-то подустал с непривычки и стал Егорку домой звать. А тот отвечает:

– Да меня ж вся деревня засмеёт, коли ты с грибами придешь, а я с – пустым лукошком. Помоги мне собирать – быстрей обернемся.

Но, видно, Акулихиного внука жадность одолела.

— Нет уж, – говорит, – собирай ты себе сам, а я из рубахи мешок сделаю и ещё себе подсобираю.

Солнце уж к лесу склонилось, когда Егорка, так и не насобирав верха к своему лукош-

ку, согласился домой идти. Обидно ему: у Веньки, лесного новичка, грибов раза в три больше.

Далеко забрались мальцы. Даже Егорка и тот усомнился, в какую сторону к дому идти. Заспорили они с Венькой. Один говорит – от солнца идти нужно, другой – на него. Долго спорили. Вдруг голос в сторонке:

— О чем спор, мужички, ведете?

Смотрят грибники, а перед ними – старик: борода по грудь, на голове фуражка форменная с золотыми дубовыми листиками. «Лесник», догадались.

— Ай заплутали? – спрашивает. – Из Ивота будете?

— Из Ивотка, – поспешил ответить Веник Акулихин. Лесник хитро глаза прищурил и спрашивает:

– Так в какую же сторону, по-вашему, идти нужно?

— На солнце, – торопливо выпалил Венька.

— Нет, – возразил Егорка, – солнце за день круг сделало. Нам – в обратную сторону.

— Правильно говорите, – усмехнулся старик, – вот и идите каждый своим путем.

— Как же так? – удивился Егорка. – И в одну сторону правильно и в обратную тоже?

— Старших слушать нужно, – добродушно заворчал старик и подтолкнул Веньку в одну сторону, Егорку – в другую.

Недолго пришлось Егорке по кочкам спотыкаться. Вскоре перед ним стежечка узенькая открылась и нежданно к большаку вывела. Оглядывается Егорка назад – не видно Веньки, а до деревни совсем уж близко. «Скоро смеркаться начнет, – думает Егорка, – плохо Веньке в лесу придется». Спрятал Егорка своё лукошке в кустах и бегом назад – Веньку выручать. С большака на примеченную тропинку свернул и услышал далеко где-то Венькин голос. Привели Егорку ноги на ту самую ляну, где они со стариком встретились. На старом пне сидит Венька и слезами болотный мох мочит. Увиде. Егорку, вскочил радостно.

— Вдвоём хоть блудить не страшно будет, – захлебывается, – место какое-то заколдованное: всё вот около этой поляны кружусь, не могу от неё оторваться.

— Место это и впрямь не простое, – услышали ребятишки опять голос старика. Тот перед ними словно из-под земли вырос.

— Послушайте-ка, что я вам об этом месте расскажу, – старик молвил. – В пятом году дело было. В первую революцию. Фабрику Ивотскую мастеровые остановили. Управляющий из самого Брянска казачью сотню призвал для успокоения фабричных. В день один собрались мастеровые на тайный сход в этом самом месте. Думали, решали, как им против нагаек казачьих выстоять. Да, видно, выследил мастеровых какой-то подлизай хозяйский и навёл казаков на эту поляну. Те, как услышали о тайном сходе, мигом – по коням и в лес. Подъехали к поляне тихонько, но кто-то из фабричных увидел, как метнулись за кустами фуражки с казачьими околышами.

— Казаки! – закричал. – Все – за мной!

Нагаечники на конях из-за кустов выскочили, да уже поздно – только и увидели, как холщовые рубахи в ельнике скрылись. Пометались казаки по лесу, а все кругами. Оказалось, что вокруг вот этой поляны кружишь, на одном месте, почитай. Сотник казачий призвал к себе доносчика.

— Ты что же, смеяться над нами вздумал? – зарычал зверем. – Не было здесь никакого схода, видели двух мужиков – за грибами приходили. И всё! Нагайками прикажу тебя сечь...

Доносчик затрясся, как лист осиновый:

— Своими глазами видел: Иван Шерсткин – с красным флагом, а Федька Горосов речь супротив царя и генерала Мальцова говорил... Да вы по домам ихним пошастайте, небось, они всё ещё в лесу прячутся.

Послушались казаки совета, сунулись к Ивану Шерсткину, к Фёдору Горосову, к третьему, четвертому – всё дома. Кто дрова рубит, кто лапти плетёт, а кто в огороде копается...

Оказалось, что наши-то фабричные на везучую стежку напали. Она их от казаков увела и прямехонько к посёлку выстелилась. Вот ведь как получается: в жизни добрый человек всегда и в темноте на свою дорогу выйдет. А другому для этого поводырь нужен.

— Ты вот что, – обратился старик к Егорке, – возьми своего товарища за руку и не выпускай его, пока на большак не выведешь, а то он опять кругами начнёт блудить.

Подошли ребята к Ивотку, когда уж слегка стемнело. Отыскал Егорка в кустах свое лукошко, а Веник Акулихин и говорит ему:

— Слышь, Егор, давай-ка из рубахи тебе грибы высыплю – схитрил я, получается.

Высыпал добычу свою в Егоркино лукошко, и ещё в своё малость добавил, до полноты. Два полных лукошка вышло.

Дома Егоркин отец сказал, что уж собирался идти в лес и искать пацанов. Готовился даже головомойку сыну устроить. Но охладел, когда Егорка ему про встречу со стариком-лесником рассказал.

— Видишь, как получается, – отец сказал без удивления. – Насчёт везучей тропки правильно сказано. Мне эта тропинка в войну жизнь спасла. Тогда я от партизан в Ивоток в разведку пришёл, узнать, где немчура стоит, сколько их, как вооружены. На ночь у старого кузнеца Михеича остановился. Но видно, какой-то вражеский полицай меня заметил и донёс в свой штаб. В полночь в дверь стали прикладами бить:

— Открывай, – кричат, – старый хрыч, у тебя партизан скрывается.

Распахнул Михеич дверку из прируба в сад и вытолкнул меня.

— К лесу подавайся, – шепнул. – Он выручит. Попадешь на везучую стежку – и ни одна немецкая овчарка твой след не возьмёт.

После уж узнал я, что порыскали полицаи по стариковскому дому, всё вверх дном перевернули – ничего не нашли. Кинулись через сад к лесу, а как этот след без собаки ночью найдёшь. Собак утром пустили, чтоб по моему следу на партизанскую базу выйти. Покружили изверги по лесу, на нашу засаду налетели и тут навсегда сгинули.

И вы послушайте старика: хорошему человеку всегда везучая тропинка в жизни выстелется.

Пётр Любестовский

ПОРТРЕТ

Светлой памяти отца-фронтовика

На стене в моём рабочем кабинете висит портрет в простенькой деревянной рамке. Пожелтевший от времени рисунок – самая дорогая семейная реликвия. Портрет выполнен непрофессиональным художником, но с поразительной точностью – широкоплечий, с крепкой шеей, с чёрной вьющейся шевелюрой лейтенант-пехотинец смотрит на меня добрыми, чуть грустными глазами. Это мой отец.

Портрет я помню с детских лет. Отец, вернувшийся с войны, достал его из вещмешка и повесил над своей кроватью, у изголовья. После войны он работал машинистом и, отлучаясь из дома, каждый раз брал его с собой в поездку. Это был его талисман, который всегда приносил ему удачу.

Уже тогда я догадывался, что портрет не просто дорог отцу – с ним связана какая-то фронтовая история. Я убедился в этом, когда мать, протирая настенные фотографии, нечаянно уронила портрет. Отец, всегда сдержанный, неожиданно вспыхнул гневом:

— Чем так небрежно обращаться, уж лучше не трогай! Этот портрет для меня святыня…

— Подумаешь, святыня, – раздосадованно сказала мать. – Кто-то в оккупации горе мыкал, а кто-то в лесу отсиживался, крутил шуры-муры с чужими мужиками, рисовал их портретики…

Отец сжал кулаки и, играя желваками, посмотрел на мать с таким укором, что даже мне стало не по себе. Мать виновато опустила голову и молча вышла из комнаты.

Когда отца не стало, она повесила портрет над своей кроватью и до конца дней хранила его. Я был уже студентом, когда тяжелобольная мать однажды позвала меня к себе в комнату и, кивнув на портрет, сказала:

— Сбереги его… Отец так дорожил им…

И, тяжело вздохнув, словно снимая с души камень, призналась:

— Я давно собиралась тебе рассказать…

В первые дни войны отец был тяжело ранен и где-то под Чаусами попал в плен. Всех военнопленных, кто мог стоять на ногах, фашисты направили в Рославльский концентра-

ционный лагерь. Пройдя все муки ада, небольшой группе военнопленных, в которую входил и отец, удалось бежать из фашистского концлагеря. Пробираясь к своим, бойцы долго блуждали по окрестным лесам и болотам, пока не наткнулись на партизанскую базу. Так отец и его боевые товарищи оказались в партизанском отряде «Лесные мстители». После соответствующей проверки, отец и ещё двое его товарищей были зачислены в диверсионную группу.

Группа разведчиков-подрывников партизанского отряда целиком состояла из окруженцев. Тяготы войны закалили бойцов. Это были крепкие, отважные парни, каждый день ходившие под смертью. Когда погиб командир разведгруппы Николай Дронов, группу возглавил отец.

Осенью 1942 года, добыв ценные сведения и пустив под откос у разъезда Узкое большой эшелон с техникой и живой силой противника, разведгруппа возвращалась в отряд. У небольшой лесной речушки партизаны наткнулись на гитлеровцев, прочёсывающих местность. Завязался неравный бой, в котором отец был тяжело ранен. Истекающего кровью своего командира разведчики принесли на плащ-палатке без признаков жизни. Отцу грозила гангрена с ампутацией ноги, но опытный партизанский доктор Григорий Метельский успешно провёл сложнейшую операцию и буквально вытащил отца с того света.

В партизанском госпитале за отцом ухаживала молодая, пленительной красоты и доброго нрава медсестра, Тоня Красникова. Благодаря её стараниям отец вскоре оправился от тяжёлой раны и снова попросился в разведку.

В августе сорок третьего из Ставки Верховного Главнокомандующего в партизанский отряд поступил приказ провести тщательную разведку в селе Жарынь. Тамошняя крупная автобаза и авторемонтный завод обслуживали четвертую германскую армию группы армий «Центр».

Когда партизаны получили задание от командира отряда собрать разведданные о фашистской автобазе, к отцу обратилась Тоня Красникова:

— Константин Петрович, возьмите меня с собой. Я немецкий знаю и оружием неплохо владею…

— Нет, не могу, – категорично ответил отец. – Задание ответственное, предстоит опасный рейд в тыл врага. Идут только опытные разведчики. А медики в отряде на вес золота – командир не разрешит.

— Я уговорю его, – заверила Тоня и умоляюще посмотрела на отца.

— Я всё равно буду против, – отвел он взгляд.

— Ну что я за партизанка, – взмолилась Тоня, – пороху не нюхала. Скоро конец войне, а мне и рассказать нечего… Вы ведь обещали…

И отец уступил, чего простить себе не мог всю оставшуюся жизнь. Он сам пошёл к командиру отряда и убедил его в целесообразности включения медсестры Красниковой в состав разведгруппы.

До базы гитлеровцев партизаны добрались благополучно. Они сумели узнать состав немецкой охраны, её вооружение, дислокацию постов, численность фашистского гарнизона.

На обратном пути, за околицей села, разведгруппу обнаружил немецкий патруль. Чтобы оторваться от погони, сбить со следа немецких овчарок, разведчики сутки просидели в топком болоте, по пояс в воде.

Однако при переходе большака партизаны вновь напоролись на фашистов. Приняв короткий бой, разведчики решили перелесками пробираться на хутор Красная Горка.

Когда спустились в овраг, отец, видя, что над группой нависла опасность, отдал приказ:

— Быстро уходите в рощу за хутор, а оттуда – в лес. Я задержу их на полчаса. А вы в кратчайший срок, любой ценой доставьте данные в отряд…

Он обнял по очереди ребят, потом Тоню. Девушка заплакала. Отец улыбнулся и покачал головой:

— Разведчики не плачут.

И успокоил её:

— Мы ещё встретимся.

Затем снова обнял и впервые поцеловал.

Отец залёг на склоне оврага. Немцы были уже рядом: он слышал их голоса, видел их

силуэты в дымке утреннего тумана. Один из фашистов на ломаном русском крикнул: «Рус, сдавайсь!» Отец подпустил врагов поближе и ответил короткой очередью. Когда патроны кончились, достал гранату и стал выжидать, пока приблизятся и окружат.

Несколько здоровых фрицев поднялись во весь рост и осторожно двинулись к краю оврага.

Неожиданно из-за холмика, густо заросшего высокой, блеклой травой, в которой пестрели последние летние цветы, раздалась автоматная очередь. Несколько немецких солдат упали на землю. Один из них, повернувшись в сторону холмика, успел нажать на спусковой крючок. Отец приподнялся и швырнул в него гранату.

Стрельба затихла, и отец стал пробираться вдоль оврага туда, где укрылся автоматчик, пришедший ему на помощь. Каково же было его удивление, когда он увидел Тоню. Она лежала на песчаном бугорке, уткнувшись лицом в отцветающие бессмертники. Из её виска сочилась кровь. Отец бросился к ней, осторожно повернул к себе лицом. Тоня успела прошептать:

— В госпитале… в вещмешке…

Возвратившись в отряд, отец с повинной головой зашёл к командиру и доложил о случившемся. Они вышли из землянки и увидели, что партизаны, склонив головы, окружили свою любимицу – медсестру Тоню Красникову.

Когда тело отважной партизанки было предано земле, разведчики поклялись на её могиле отомстить фашистам, не оставив камня на камне от их автобазы в Жарыни.

На исходе дня отец зашёл в партизанский госпиталь, где, опустив голову, в глубокой печали сидел доктор Метельский. В руках он держал портрет. Доктор приподнял голову и пристально посмотрел на отца. Затем протянул портрет отцу и сказал:

— До войны Тоня мечтала стать художницей… Здесь каждую свободную минуту рисовала пейзажи. Рисовала талантливо и дарила рисунки раненым бойцам. Но особенно, как мне кажется, ей удался вот этот портрет. Она его никому не показывала. Я увидел случайно…

Отец взглянул на портрет и узнал себя.

Немецкую автобазу и авторемонтный завод партизаны разгромили спустя неделю. В ожесточенном бою отличились разведчики-подрывники. Когда осколком гранаты ранило командира партизанского отряда Фёдора Данилина, отец принял командование операцией на себя.

За проявленное в том бою мужество и отвагу он получил свой первый орден Красной Звезды. Медсестра Антонина Алексеевна Красникова была награждена медалью «За отвагу» посмертно.

До победы было ещё очень далеко, а до освобождения области, где базировался партизанский отряд «Лесные мстители», оставался всего один месяц.

ЗНАМЯ

Моему дяде Юрию Кузнецову –
защитнику Брестской крепости

Дорогу, уходящую от посёлка Высокого в сторону Белоруссии, по старинке называют Старосельской. Деревни, давшей название большаку, давно уже нет, как и старосельской будки, что стояла на повороте.

Сразу за поворотом открывается большое поле, засеянное люпином. Голубые, розовые, белые, фиолетовые соцветья обильно рассыпаны по полю и сверху напоминают пёстрый ковёр. У самого горизонта, на взгорке, видны берёзовые перелески и небольшие хутора, оставшиеся от бывших деревень. Внизу, за глубокой балкой, тихо несёт свои воды речка Вороница, поросшая по берегам лозняком, крушиной и черемушником. А далеко вдали темной стеной встает Александровский лес.

О былых ожесточенных сражениях, которые проходили здесь в годы Великой Отечественной войны, мало что напоминает. Лишь кое-где в оврагах сохранились воронки от снарядов и окопы, густо заросшие бурьяном, над которыми трепещут листвой стройные осины. А широкое поле уже давно выровняли, запахали и окопы, и воронки, и блиндажи. Случается, что тракторист, поднимая зябь, услышит

лязг железа, остановит трактор, выйдет из кабины и обнаружит под плугом ржавую гильзу от артиллерийского снаряда. Возьмет в руки, посмотрит, задумается. Вспомнит деда-фронтовика, не вернувшегося с той долгой, кровопролитной войны, односельчан, сложивших свои головы на поле брани, чья память увековечена на поселковом памятнике, устремлённом шпилем ввысь, вспомнит фронтовые рассказы седых ветеранов…

На этом рубеже в сентябре сорок третьего проходила линия фронта. Враг был ещё силен, не хотел сдавать позиции, надеясь изменить ход войны. На отдельных участках его спрессованные силы, словно сжатая пружина, представляли грозную опасность для наших наступающих и значительно растянувшихся войск.

Вот и здесь, в районе Староселья, сходу овладев высоткой 1227, наш передовой полк всячески пытался удержать её, несмотря на превосходившие силы противника. Немцы хорошо понимали, что пройдет несколько суток, русские получат подкрепление, и тогда отбить стратегически важную высоту им уже не удастся. Более того, она станет плацдармом для дальнейшего наступления Красной Армии. Вот почему так важно было нашим выиграть время и удержать высоту любой ценой.

Начальник штаба полка майор Бондарев, встретивший войну старшим лейтенантом – начальником одной из западных пограничных застав, крепкий русоволосый парень лет двадцати восьми, предвидя скорое контрнаступление немцев, вызвал к себе командира взвода лейтенанта Храмова.

— Во что бы то ни стало нужен «язык», и непременно офицер.

— Разрешите взять двух бойцов: сержанта Терентьева и рядового Кузьмина?

— Разрешаю, – бросил начштаба. – Выходите, как только стемнеет. Действовать крайне осторожно, шума не поднимать…

Разведчики вернулись под утро. Уже по реакции немцев было ясно, что лейтенант Храмов и его боевые товарищи похитили важную птицу. Без продыху с немецкой стороны всё утро велся шквальный огонь – голову из окопа не высунешь.

При обыске у гауптмана Зигфрида Ланке изъяли нацистский партийный билет и три фотографии. На одной – Ланке с невестой. Женским округлым почерком на обороте выведено: «Несравненному Зигфриду от горячо любимой Лауры». На другой – гауптман с сестрой и родителями. На третьей фотографии – сцена кровавой расправы над мирным населением – стариками, женщинами и детьми. В центре озверевшей оравы – Зигфрид Ланке.

Бондарев разложил на столе фотографии и надолго задержал взгляд на последней из них. Глубоко задумался. «Где же теперь мои любимые – жена Танюша и маленькая дочка Оленька? Давно нет от них никакой весточки».

Бывший пограничник последний раз видел родных 22 июня 1941 года, когда, готовясь отражать очередную атаку немецкого батальона на свою заставу, отправил Татьяну с дочкой в приграничную деревню.

Начштаба продолжал вертеть в руках трофейные фотографии. «Сумели ли они уйти с беженцами в наш тыл? Хорошо бы. А быть может, в один из летних дней сорок первого вот такой же гауптман хладнокровно навёл на них свой автомат… Невозможно поверить, что у этого зверья тоже есть матери, жёны, дети, которых они любят, стремятся поскорее увидеть, обнять, пожалеть. При встрече наверняка будут рассказывать им о своих «подвигах», запечатлённых на этом фото… Нет, этому не бывать. Надо выстоять, во что бы то ни стало, и сделать всё, чтобы оккупанты понесли заслуженную кару за свои злодеяния», – скрипнул зубами майор.

На допросе штабной офицер вермахта, примерно ровесник Бондарева, упирался недолго. Похоже, больше всего его интересовала собственная судьба. Гауптман сообщил Бондареву, что немцы намерены вернуть высоту до подхода основных сил русских и с этой целью готовят удар в районе Староселья. Майор развернул небольшую карту, и Ланке подробно рассказал о силах и средствах противника, сосредоточенных на этом рубеже.

Бондарев немедленно доложил в штаб дивизии о полученных сведениях и услышал в ответ:

— Резерва пока нет. Надо продержаться несколько часов. Учти, майор, не так страшен чёрт, как его малюют.

— А боеприпасами поможете?

— Боеприпасы подбросим. Ждите. Ещё вопросы есть?

— Как там наш комполка?

— Подполковник Скобелев, к сожалению, скончался в госпитале. Ранение уж больно тяжёлое, врачи ничего не смогли сделать. А его заместитель в порядке, только ему требуется длительное лечение. Так что принимай командование полком, пограничник!

Следующей ночью немцы обрушили на передовые позиции части всю мощь своей артиллерии. Наши отвечали редким огнем сорокапяток – экономили снаряды. А утром, после артподготовки, немцы двинулись в атаку и прорвали нашу оборону. Все попытки немцев с ходу завладеть высотой не увенчались успехом. Тогда враг предложил сдаться, но в ответ последовал огонь. Несколько часов ожесточённого сопротивления подорвали силы советских бойцов и командиров, но они продолжали стоять насмерть. И только когда закончились боеприпасы, раненый Бондарев отдал приказ прорываться из окружения через балку.

Полк понёс большие потери – из окружения вышла горстка бойцов. Майор собрал в овраге оставшихся в живых подчинённых – у горящей деревни. Первым делом велел перевязать раненых, а затем спросил:

— Где Боевое знамя полка?

— Знаменосец Савельев остался там, – кивнул в сторону высоты помощник командира разведвзвода сержант Прохоров.

— Как только стемнеет, надо отправляться к немцам в тыл, на поиск. Боевое знамя – это святыня. Нет его – нет нас. А вернем его, полк пополнят, и мы выбьем немцев.

— Разрешите я пойду? – обратился к офицеру Прохоров.

Бондарев согласно кивнул головой.

— Кто со мной? – спросил сослуживцев сержант.

Все, включая раненых, подняли руки.

— Пойдут Ильин и Виноградов, – сказал майор, окинув взглядом бойцов.

Несколько часов вокруг стояла мертвая тишина. Похоже, немцы отсыпались. А чуть стемнело, началась беспорядочная стрельба и над высотой вспыхнули прожектора. Яркие лучи света прошивали темнеющее небо, шарили по оврагу, где укрылись бойцы.

Разведчики выбрались из оврага и короткими перебежками направились в сторону небольшой рощицы, темнеющей на краю высоты. Фашисты, что-то учуяв, открыли огонь трассирующими пулями, пустили в небо осветительные ракеты, и стало видно, как днём. Но разведчики уже достигли опушки леса и стали подбираться к телам погибших товарищей.

Всю ночь они искали знамя, переползая от одного тела к другому. Лишь под утро, уже выбившись из сил, продвинулись к оврагу на краю холма. И здесь Прохоров обнаружил холодное тело Савельева. Сержант расстегнул окровавленную гимнастерку бойца и увидел на его теле алое полотнище, пробитое вражескими пулями в нескольких местах. Он осторожно вытащил знамя и, стоя на коленях, поцеловал его. Затем снял ремень, поднял гимнастерку, обмотал вокруг себя кумачом и дал знак товарищам.

Едва забрезжил рассвет, бойцы во главе с Бондаревым услышали, как прозвучали выстрелы из немецких окопов. А спустя минуту-другую в овраг скатились усталые, чумазые разведчики. И тотчас раздался воодушевлённый голос Прохорова:

— Товарищ майор, мы его нашли! Вот оно, наше Боевое знамя!

Прохоров расстегнул гимнастёрку, вытащил из-за пазухи кумач и протянул офицеру. Тот уткнулся головой в полотнище, глаза его блестели.

— Объявляю всем благодарность! – дрожащим голосом сказал Бондарев и по очереди обнял и расцеловал каждого из разведчиков.

А к вечеру в окрестностях Староселья уже наблюдалось скопление наших сил и боевой техники. Комдив Рыбаков вызвал к себе Бондарева.

— Докладывайте, майор.

— Потери значительны, товарищ полковник, как в живой силе, так и в вооружении, но и враг потрепан изрядно…

— Знаю, знаю, дрались, как львы, до последнего патрона. А знамя сберегли?

— Как и полагается, – скромно ответил Бондарев.

— Ну что ж, пополним ваш полк свежими силами, и будем двигаться вперед. Надо показать фашистам, кто тут хозяин. А как ранение, серьёзное?

— Да так, пустяк. Касательное. Перевяжут – и в строй.

Утром, поддерживаемая артиллерией и авиацией, дивизия перешла в наступление. Её части выбили с холма у деревни Староселье группировку противника и овладели высотой. Враг понёс серьёзный урон.

На следующий день в полку Бондарева состоялись похороны бойцов и командиров, погибших накануне. Сослуживцы простились с боевыми товарищами трехкратным оружейным залпом. А знаменосец, склонив голову, приспустил прошитое пулями Боевое знамя полка, закреплённое на новом древке.

СНЕГИРИ

Горе шло дорогами всеми,
Задыхавшимися в пыли.
Потеряв и дома, и семьи,
Мы Москву свою берегли.
Николай Рыленков

Каждую зиму в Мареевку, лесную деревушку в одну улицу, прилетала стайка снегирей. Едва просёлок укрывался белым покрывалом – птицы тут как тут, на деревенском пустыре, напротив хаты Листратовых. В эту пору Павел Максимович Листратов оставлял все дела и устраивался у подслеповатого окна своей состарившейся, довоенной постройки избы и пристально наблюдал, как красногрудые красавцы-птицы кормились на сухих репейниках, сплошь укрывших опустевшую усадьбу.

На этой усадьбе жил фронтовик Егор Мирошин, друг детства Павла Листратова. Несколько лет назад Егора не стало. Он ушёл ночью, не успев проститься ни с женой, ни с другом. Фронтовик умер от ран, полученных в первые месяцы войны под Чаусами – тяжёлую боль не выдержало сердце. Нога у Мирошина была вся изрешечена осколками. Раны ныли, нарывали, осколки выходили наружу. Иногда боль становилась нестерпимой, и тогда Егор ускорял процесс – накалял шило на огне и вскрывал нарывы. Врачи предлагали ампутировать ногу, но Егор не соглашался – какая-никакая опора. Так и мучился фронтовик до конца своих дней, таская за собой не сгибающуюся в колене и наполовину высохшую ногу. Вскоре после смерти Егора, покинула этот мир и его жена Мария Николаевна. Родственники, живущие в соседнем селе, разобрали постройки на дрова, и усадьба Мирошиных опустела, заросла бурьяном.

С уходом Егора Мирошина в Мареевке остался единственный фронтовик – Павел Листратов. Старик выглядел статным, худощавым, подтянутым, только седые волосы да борозды-морщины на смуглом лице, словно кора на старом дереве, выдавали его года и пережитые испытания.

Дождавшись снегирей, Павел Максимович изо дня в день с замиранием сердца следил за ними, пребывая в глубоком раздумье. Его сухонькая, миловидная жена Анна Петровна или Анюта, как ласково называет её Павел Максимович, в такие минуты старалась не тревожить старика и даже не напоминать о своем присутствии. Кому, как не ей знать, что снегири для Павла это отдельная, судьбоносная история. Впрочем, как и для неё…

…Суровой зимой 41-го их стрелковый батальон вёл тяжёлые бои под Можайском. Между боями командир батальона капитан Онуфриев, бывший начальник одной из западных пограничных застав, седовласый, широкоплечий сибиряк с крупным волевым лицом, которого бойцы меж собой называли «отец Онуфрий», всячески стремился организовать разведку, чтобы чётко представлять силы и средства противника на передовых рубежах.

В тот декабрьский день был трудный бой за хутор Вьюнки, приютившийся у подножья небольшой высотки. Немцы, уверенные в своём превосходстве, как оголтелые бросились в лобовую атаку, но батальон Онуфриева выстоял, не отступил, хотя и ценой немалых потерь. Во второй половине дня наступило затишье.

Похоже, немцы, натолкнувшись на ожесточенное сопротивление со стороны русских, решили перегруппировать свои силы и обойти высотку с флангов.

Получив небольшую передышку, наши бойцы старались успеть залечить раны, согреться, запастись боеприпасами и похоронить боевых товарищей. Тем временем комбат через политрука вызвал посыльного в штабную землянку и отдал ему команду:

— Листратова и Назарова ко мне!

Через пару минут разведчики стояли перед комбатом навытяжку.

— Присаживайтесь, – жестом показал Онуфриев на широкую лавку, – и угощайтесь. Вот для вас горячий чай…

Капитан поставил на грубо сколоченный стол две потускневшие алюминиевые кружки, рядом положил несколько тоненьких чёрных сухарей. — А заодно – о деле. Надо срочно выяснить обстановку на передовой у немцев. Нам необходимо знать, что они затевают. Не скрою, риск велик, придётся идти белым днём, но ждать нельзя. В любую минуту наступление немцев может возобновиться. Очень рассчитываю на вас. Старшим назначаю сержанта Листратова.

— Слушаюсь, – вскочил со скамьи и вытянулся в струнку Павел.

— Если задача ясна – облачайтесь в маскхалаты и с Богом.

Комбат встал из-за стола, поочередно пожал руки разведчикам.

Проходя мимо окопа, где находился полевой лазарет, Сергей Назаров, худенький, невысокий боец, похожий на мальчишку, до войны успевший окончить педагогический техникум, будто советуясь с Павлом, сказал:

— Хочу на минутку к Анюте забежать.

— Жду тебя у обгорелой березы, – показал рукой за бруствер окопа Павел.

— Я мигом, – крикнул на ходу Сергей.

Он догнал Павла, когда тот, укрывшись за стволом старой, почерневшей от копоти берёзы, намечал дальнейший маршрут передвижения.

— С Анютой не увиделись, – с сожалением сказал Сергей. – Работы у неё невпроворот – в дальнем окопе перевязывает тяжелораненых.

И с горечью добавил:

— Впервые иду в разведку без её благословения.

— Ничего, даст Бог, увидитесь после, – успокоил друга Павел. – Давно хотел тебе сказать, но всё было не к месту – замечательная девушка твоя Аня. Даже не думал, что она, такая нежная и хрупкая на вид, может выдержать трудности фронтовой жизни, да ещё на передовой. Никогда не слышал от неё жалоб. Раненых почти безнадежных выхаживает, видать, каждому из них часть своего сердца отдаёт. Не зря бойцы её так любят. Завидую тебе по-доброму, Серёга. И жена будет верная и хозяйка что надо…

Сергей слегка смутился, кивнул в знак согласия головой.

— Ранение у меня под Стодолищем было очень серьёзное, я тебе рассказывал, – напомнил другу Сергей. – Шансов выжить не было. Но Аня спасла меня, вытащила с поля боя под пулями и выходила. Я тогда поклялся себе: если выживу, то непременно женюсь на ней. Но побаивался, что она меня отвергнет – ведь красавица редкая, я не чета ей… К счастью, приглянулись друг другу… Закончится война, увезу Анютку в своё родное село, с красивым названием Синий Колодезь, сыграем свадьбу. Всех фронтовых друзей на свадьбу приглашу, а тебя, Павел, как земляка – первым, – дружески взглянул на сержанта, Назаров. – Построим новый дом. Анютка нарожает мне крепких красивых детей. И зазвенят голоса в нашей светлой просторной избе. Посадим сад, заведём скот и птицу. Я буду деревенских детишек грамоте учить, а Анюта – в сельском медпункте работать, людям помогать…

По снежной целине разведчики по-пластунски медленно продвигались в сторону опустевшей деревни Понизовье, на окраине которой окопались немцы. Благополучно добравшись до небольшой балки, друзья затаились на одном из склонов, среди покрытых инеем зарослей черёмушника и крушины, пару часов наблюдали за скрытым перемещением противника на фланги, вели счёт технике, вооружению и живой силе.

Ближе к вечеру, когда за балкой заалел закат и горизонт вспыхнул ярко-кровавым заре-

вом, разведчики, продрогшие до костей, спустились на дно оврага и стали пробираться к своим позициям.

Преодолев овраг, они поднялись по склону вверх, и решили немного передохнуть, прежде чем пересечь большую поляну, занесенную сугробами. И здесь, на вершине склона, укрытого торчащим из снега репейником, Назаров увидел стайку красногрудых снегирей, повисших на заиндевелом былье, словно волшебные фонарики.

— Павел, посмотри, какая красота, – прошептал Сергей. – Будто и нет войны. Живут, кормятся, щебечут. В детстве снегири часто гостили в моей деревне. Мне так хотелось подержать этих красавцев в руках. С закадычным другом Юркой Ковалёвым мы соорудили ловушку – к доске прикрепили петли из конского волоса, насыпали на доску мякины, установили ловушку на пустыре, где чаще всего появлялись снегири, стали издали наблюдать за ними. Как же мы радовались, когда в петлю угодил пухлый осторожный снегирь! Но когда я освобождал его лапу, то почувствовал, как трепещет от страха птичье сердечко. И мне стало жаль красавца-снегиря. Я погладил его перышки, дал погладить Юрке, потом не удержался от искушения – прикоснулся щекой к розовому брюшку и отпустил снегиря на волю…

Разведчики всячески старались не потревожить птиц, чтобы не обнаружить себя. Однако снегири заметили бойцов и тотчас взметнулись стайкой, стряхнув с былья лёгкое облачко белого инея. Разведчики выдержали паузу и ползком поднялись на вершину склона. И тут Павел услышал треск, будто кто-то неподалеку сломал сухой сучок. Он посмотрел на Сергея и увидел, что тот лежит рядом, уткнувшись головой в снег.

Сержант тихо позвал друга, но тот не ответил. Павел дотянулся до него рукой и слегка тронул за плечо. Сергей с трудом приподнял голову, прошептал: «Сбереги Анюту… и ребёнка…» Листратов повернул тело разведчика на бок. На маскхалате Назарова и на снегу алели пятна крови. «Да он спас меня. Принял мою пулю на себя», – пронеслось в голове у Павла.

Укрывшись в овраге, Листратов окоченевшими руками перевязал тяжелораненого друга. Тем временем стало темнеть. Не теряя ни минуты, сержант уложил Сергея на плащ-палатку и осторожно потащил за собой.

Павел пытался приободрить истекающего кровью земляка:

— Ничего, Серега, сдюжим! В Дорогобуже было хуже. Потерпи, брат, скоро доберемся до своих. А там твоя Анюта сделает всё, чтобы вновь поставить тебя на ноги. Со своей задачей мы справились – выяснили обстановку. Комбат был прав – немцы хотят обойти нас с флангов, взять в кольцо, но у них ничего не выйдет. Хутор и высотка им не по зубам…

Сумеречные тени густо укутали снег, когда Павел подтащил к старой берёзе закоченевшее тело друга. Здесь его встретили бойцы и комбат.

— Как это случилось? – сурово спросил Онуфриев, стягивая с головы шапку. – Неужто снайпер обнаружил?

— Похоже, что так, – ответил Павел. – Малость просчитались. Надо было преодолевать поле под покровом темноты, но уж больно продрогли…

— Жаль, такого разведчика потеряли, – с горечью произнес комбат.

Павел видел, как подбежала к Сергею Анюта, как упала на снег, зарыдала.

Листратов отошёл в сторонку, закурил и жадно тянул сигарету, искоса наблюдая, как Анюта, уткнувшись головой в окоченевшее тело Назарова, плакала и что-то шептала. Не выдержал и Павел…

…В последнюю зиму снегири в Мареевку не прилетели.

Анна Петровна заметила, как после долгих ожиданий, Павел Максимович затосковал, поник. Фронтовик днём не находил себе места, а ночью нередко вставал, сидел у тёмного окна, прошитого стежками снегопада и тяжело вздыхал.

Анна Петровна встревожилась, позвонила старшему сыну Сергею, рассказала о захворавшем отце, о том, что он потерял всякий интерес к жизни, и большую часть времени проводит в кровати…

Вскоре приехал Сергей. Он долго беседовал о чём-то с отцом. Потом достал из сумки небольшой магнитофон, поставил его у изголовья постели отца и нажал на клавишу. Приятный мужской голос сообщил: «А теперь по заявке Сергея Листратова, проживающего в областном центре, для его отца, фронтового разведчика Павла Максимовича Листратова, из деревни Мареевка, исполняется песня Юрия Антонова «Снегири».

Нежно зазвучала гитара, и артист проникновенным голосом запел:

Эта память опять от зари до зари
Беспокойно листает страницы,
И мне снятся всю ночь на снегу снегири,
В белом инее красные птицы…

Павел Максимович разволновался. На глазах фронтовика выступили слёзы. Он встал, обнял сына и молча поцеловал…

И теперь, каждый раз, как только сгущаются ранние зимние сумерки, Павел Максимович включает магнитофон и слушает песню, будто написанную для него и о нем:

…Мне всё снятся военный поры пустыри,
Где судьба нашей юности спета.
И летят снегири, и летят снегири
Через память мою до рассвета…

Рядом устраивается Анна Петровна и, слегка прислонив седую голову к плечу мужа, слушает волнительную песню, вспоминает далёкие фронтовые годы, друзей-однополчан и не может сдержать предательские слезы…

БЕРЁЗОВЫЙ СОК

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть,
Она, как сила, нам нужна!

Юрий Воронов

Бой за высоту был жестоким. Рота измотанных бойцов отдельного полка НКВД, сформированная в основном из пограничников, уцелевших после схваток на границе в самом начале, а потом вырвавшихся из окружения, и приданная им артиллерийская батарея, зарывшись по шею в землю на опушке берёзовой рощицы, третьи сутки отбивала атаки врага. Немецкое командование стремилось выровнять линию фронта, собрать дивизии в кулак, чтобы перейти в контрнаступление и взять реванш за поражение под Москвой. Обойти высотку было нельзя – справа и слева от неё непроходимые болота. Оставалось одно – идти в лобовую атаку.

Не располагая данными о силах и средствах нашей армии на этом оборонительном рубеже, немцы хотели взять высотку «малой кровью», но встретили ожесточенное сопротивление. Высотка стала для фашистов костью в горле. Враг бросал в бой свежие подразделения моторизованной пехоты, чтобы смять, отутюжить, смешать с землей бастион, ставший для них неприступным.

Стояли последние дни апреля. Весна набирала силу. В течение нескольких солнечных дней природа преобразилась до неузнаваемости – яркой зеленью обметало землю, вот-вот и обретут новый наряд деревья. То тут, то там слышались птичьи голоса. Запахи весны смешались с запахами войны. В схватке сошлись жизнь и смерть.

Бывший начальник заставы, а теперь командир роты капитан Телегин – плотный сибиряк средних лет, с волевым лицом и седыми висками, обходя окопы, вдохновлял подчинённых:

— Потерпите чуток, братцы. В июне на границе нам хуже приходилось. Ещё немного – и фрицы выдохнутся. А нам обещали подкрепление.

— Будем стоять до конца, как когда-то на родной заставе, – вторил командиру бывший пограничник Фёдор Астахов, – тем более что сейчас нам легче – теперь мы знаем вкус победы.

— Снарядов маловато, товарищ капитан, – вступил в разговор артиллерист Иван Рогожин, – наш водитель Андрюха Белобрысый на своей полуторке где-то застрял.

— Снаряды будут – Андрюха прорвется, как бы то ни было. Это ещё тот парень – ему сам черт не брат.

В тылу бойцов, сразу за рощицей, начиналось широкое поле, тянувшееся несколько верст. На другом его конце в синеватой дымке виднелись приземистые хаты и не распустившиеся сады небольшой деревеньки. Пограничники и артиллеристы до боли в глазах всматривалась в сторону деревни: не покажется ли на поле полуторка рядового Лукичёва, прозванного Белобрысым за соломенный цвет волос…

После полудня немцы вновь бросились в атаку. Впереди грозно рыча, ползли три приземистых танка. За ними плотной цепью бежали рослые автоматчики.

— Вот гады, передышки не дают! Ну что ж, сейчас получите гостинец! – бросил недокуренную цигарку наводчик Иван Рогожин и прильнул к прицелу. – Заряжай-ка, браток, – обратился он к Василию Степину.

— Есть такое дело! – громко крикнул тот и мигом послал снаряд в ствол орудия.

Наводчик сработал безупречно. Головной танк споткнулся и, оглушенный, завертелся на месте. Броню лизнул оранжевый язык пламени. Танк медленно пополз назад.

— А, вражья морда, наелся досыта, назад пятишься! – радостно закричал Рогожин. – Сейчас и этих псов угостим!..

Два других танка быстро приближались к позициям обороняющихся. Снаряды ложились рядом: то справа, то слева, то впереди. Машины с черными крестами на башнях, словно завороженные, были неуязвимы и неслись вперед, не снижая скорости.

— Подпустите поближе и бейте прямой наводкой. Снаряды на исходе, – подбежал к артиллеристам Телегин.

— Бейте по правому, левый я беру на себя, – показал на противотанковое ружье помкомвзвода лейтенант Клюев.

Он успел сделать всего один выстрел. Осколок, попавший в ПТР, вывел ружьё из строя. Недолго думая Клюев схватил бутылку с зажигательной смесью и рванулся из окопа навстречу «тигру».

— Давай, Серёга, только наверняка, – одобрил Телегин.

Тем временем артиллеристы зацепили правый танк. Касательным выстрелом у него сорвало гусеницу. Боевая машина судорожно дёрнулась и замерла как вкопанная. Экипаж попытался эвакуироваться через люк, но был накрыт шквальным огнём из ближайшего окопа.

Левый танк заметно сбросил скорость, опасаясь продвигаться вперёд в одиночку. Улучив момент, Клюев приподнялся и швырнул бутылку. Из утробы вспыхнувшей машины тотчас раздалась короткая очередь. Клюев упал, словно споткнувшись, и неловко ткнулся плечом в землю…

Очередная атака захлебнулась. Немецкие автоматчики отступали, грозно огрызаясь плотным огнём, но их никто не преследовал.

Как только бой затих, из крайнего окопа раздался радостный голос одного из разведчиков:

— Братцы, всё в порядке, будем живы! Андрюха снаряды везёт!

Со стороны деревни на чистое изумрудное поле выползал коричневый «жук» – полуторка Андрея Лукичева.

— Загрузился под завязку, еле тащит, – одобрительно потирая руки, сказал Василий Степин.

— Рискованно это. Уж лучше бы лишний раз сгонял, – возразил Фёдор Астахов.

И, будто в подтверждение его слов, над болотом раздался гул самолёта.

— Вот тебе на! Тут как тут, черти, – глянув в бинокль, чертыхнулся Телегин.

— Ну, теперь держись, Андрюха, сейчас будет жарко, – сочувственно покачал головой Иван Рогожин и потянулся за сигаретой.

Водитель заметил «юнкерс», когда самолёт уже зашёл на цель. Лётчик дал короткую очередь. Следом засвистели снаряды. Комья земли и клубы дыма на время заслонили полуторку, казалось, она уже погребена. Когда же тёмная завеса рассеялась, бойцы увидели, что машина, натужно урча, лавирует меж воронками.

— Потерпи, потерпи, сынок. Надо дотянуть, – взмолился Телегин.

Самолёт зашёл в хвост и стал сопровождать полуторку, постепенно снижаясь. И тут случилось непредвиденное: нервы Белобрысого не выдержали – он на ходу выскочил из кабины и бросился к роще.

— Ах, мать твою…. Что же ты творишь?! – вскочил на бруствер окопа Телегин, будто хотел остановить парня.

Немецкий ас стал бомбить замершую цель. Один снаряд угодил в кузов. Раздался взрыв страшной силы, от которого покачнулась земля. Взрывной волной Андрюху швырнуло на землю. Но он быстро поднялся и, не оглядываясь, помчался во весь рост. Лётчик стал его преследовать. Из рощи открыли огонь по «юнкерсу», и самолёт повернул в сторону болота…

— Я не виноват, машина заглохла, – твердил, как заведённый, Белобрысый. Слёзы катились по чумазым щекам, оставляя две светлые бороздки, и застревали на верхней толстой губе, покрытой светлым густым пушком.

Шёл 1943 год. Давно был в силе приказ Верховного Главнокомандующего «Ни шагу назад!», согласно которому командирам всех рангов надлежало расстреливать на месте паникеров и трусов. Приказ Телегина был лаконичным: «За проявленную трусость на поле боя… расстрелять».

Ивана Рогожина нашли две пожилые женщины из деревни Журавлёвка, приехавшие на старой кляче в рощу за дровами. Из заваленного окопа торчал кирзовый сапог. Женщины откопали тело бойца, чтобы схоронить его на деревенском кладбище. Иван был залит кровью и не подавал признаков жизни. Когда бойца грузили на телегу, он неожиданно застонал. Женщины привезли раненого домой, спрятали в подвале, промыли и перевязали раны, стали выхаживать. И он выжил…

…Иван Захарович приезжает сюда, на безымянную высотку, ежегодно в канун дня Победы. Подолгу стоит у обелиска на опушке берёзовой рощицы. Весенний ветер нежно гладит его морщины, ласкает редкие седые волосы. Над головой сияет солнце, весело поют птицы. В роще торжествует жизнь.

На обелиске, сверкающем серебром, в два столбика выбиты имена: «Капитан Телегин, лейтенант Клюев, сержант Астахов, младший сержант Стёпин, рядовые Макаров, Петрунин, Доронин, Лаврик…. (ниже от руки дописано: рядовой Лукичёв) пали в боях за Родину»…

Алеет закат. Солнце мягким светом озаряет мирную землю. По стволу старой берёзы катятся чистые, словно слезы, капли сока. Вокруг суетятся муравьи…

Воспоминания ветерана болью отзываются в его сердце. Мог ли тогда капитан Телегин поступить иначе? Даже спустя многие годы Рогожин не нашёл ответа на терзающий его вопрос.

Когда приговор приводили в исполнение, заходящее солнце, скрытое пылью и чадом боя, выглянуло в последний раз и бросило свои кровавые лучи на землю. Несколько пуль автоматчика попали в ствол берёзы, и оттуда брызнул розовый сок…

С той поры Иван Захарович Рогожин навсегда забыл вкус берёзового сока.

КУЛАЦКИЙ ХУТОР

Далеко в лесу, в стороне от больших дорог и селений, находился хутор в один двор.

История его уходит в начало прошлого века, в столыпинские времена. Земельная реформа, проводимая царским правительством, давала крестьянам возможность выйти из общины и обосноваться на хуторе. Получив земельный надел, крестьяне покидали насиженные места и уходили из деревни в голое поле, где и создавали единоличное хозяйство.

Супружеская чета Охремовских была единственной семьёй в Раковке, которая решила обосноваться не в поле, на пахотной земле, а в густом хвойном лесу, в десяти верстах от ближайшего поселка Загорье. На лесной поляне, среди вековых сосен, молодые, полные сил Наум и Ульяна срубили и поставили пятистенок, возвели надворные постройки, разработали огород, разбили сад, развели скотину. Хозяйство Охремовских вскоре разрос-

лось настолько, что супруги были не в силах вдвоём справиться с ним. Детей у них долго не было, стало быть, не было и помощников. Пришлось нанимать батраков.

Охремовские жили отшельниками. В посёлок они не заглядывали, как и поселковые к ним на хутор. Ежели кто и вспоминал о хуторе, то только в связи с целебным источником, что бил из-под сосны рядом с хутором. Быть может, из-за этого ключа и облюбовал себе место в лесу Наум. Родник не замерзал даже суровой зимой, когда всё вокруг было сковано льдом. Вода в нем была чище слезы и помогала от всех недугов. Но постепенно родник был забыт, и тропинка на хутор заросла дикими травами.

Вспомнили об Охремовских лишь в годы коллективизации. Наум наотрез отказался расставаться со своим хозяйством и вступать в колхоз. Непокорный власти единоличник был признан кулаком и отправлен на Соловки. Ульяна осталась в лесу одна с маленьким сыном на руках. С той поры хутор Охремовский стали называть не иначе как Кулацким.

Наум вернулся на хутор перед самой войной. От крепкого мужика осталась лишь мрачная тень. Да и Ульяну было не узнать – некогда красивая дородная женщина превратилась в выцветшую от переживаний старуху. Зато сын Михаил, которому шёл уже семнадцатый год, выглядел настоящим русским богатырём – косая сажень в плечах, грудь-колокол, а ростом выше Наума на целую голову. «Целебная вода, лесной воздух – вернут мне силы, а Миша поможет поправить хозяйство и вновь стать на ноги», – думал Наум, глядя на сына. Но его замыслам не суждено было сбыться.

Началась война, Охремовские затаились и, как и прежде, не высовывали носа из своего хутора. О том, что враг оккупировал нашу землю, дошёл до самой Москвы, а потом получил отпор, Охремовские не знали до тех пор, пока однажды летней ночью в их избе не раздался стук в окно. Наум встал, недовольно ворча, открыл форточку и спросил:

— Кого принесла нелегкая?

— Свои, батя. Харчами хотим разжиться, – басом ответил незнакомец.

— Подождите, поищу, – проворчал старик.

Наум собрал узелок и протянул в окно.

— Спасибо, батя, от партизан-разведчиков из Клетнянского леса, – добродушно поблагодарил незнакомец.

— Как там, на фронте? – поинтересовался старик.

— Пока не важно. Но по зубам фрицы уже получили – от Москвы отброшены на сотни километров. И ещё получат по самую завязку, так что ног не унесут. Будь уверен. Это говорю тебе я – командир разведгруппы Иван Кубатин.

Утром Михаил спросил у отца:

— Это партизаны приходили ночью?

— А тебе зачем знать? – вопросом на вопрос ответил Наум.

— Хочу к ним податься. Оружие уже раздобыл…

— Рано тебе об этом думать, – резко оборвал сына Наум.

Осенним вечером, управившись с домашними делами, Наум сидел на крыльце и тянул «козью ножку». Далеко грохотала война, а на хуторе царила осенняя тишина. Пахло прелой хвоей и грибами. От земли шло тепло, и голову кружили её терпкие запахи, как хорошее вино. Всё вокруг было овеяно миром, добром и светлым покоем, как будто и нет никакой войны…

И вдруг со стороны Загорья, как далёкое эхо, послышались автоматные очереди. Потом всё стихло. «Вот и напомнила о себе война», – подумал Наум.

Прошло немного времени, и выстрелы прозвучали вновь, теперь уже гораздо явственнее. «Вот те на. А ведь к хутору идут…. Неужто немцы что-то пронюхали или преследуют кого?.. – встревожился Наум.

Он живо вскочил и бросился в дом.

— Ульяна, – крикнул старик, – отвязывай скотину и гони к ручью. Немцы на хутор идут. Позови Мишку с огорода – пусть поможет.

— Свят, свят, свят, – перекрестилась старуха и засеменила к сараю.

— Проводив хозяйку взглядом, Наум медленно пошёл по тропинке к колодцу, в сторону посёлка. У колодца присел на лавочку, ис-

пил холодной водицы из ведра и стал ждать. Прошли считанные минуты, как на краю поляны Наум увидел человека с автоматом на шее. Тот, прихрамывая, перебегал от сосны к сосне. «Партизан, и, похоже, ранен», – смекнул старик.

Наум поднялся и двинулся ему навстречу. Подойдя поближе, узнал ночного гостя – командира разведгруппы Ивана Кубатина. У партизана была разорвана штанина выше голенища сапога. Из раны шла кровь.

— Немцы идут по следу. Федя Гончаров погиб. Я спрятал его тело в стогу.

— Давай быстро в сарай. Там люк и подземный ход к ручью. Мишка проведёт…

Наум подставил плечо, заложил руку партизана себе за голову и, не оглядываясь, повёл его к сараю. У дома их встретил Мишка.

— Живо перевяжи Ивану рану и проводи подземным ходом к ручью. Попробую задержать немцев. Скажу, что я в прошлом кулак…

Едва Наум вернулся к колодцу, как услыхал тарахтение мотоциклов и немецкую речь. Старик пошёл незваным гостям навстречу.

— Во ист партизанен? – подлетел к нему как очумелый офицер с ближайшего мотоцикла.

— Не знаю, здесь никого не было… – начал, было, старик.

Одним ударом офицер свалил старика на землю и стал пинать ногами. Из-за сарая выбежала растрепанная Ульяна и, увидев поверженного, окровавленного мужа, заголосила и бросилась к нему.

— Наумушка, сокол мой, что с тобой сделали эти выродки?!

Долговязый немец, стоящий рядом с офицером, пнул старуху ногой, и она упала рядом с мужем.

Солдаты прочесали дом и хозяйственные постройки, но никого не обнаружили. Подготовили факел, и по команде офицера подожгли вначале дом, а затем другие строения.

— Во ист партизанен? – кричал офицер лающим голосом, пиная стариков.

Когда Наум и Ульяна потеряли сознание, их потащили к колодцу – стали отливать водой.

— Во ист партизанен? – истерично визжал офицер, склонившись над ними.

Ничего не добившись, офицер приказал повесить стариков на суку сосны, прямо над родником.

Немецкие солдаты схватили стариков и потащили к сосне, а следом неслось: «Во ист партизанен?».

Неожиданно позади столпившихся немцев раздался громкий голос:

— Я здесь. Отпустите стариков…

За поваленной сосной с автоматом наперевес стоял Иван Кубатин.

— Со стариками воюете, гады! Нате, получайте… – и партизан нажал на спусковой крючок. Офицер и несколько солдат упали замертво. Остальные залегли и открыли ответный огонь. И тут на помощь Ивану Кубатину пришел Миша Охремовский, который вытащил автомат и боеприпасы из тайника. Завязался бой…

…Очевидцев тех далеких событий на хуторе Охремовском в живых не осталось. После войны ходили слухи, что Кулацкий хутор сожгли партизаны, якобы за связь хозяина с немцами.

Только спустя много лет была раскрыта тайна гибели этого лесного хутора. В дупле старого дуба лесорубы обнаружили гильзу от автомата, а в ней записку, написанную химическим карандашом. «Мы, бывшие пограничники, а ныне партизаны-разведчики Клетнянской бригады, пустили под откос немецкий эшелон у разъезда Казенное Узкое. Федя Гончаров погиб. Я ранен. Укрылся на хуторе Охремовском. Немцы схватили стариков. Пытают. Я мог бы спастись, но не такой ценой… Вместе с Мишей Охремовским ведём неравный бой с противником. Миша держится молодцом. Командир разведгруппы Иван Кубатин».

Один из старожилов поселка Загорье позднее вспомнил, что в тот осенний день 1942 года немцы привезли из леса, со стороны хутора, и похоронили в роще за поселком два десятка своих солдат и офицеров.

Вот таким крепким орешком оказался для врага Кулацкий хутор.

Вячеслав Ляшенко

ВАЛЯ

Памяти слитой дочери Ленинского комсомола, партизанки Брянских лесов, Вали Сафроновой

Ещё о ней мы песен не сложили
А жизнь её — вся песнею была.
Степан Щипачёв

Вступление

Словно вслух вспоминая
То, что память хранит,
Брянский лес, не смолкая,
Всё шумит и шумит.

Будь то осени, вёсны,
Иль другая пора,
Тихо шепчутся сосны
От утра до утра:

— Мы немало видали
В злой, нещадной борьбе.
Хочешь, повесть о
Вале Мы расскажем тебе?

Помним:
Смолкнут все птицы,
Зверь забьётся в нору,
Только Вале не спится
В эту пору в бору.

Вечер мглистый
В тумане
Чуть тропинка видна.
С партизанским заданьем
В путь выходит она.
Шепчут клёны, осины
Ободряюще ей:
Нудь смелей, Валентина,
Средь зелёных друзей!..

И покуда в разведку
Шла, покинув жильё,
Каждый кустик и ветка
Охраняли её...

Помним: видеть случалось,
Как тайком иногда
К нам сюда пробиралась
Чужеземцев орда.

Дым вставал над полянами,
Гулом полнился бор:
Из кустов с партизанами
Била Валя в упор.

Где те грозы?
Промчались.
Небо – ясная гладь.
Только что ж тебя, Валя,
Здесь, в лесу, не видать?

Что ж, как прежде, в косынке,
Чуть замедлив шаги,
Ты не топчешь тропинки,
Наши травы и мхи?

Мы в радушье великом
Летним днём у себя
Налитою черникой
Угостили б тебя.

Под тенистой сосною,
Что звенит на ветру,
Ключевою водою
Освежили б в жару.

Но уходят куда-то
Год за годом в простор,
И другие девчата
Будят песнями бор.

И другим у опушки,
В соснах, сонных на вид,
Ворожейка-кукушка
Жить лет двести сулит.

А вверху голубая
Даль небес глубока,
И плывут в ней, играя,
Облака, облака...

1

Всё в тот год, как обычно,
Шло своим чередом.
Вдруг со щебетом птичьим
Потянуло теплом.

И сквозь тучи ненастья
Свет и синь прорвались,
Будто светлое счастье
С неба хлынуло вниз.

Не успели и глянуть –
Лес проснулся, прозрел,
Каждой веткой, воспрянув,
Зазвенел и запел.

В эту пору едва ли
За стеной усидишь,
Ты с подругами, Валя,
В лес весёлый спешишь.

Разбрелись по окружыо.
— Где ты, Валя? А-у!
И на зовы подружек
Отвечаешь:
— Бе-гу-у!...

Взор твой светится синий.
— Как мне лес не любить! –
Ты подруге Фаине
Сердце рада открыть.

Той, с кем крепче дружила,
Чаще пела вдвоём,
Говоришь ты, что было
В этом крае лесном.

Здесь прошло твоё детство,
Дорогое до слёз,
С тихой Свенью в соседстве,
С вешним шумом берёз.

Здесь под щелканье птичье
Мчалось детство босым
По местам земляничным,
По тропинкам грибным,

Лишь положишь ладошку
На глаза ты слегка,
Видишь в соснах сторожку
И отца-лесника.

Видишь маму седую.
Вот с утра дотемна
Всё хлопочет, волнуясь,
По хозяйству она.

Не водились излишки
В доме много уж дней,
Но всегда ребятишки
Были сыты у ней.

Пусть в заплатах юбчонка
И шубёнка мала,
Но когда ты, девчонка,
Недовольной была?

Вспоминаешь ты часто,
Как под вечер с крыльца,
Взяв братишек вихрастых,
Ты встречала отца.

Вот он из лесу снова
Возвратился с ружьём.
— Покажи нам косого! –
Смех и гомон кругом.

Гладят заячью шубку,
За усы теребят.
Успокоить их — мука,
Семь родных пострелят.

Нету былей тех милых.
Где вы скрылись? Куда?
То, что в детстве любила,
Не забыть никогда.

День погож был и светел,
Пел скворец у окна,
Когда вестью, как плетью,
Обожгло вдруг:
— Война!

Ты запомнила, Валя,
Всё в себя вобрала:
Как впервые упали
Бомбы там, где жила,

Как легли покорежены
Сквер соседний и дом.

И редели прохожие
С каждым прожитым днём.
Нет и мамы. И стало
В доме глуше, темней.
Ты вчера лишь рассталась
С постаревшею с ней.

И страшней на вокзале
Показалась беда.
Как немного сказали
Вы друг другу тогда.

— Может, едем, Валюшка?
— Решено. Остаюсь!
И в глазах у старушки
Резче выдалась грусть.

Лишь сигнал отправленья
Прозвучал и заглох,
Обняла мать с волненьем:
— Ну, храни тебя Бог!..

Загремели колеса:
— На восток! На восток! –
Стлался горький, белёсый
Над перроном дымок...

А сегодня без силы
Опустилась за стол:
Тот, кого ты любила,
Взяв винтовку, ушёл.

Сердце!
Больно ли, страшно?
Отвечай, не солги!
О войне и о Саше
Ты писала стихи.

Гнев к врагам нарастает,
Нет пощады им, нет!
Он к борьбе призывает –
Комсомольский билет.

Смотрит с книжки заветной
Облик близкий, родной.
— Пусть ты, мудрый и светлый,
Будешь в битвах со мной.

В грозный час для Отчизны,
Что нам всем дорога,
Я клянусь тебе жизнью
Бить нещадно врага!..

И почудилось:
Ленин
Вдруг промолвил тебе:
— Ждут невзгоды, лишенья,
Муки в страшной борьбе.
Не опустишь ли руки?
— Нет! – спешишь ты в ответ, –
В том мне будет порукой
Комсомольский билет!

— Если в схватке суровой,
Чтоб победы достичь,
Примешь смерть?
Ты готова?

— Да, Владимир Ильич!
Всё приму, пересилю.
Не страшна мне гроза!..
Мнилось:
Лаской лучились
Ильичёвы глаза.

Чуть поблеклый черничник.
В небе синь. И вдали
Где-то дружески кличут
В путь с собой журавли.

Лес задумчив, спокоен.
Весь вниманье и слух.
Хрустнет сук под ногою –
Раздается вокруг.

Тенькнет робко синица –
Не спугнет тишины.
Мирно клён золотится,
Будто нету войны.

Дышат сказочной силою,
Упершись в небеса,
Эти Брянские, милые,
В лёгкой грусти леса.

Пахнет смолкой особою.
И рябина сладка.

Спелых ягод попробовал
Сам товарищ Дука.

Вот он, ладный и рослый.
В куртке. Сбоку наган.
Встал.
Дымит папиросой
Командир-партизан.

То молчит, то вздыхает,
Всё тая про себя.
Смотрит, будто читает,
Что в глазах у тебя.

Смял он ветку рябины,
В речи сила слышна:
— Завтра ты, Валентина,
В Брянск пробраться должна!
А задача такая, –
Вынул книжку Дука...
Ты глядишь, не мигая,
Лоб наморщив слегка.

Ты сидишь без движенья,
Чуть заметно дыша.
И в глубоком волненье
Закипает душа.

Значит, с важным заданьем
Проберешься тайком,
Чтоб держать испытанье
В схватке с хитрым врагом.

Пусть беда над тобою
Грянет, жизни грозя,
Не оставят, укроют
Комсомольцы-друзья.

— Всё понятно ли? Ну-ка?
— Всё, товарищ Дука! –
И легла в её руку
Командира рука.

4

Что так сердцу тревожно
Утром хмурым сегодня
В этой тряске дорожной
На случайной подводе?

Зябко кутаешь плечи
В старый мамин платок,
Иль страшишься ты встречи
С немцем в заданный срок?
Иль боишься, что скоро,
С Брянском встретясь родным,
Вдруг увидишь ты город
Непривычным, иным:

Постаревшим и тусклым
От пожарищ, потерь,
Где словечка по-русски
Не услышишь теперь?

Нет! Каким бы он ныне,
Этот город ни стал,
Он тебя, Валентина,
Звал к труду, вдохновлял...

У костров партизанских,
В тихий вечера час,
Ты с друзьями о Брянске
Вспоминала не раз,
Где берёзкою звонкой,
Веря в дружбу, росла,
Беспокойной девчонкой
В комсомол ты пришла.
С ним был путь тебе ясен,
Где б ни лег он, – везде.
Ты на почте в сберкассе
День встречала в труде.

Вечерами училась,
А манящей весной,
Сколько троп исходила
По лесам над Десной;
Сколько пели, бывало,
Для тебя соловьи!

Ты тогда же узнала
Боль и счастье любви...

Где он Саша?
Пылая,
Был в огне горизонт.
Не забыть, как, прощаясь,
Уезжал он на фронт.

. . . . . .

Лошадь с кочки на кочку.
Поле.
Смерзлась землица.
— Что задумалась, дочка? –
Обернулся возница.

Кашлянув глуховато,
Речь повел с Валентиной:
— Видно, с немцем проклятым
И тебе – не малина!

Стал вдруг строже, суровей,
Крепче сжал повода.
— А у нас, в Толмачёве,
От злодеев – беда!
Измотали всю душу,
Взяли скот... А потом
Дочку, дочку Настюшу
Увели под ружьём!
В злой неволе, в чужбине
Много наших девчат...
Стонут бабы.
Мужчины
Выжидают, молчат...

Эх, когда бы мы знали
К партизанам пути!

Чуть не вскрикнула Валя:
— Я могу к ним свести!

— Как зовут вас?
— Демьяном.
— Что ж, товарищ, Демьян,
Может, ваши сельчане
И найдут партизан.

— До свиданья! Мне прямо!
— Видно, дочка, пока! –
И с надеждой, упрямо
Вспыхнул взгляд старика.

5

В сизом, сумрачном свете
Крыши зданий, сады.
— Здравствуй, город!
Чем встретишь?
Чем поделишься ты?

Вон и роща под горкой,
Где была ты не раз.
В час печальный и горький
Эта встреча пришлась.

Чёрный мост.
Не впервые
Ты идёшь над Десной.
— Хальт ! – спешат часовые,
Пропуск требуя твой.

Вот и брянские улицы.
Словно в злой маяте,
Стали строгими, хмурятся,
Будто те и не те.

Город русский, старинный,
Он притих и в пыли,
Лишь в шинелях мышиных
Здесь и там патрули.
Ходят, бегают, мечутся,
Шнырят возле домов,
Но не видят разведчицу
Грозных Брянских лесов.
Шарят взглядом суровым,
Но не видит никто
Пачки скрытых листовок
У тебя под пальто.
В вечер грустный и зябкий,
Что над городом стыл,
Будто кто тебя шапкой –
Невидимкой прикрыл.
Ты выходишь на площадь.
Дом Советов.
На нём
Нынче флаг не полощет,
Как всегда, кумачом,

Рядом — груды развалин,
Битый щебень, зола.
Вот внезапно ты, Валя,
Стала вдруг, замерла.

Быть спокойною силясь,
Смотришь, пятясь назад:
Недвижимо застыли
Пять, повешенных в ряд.

А над ними, чернея,
Вдаль бегут облака.
Тихо, медленно к шее
Потянулась рука.

Ворот вмиг расстегнула,
Дух стеснило в груди.
Ты назад повернула –
Немец вдруг на пути.
В офицерском мундире,
Вот он здесь, пред тобой.
— Коммен зи мит шпацирен! –
Шаркнул лихо ногой.
Стало жарко под блузкой.
Что сказать наконец?
— Их кан нихт!.. –
И по-русски
Немцу в рожу:
— Подлец!..

Улыбнулся. Не понял.
— Аллес шпрехен зи дойч! —
Ты, боясь, что догонит,
Быстро двинулась прочь.

6

Кто б сказал, что придётся
Насмерть в Брянске тебе
Партизанкой бороться,
Всё изведать в борьбе:
Страх, лишенья, кручину;
И, следя за врагом,
У подруги Фаины
Жить с опаской, тайком…

Нынче, будто бы в гости,
Вечерком нарядясь,
С бывшим слесарем Костей
Ты в театр пробралась.

В нём не раз тебе душу
Волновали, сжимая,
И Корчагин Павлуша,
И Любовь Яровая.

Путь свой вымерив строже,
Как хотелось тебе,
Чтоб на них быть похожей
В дружбе, в счастье, в борьбе...

Но теперь ты с балкона
Смотришь хмуро. Кругом
Всё погоны, погоны...
В горле горестный ком.

Долетают, тревожа,
Шум, немецкая речь.
Как их слушать без дрожи,
Злым словцом не обжечь?

Вот ты вздрогнула, Валя,
Показалось сейчас,
Будто многие в зале
Заприметили вас.

Смотрят искоса, странно.
Миг – и крикнут, гремя:
— Вот они, партизаны!
Плюнуть – сладить с двумя!

Страшно ль, девочка?
— Очень! –
Как ей жизнь дорога!
Но, кто жить нынче хочет,
Бить обязан врага.

Ясно Косте без звука,
Чем сейчас ты полна.
Вот он жмёт тебе руку:
— Знай, мол, ты не одна!

Как Фаина снаружи
Подготовилась? Нет?
— Время! – шепчешь.
И тут же
Гаснет в здании свет.

И, прикрытая мраком,
В зал ты мечешь слова:
— Смерть фашистам – собакам!
Сила русских жива!

Вздрогнул зал. Шевелится.
И легко, без преград,
Как незримые птицы,
Вниз листовки летят.

7

Редкий, робкий вначале
Падал снег-мокросей,
Будто в небе стреляли
Белопёрых гусей.

Было тихо. И стыла
Речка. Ёжилась ель.
Но под вечер завыла,
Закружила метель.

Стало в городе глухо.
Зябко жались дома,
Ночь не спя, завируха
Всё сходила с ума.

После замети злобной
К утру выдалась тишь,
Но строенья в сугробах
Утонули до крыш.

Город спал ещё. В далях
Мутен свет был зари,
А уж немцы стучали
У домов – отвори!

Не открой – автоматы
В ход – и двери с петель.
Взять велели лопаты.
— Все на улицу! Шнель!

Окружили крикливо:
Мол, никто не уйдёт.
Сбился в кучу, пугливо
На морозе народ.

Валя вместе с подругой,
Чувств тревожных полна,
Слыша крики и ругань,
Стыла возле окна.

Утром серым, унылым
Было видно, как дрог
Каждый, выгнанный силой
На расчистку дорог.

Нет! Не выразить, право,
Чем кипела к врагам,
Но Фаине лукаво:
— Не помочь ли и нам?..

Та с волненьем не сладит.
— Добровольно? Ни в жисть!
Но у Вали во взгляде
Уж хитринки зажглись.
Объяснила всё вкратце,
Заключив шепотком:
— Нам бы только пробраться
К ним... На аэродром!..

Вмиг созрело решенье.
Сами к немцам идут.
Офицер с удивленьем
Скалит зубы:
— Зер гут!

8

Беспорядочным строем
В заметь снежных полей
Под суровым конвоем
Гнали хмурых людей.

Если кто-нибудь падал,
Вяз в глубоком снегу,
Поднимали прикладом,
И молчи, ни гу-гу!

— Мать – Россия родная! –
Каждый думал сейчас, –
В нашем горе без края
Слышишь, видишь ли нас?

— Слышу, дети, и вижу, –
Все внимали без слов, –
Кто родней вас и ближе,
Дочерей и сынов?

Нет мне нынче покоя,
Тяжело, хоть кричи,
От лихого разбоя,
От пожаров в ночи.

Пусть метели, туманы,
Но всегда и везде
Я спешу неустанно
Выручать вас в беде.

Из далёкой Сибири,
От Алдана-реки
На бескрайней на шири
Подняла я полки.

По лесам, по дубравам,
У заросших полян
Не для праздной забавы
Собрала партизан.

И средь грома и гула
У дорог, что в снегу,
В каждый камень вдохнула
Гнев и злобу к врагу.

Будет смят он, откинут
В битвах, в грозах атак!..

И не ты ль, Валентина,
Тоже думала так?
Всё сбылось, как хотела.
Вот он – аэродром.
Ты с подругой умело
Снег лопатишь вдвоём.
А сама ждёшь минуты
Для тебя дорогой.
Дождалась! Почему-то
Отошёл часовой.

Он свершить – не помеха
Дерзкий замысел ваш!
Быстро, быстро забегал
По листку карандаш.
И рука партизанки
Всё внесла неспроста:
Самолетов стоянки
И ангаров места.

9

Знала ль в Брянске ты, Валя,
Что в отряде не раз
О тебе вспоминали,
Ждали с часу на час?

— Где она задержалась?
— Трудно сразу решить!
— Может, к немцам попалась?
— Брось-ка, парень, дурить!
Изловить нашу Валю –
Руки их коротки!..

Так чуть свет толковали
Партизаны-дружки.
И Дука в это утро
Думал долго о ней:
— Уж давно почему-то
Нет от Вали вестей!..

Закурил. Не сидится.
Встал. Глядит из окна.
А в лесу-то – ни птицы,
Ни зверька. Тишина.

Дремлют стройные ели
В белых шубах до пят.
Как он красит их зелень,
Зимний русский наряд!
А вверху спозаранку
Свет и кроток и ал.

Кто-то громко в землянку
Вдруг к Дуке постучал.
Вмиг цыгарку откинул.
И, прищурясь слегка,
Глянул он:
— Валентина!
— Я, товарищ Дука!..

10

Глушь лесная. Ни тропки,
Ни дороги сюда.
Над деревьями робко
Загорелась звезда.

Мутен снег на полянках.
В соснах сумрак густой.
В партизанских землянках
Будто спят все – покой.

Лишь в одной, чуть заметно,
Тускло светит огонь,
Да о чём-то заветном
Вспоминает гармонь.

Вот вздохнёт в переборе,
Вот возьмёт и замрёт.

Голос девичий вскоре
К ней на помощь идёт.

— Под метелью, порошею
Прохожу я одна.
Нас с тобою, хороший мой,
Разлучила война.

Где? Какою дорогою
Ты с боями идёшь?
Жду письма я с тревогою,
Только ты всё не шлёшь...

Лишь вернусь я с задания,
И в лесу у себя,
Словно в лёгком тумане я,
Часто вижу тебя.

Пусть, фашистов преследуя,
Упаду я в кусты,
Лишь живым и с победою
Возвратился бы ты,

Чтоб в сиянии месяца,
Чувств к тебе не тая,
Та, другая, что встретится,
Так любила б, как я! –

Смолкла песня. Молчали
Все, нахмурясь сперва,
Лишь в печурке трещали
Легким треском дрова.

В тесной, душной землянке
Не один примечал,
Как парнишка в кубанке
Отчего-то вздыхал.

Свесив чуб свой курчавый,
Он сидел, словно пьян.
— Да-а! – вздохнул вдруг лукаво
Пожилой партизан.
— Если б не был я дедом,
Полюбил бы, ей-ей!..

Вышла девушка. Следом
Робко парень за ней.

Стали рядом. Как шалью,
Сосны кутала тьма.
— Чьи стихи эти, Валя?
— Написала сама!..

— Значит, правду сказала?
— Где?
— Ты в песне своей.
— Разве что я скрывала
Про себя от друзей?

Голос глух стал, надтреснут,
Но теперь уже смел:
— Этим парнем, что в песне,
Быть я очень хотел!
В нашей жизни суровой,
Может, это смешно,
Но скажи только слово,
То, что жду я давно!..

Помолчали. Стал виден
В небе серп голубой.
Ты не будь лишь в обиде:
Трудно сладить с собой...
Знаю: сердце – не камень,
Но его сберегу.
Будем, Костя, друзьями,
Быть другой не могу!..

11

Не шумите угрюмо,
Сосны, в буйную ночь,
И без этого шума
Нынче Вале невмочь.

Передумано много.
От идущей молвы
Охватила тревога:
— Враг у самой Москвы!..

Вышла в темень. Позёмка
Бьёт у ног, в рукава.
И невольно, чуть громко
Возникают слова:
— Ой, быстрее летите,
Ветры брянских сторон,
Вы Москве отнесите
Мой привет и поклон!

Замети ты, метелица,
Все дороги-пути,
Чтоб не смел и надеяться
Враг в столицу войти!

Вы, морозы, лютее
Жгите в снежной пыли,
Чтоб навеки злодеи
В русских землях легли! –

Видит Валя:
Суровей
Стали нынче друзья;
Гневно супятся брови:
— Сдать Москву нам – нельзя!..

Под покровом туманов,
В час затишья ночной
Смело шли партизаны
На проклятых войной.

У стальных магистралей,
Средь лесов и полей
Меткой пулей встречали
Всех незваных гостей.

Знал лишь ельник зелёный
Да у рельсов кусты,
Как рвались эшелоны,
Как взлетали мосты!..

. . . . . .

Лёг нетающий иней
У Дуки на висках.
Молвит он Валентине
С хитрецою в глазах:

— Снег счищала ты чисто...
Мне сейчас донесли:
Все ангары фашистов
Наши бомбы смели!

Вынул карту. Над нею
Стал, плечист и высок:
— А теперь поважнее
Есть задача, дружок!

12

У разъезда Нерусса
Ночью тёмной, без звезд,
Тяжким, вздрогнувшим грузом
Рухнул взорванный мост.
Был в лесу, на полянах
Гулок взрыва раскат.

Принесли партизаны
Костю утром в отряд.

Чуть приметно дыханье,
Веки сомкнуты, строг.
Выполняя заданье,
Он себя не сберёг...

Вьюга белою лапой
В дверь землянки скреблась.
Став над Костей без шапок,
Все застыли, склонясь.

Каждый, думой объятый,
Смолк, глаза опустив,
Будто был виноватым
В том, что сам еще жив.

Дед с винтовкой заветной,
Прислонившись к дверям,
Рукавом незаметно
Проводил по глазам.

А за стенкой невесело
Лес шумел у застав.
Валя голову свесила,
Словно что потеряв.
Ей припомнилось снова,
Что забыть не дано: –
Ты скажи только слово
То, что жду я давно!..
Сразу сникла, ослабла,
Сделать выдох – нет сил,
Будто кто-то внезапно,
Взяв за горло, сдавил.

Вышла, став на морозе,
И под вьюгой седой
Обняла вдруг берёзу,
К ней припав головой.

13

Как устала ты, Валя,
Долгим кажется путь:
Все бескрайние дали
Да сугробы по грудь.

Затаивши дыханье,
В теле чувствуя дрожь,
Ты с друзьями с заданья
Мглой морозной идёшь.

Пусть волненье, ненастье, –
Нынче утром чуть свет
В штабе воинской части
Отдан важный пакет...

Ночь. Позёмка дымится.
Глянешь в небо – видать:
Полыхают зарницы:
Фронт – рукою подать.

Даль. Сугробы сплошные.
Месяц был и погас.
Спит ли, нет ли Россия
В этот тягостный час?
Чем живёт она, дышит?
И на тысячи вёрст
Сердце видит и слышит
В эту полночь без звёзд.

Далеко под Москвою
В этот час, что гнетёт,
Смело школьница Зоя
Мстить фашистам идёт.

И на снежных равнинах
Мраком след её скрыт.
— Я с тобой, Валентина! –
Зоин голос звучит.

В дымной мгле синеватой
У тебя за спиной
Стали насмерть солдаты,
Вросшей в землю стеной.
И несёт к тебе ветер
Их святые слова:
— Все готовы мы встретить.
С нами правда, Москва!..

А с седого Урала
Долетает:
— Эге-е-ей!
Всё скуём из металла
Для победы своей!

Что же видится в сёлах?
Ни огня. Тишина.
В думах злых, невесёлых
Многим в ночь не до сна.
Эта вспомнила мужа,
Та – сыночка, что с ним.
— Всё мы вынесем, сдюжим,
Только б выстоять им!
Только б с быстрой победой
Им вернуться домой!..

И теплей за беседой
Станет вдруг не одной.
И любовно, на ощупь
Укрывают детей.
Слышен где-то за рощей
Гул чужих батарей.

Этой ночью гремящей
Только б фронт перейти.
Вспышки в небе всё чаще,
Всё опасней в пути.

Вот окопов канавы,
Поворот – и к своим,
Лишь с немецкой заставой
Не столкнуться бы им.
Вдруг тревожно из далей:
— Хальт! –
И выстрел, как гром.
Вскрикнув, падаешь, Валя,
В снег колючий лицом.

. . . . . .

Ты не помнишь, что было:
Ночь ли, вьюга, гроза?
С острой болью открыла
Утомленно глаза.

Лагерь. Близкие лица.
И среди партизан
Неужели возница?
— Вы, товарищ Демьян?..

Трёт глаза он платочком.
В тихом голосе дрожь:
— Я, родная! Я, дочка!
Я – Демьян! Узнаешь?

14

Что молчишь, Валентина?
Вот почти две недели,
Руки — плети раскинув,
Неподвижна в постели.

Приоткрыла ресницы,
Боль сильна в голове.
— Где сейчас я?
— В больнице!
— А больница?
— В Москве!

И припомнила сразу,
Что случилось с тобой,
Почему перевязан
Лоб пылающий твой.

Давит грузом рубашка,
Мучат жар или дрожь.
То ли стонешь ты тяжко?
То ли песню поёшь?

— Вьются в поле туманы,
Пала в травы роса.
Где вы, где, партизаны?
Голубые леса?

В час ночной, глуховатый,
Наяву ли, во сне?
Вижу: входят в палату
Партизаны ко мне.

Шапки медленно скинув,
Улыбаясь, глядят.
— Ты когда, Валентина,
К нам вернёшься в отряд?

— Не скажу я... Не знаю...
Здесь, грустя о былом,
Я, как птица лесная,
С перебитым крылом.

Жжёт обида нередко,
Что средь ночи и дня
Ходят наши в разведку
Из лесов без меня!.

По дорогам ли, в хатах, –
Верность делу храня,
Пулей жгучей, крылатой
Мстят врагу без меня!

А под вечер в землянке,
Не вздувая огня,
Вновь поют партизанки,
Но теперь без меня!

Если б хворь пересилить,
В Брянск, в родные края,
Всё забыв, как на крыльях,
Улетела бы я!

Меркнут, гаснут виденья,
Промелькнули – и нет.
Ты лежишь без движенья,
Тяжек, Валя, твой бред.

. . . . . .

В жизни, что б ни случилось, –
Молодым по плечу.
Вот ты, встав через силу,
Говоришь вдруг врачу:
— В Брянск хочу! Отпустите,
А не то – убегу!
— Что вы, Валя?
Лежите!
Отпустить – не могу!
А назавтра с сестрою
Врач пришел.
— Неужель? –
Стыла взмятой, пустою
Валентины постель.

15

Воздух колкий и синий.
Греет душу мороз.
Ветку тронешь ты – иней
Серебром вдруг с берёз.

Никого здесь как будто,
Крикни — эхо в ответ,
Лишь под ёлкой напутан
Робкий заячий след.

Сосны в лёгкой пороше.
И синица;
— Тень-тень! –
До чего же хороший
Этот солнечный день!

Есть и больше причина
Видеть радость твою:
Снова ты, Валентина,
В партизанском краю.

Пусть ещё нездорова
И бледна ты на вид, –
Здесь же воздух сосновый,
Словно врач, исцелит.

Отчего же безлюдно,
Голоса не звучат?
Стало ясно: отсюда
Перебрался отряд.

Но, укрытый в берёзках,
Был здесь аэродром
Да разведчиков горстка
Для дежурства при нём.

— Как жила?
— Понемногу!
— Голодна?
— Пустяки!
Угощают, чем могут,
За столом земляки.
Лаской светятся лица.
Каждый девушке рад,
Только ей не сидится –
Поскорей бы в отряд.
То платок, то ушанку
В нетерпении мнёт.
— Что сидеть-то в землянке?
Кто в отряд проведет?

— Слушай, слушай ты, Валя,
Бездорожьем глухим
Мы с полудня едва ли
Доберемся к своим!
Обождем до утра мы, –
Ей резонно друзья.
Валентина упряма.
— Ждать мне больше нельзя!
Ноют, мучают раны...
Как здесь бинт поменять?.. –

Не смогли партизаны
Хитрость Вали понять.

И решили ребята:
— Что ж, дойдём как-нибудь. –
Двое, взяв автоматы,
С Валей двинулись в путь.

16

Тучи хмурые низко
Над лесами плывут.
Вот и вечер уж близко,
А друзья всё идут.

Гуще лес. Осторожны
Партизаны в пути.
Сосны шепчут тревожно:
— Подождите идти!

Ветер Вале бьёт в уши,
Прядь волос теребя:
— Не ходи ты, послушай,
Что там встретит тебя?

— Не могу я!..
— Нет можешь!
— Как оставлю отряд?
Нет мне нынче дороже
Тех, что немцев громят!..

Смотрят путники в оба:
Не бывать бы беды,
В пышных, вязких сугробах
Оставляя следы,

Что там в соснах?
Сторожка
В два чуть видных окна.
— Обогрейтесь немножко! –
Как бы манит она.

— Отдохнёмте, ребята?
— Что же, Валя, зайдем! –
В нос ударило мятой,
Хлебным духом, жильём.

— Где хозяева? –
Пусто.
Только ветер в трубе,
Да котёнок лишь шустрый
Бегал вскачь по избе.

Перезябли. Устали.
Здесь же вдоволь тепла.
— Киса! Кисонька! –
Валя,
Сев, котёнка взяла.
И в окошко на просинь
Вдруг уставила взгляд:
Тихо кралась меж сосен
Цепь немецких солдат.

— Что здесь надо проклятым? –
Озираясь кругом,
Тяжело, воровато
Шли к сторожке тишком.

— Мы в ловушке!
К оружью! –
Валя громко для всех.
Миг — и в колющей стуже
Залегли они в снег.

Враз врагов автоматы,
На шумящем ветру,
Словно множество дятлов,
Застучали в бору.

Как прорваться?
Как выйти
Из кольца по снегам?
— Я прикрою! Бегите! –
Валентина друзьям.

Спуск нажав, застрочила.
Дышит зло, горячо.
Только что это с силой
Вдруг толкнуло в плечо?
Вмиг рука ослабела.
Выпал в снег автомат.
Грузным сделалось тело,
В голове, словно чад...

Глухо вырвалось:
— Мама! –
Неужели конец?
Сжала зубы упрямо
Партизанка-боец.

Доползти б тебе, выжить...
Вот уж ельник, а там...
Но всё ближе и ближе
Цепь врагов по кустам.

Валя!
Где ж твоя сила?
Бей их, яростно бей!
Ты ли жизнь не любила,
Радость солнечных дней?

Вот до боли знакомый
Встал вдруг Брянск пред тобой,
Синь,
Сугробы черёмух
На лугу за Десной.
Ты довольна.
Ты с Сашей.
Как дорога легка!
Но зовет тебя, машет
Возле рощи Дука.
А за ним — партизаны –
Сотни дружеских глаз.
— Я не сдамся! Я встану!
Я приду к вам сейчас!..

Но чего ж это руки
Непослушны никак?
Тише, тише все звуки,
Перед взором уж мрак...

Неужели подкошенной
Жизнь уходит твоя?
— Где вы?
Где вы, хорошие,
Мама…
Саша...
Друзья?..

Эпилог

Всходят ясные зори.
Снова даль голуба.
И на мирном просторе
Вновь бушуют хлеба.

Тянут песенку звонко
На столбах провода
И бегут вперегонки
Поезда, поезда...

Как о близком, желанном,
Много лет уж подряд
О своих партизанах
Земляки говорят.

Ходят слухи о Вале,
Будто Валя жива,
Будто Валю встречали
И не раз, и не два…

На просторах Алтая,
Где была целина,
Всё ещё молодая
Водит трактор она.

Тишь. Туман по низинам.
Вот и солнце встаёт.
— Добрый день, Валентина! –
Говорит ей народ.

Но другая видала,
Как на днях, вечерком,
Валя поезд встречала,
Став у стрелки с флажком.

А в окно из машины,
И безус и плечист:
— Как живешь, Валентина? –
Ей кричал машинист.

Третий Валю на почте
Видел в Брянске родном.
Вновь дивчина хлопочет
За рабочим столом.

К ней подходят мужчины,
Молодежь, старики:
— Добрый день, Валентина! –
Говорят земляки.
— Добрый день!..
А над Брянском –
В светлой сини зенит.
Солнцем добрым обласкан,
Город мирный шумит.

Вот он, вновь возрождённый,
Встал над тихой Десной
Повзрослевший, зелёный,
Как всегда, молодой.

А вокруг перед взором,
Где просторы легли,
Ивняки, косогоры
Да селенья вдали,
Да полоскою узкой
Там, где кромка небес,
Милый каждому русский
Зеленеющий лес.

А на землю, что золото,
Льётся свет не спеша...
И легко так и молодо
Дышит нынче душа.

Виктор Макукин

РОДИНЕ

Живём в Клинцах или в Рязани,
как будто в Турции иль в Польше…
Люблю душою и глазами.
А нынче надо бы побольше!

Гляжу на Родину с тоскою:
— Так как же это мы, ребята?! –
Всё в 41-м, под Москвою,
а не в Берлине, в 45-м?!

БРЯНСКИМ ПАРТИЗАНАМ

Где были дубравы – поляны,
где сосны стояли – пеньки…
Вы рано ушли, партизаны,
с Десны и Неруссы-реки!

Кусты и деревья горюют,
пока вы молчите в тиши.
Воруют!
Воруют!
Воруют!
Сдирая рубашку с души.

И, коль правоты не скрывая,
а правда до донца видна! –
Ведь это ж идёт
мировая
в России
с Россией война!

Мне больно глядеть на поляны.
Пеньки – инвалида протез.
…Зачем вы ушли, партизаны,
зачем вы покинули лес!

БАЛЛАДА О ЯБЛОКЕ

По-солдатски – на две части!
Знает толк
этот брянский окруженец-сержант!
И антоновки осенний холодок,
как по проволоке ток, побежал.

На листву неспешно руки отряхнул:
— Попрощаемся?
И вдруг услышал гул
45-го.
Уверен был, поди,
что победа у солдата впереди.

О, предчувствие победы! Ты ко мне
хоть слепою пулей прилети.
Приходило ж ты к солдату на войне
за три года до Победы почти.

… Вот как было в том лесу в том году.
Там сегодня только тишь, только гладь.
Я сегодня тебе яблок принесу,
от которых губ не оторвать.

Я нашел их в глухой стороне,
где и птицы позабыли о войне.
Там неслышно летят с высоты
вечной памяти сезонные листы.

Я антоновку на части разломлю.
Ты поморщишься:
— Дикая она!..
И тогда ударят по столу
очередью звонкой семена…

*** * ***

М. А. Гуленку, ветерану ВОВ

Я до конца у времени в плену!
В твои года пришёл,
а ты — всё дальше.
На восемь дней
тебя
я нынче старше!
Но ты — опять —
на целую войну!

Александр Малахов

*** * ***

— Папа, папочка! Возьми на войну!
— Рано, сынок, рано!
— Папка, папка! Не ходи на войну!
— Надо, сынок, надо!

…Возле школы белый обелиск.
Столько лет сентябрьская прохлада
Подожжет зарей кленовый лист
И опустит тихо за ограду.

Этой скорби не сравнить ни с чем,
Даже с грустью умершего сада…
— Пап! А для чего ему ограда.
— Папочка! А звездочка зачем?

ФРОНТОВИЧКА

На погонах по лычке,
Из-под шапки – бинты.
В двадцать лет – фронтовичка.
В двадцать – с пулей на «ты».

Снимок самый обычный,
Пожелтевший слегка…
Что грустишь, фронтовичка,
Бывший снайпер полка?

Есть квартира и пенсия,
Есть и внучка и внук.
Только что ж твои песни
Про войну да войну?

Оттого ль твои губы
Покривились незло,
Что двенадцать зарубок
На винтовку легло?

Оттого ль наплывает
Пред глазами туман,
Что весною той, в мае,
Муж твой умер от ран?

Но была ведь Победа!
И родился малыш!
…Ох, как рвется беседа.
Что же трудно молчишь?

Может, чем-то обидел?
Усмехнулась:
— Ничем…
Фотокарточка, видишь,
Пожелтела совсем…

Георгий Мароховский

ВЫСШАЯ МЕРА

Несколько дней назад, спешно покидая задымленную, окруженную лесными пожарами Москву, верилось: где-то там, далеко в лесных брянских дебрях можно будет, наконец, вздохнуть полной грудью. Но, как оказалось, леса горели повсюду – от старинных скитов Ветки до самого Белого моря…

Лето в тот год выдалось пыльным, жарким, засушливым. Крестьяне молили у Бога дождя. Но небо по-прежнему оставалось безучастным к глубоко въевшимся в иссушенную землю морщинам, напоминавшим обветренное лицо рано постаревшего человека. Даже лес не спасал от палящего зноя.

Отряд военно-топографической экспедиции стоянился у небольшой речки. Она, словно натруженный крестьянский серп, огибала деревню Медведи…

— Акулья, не к тебе ль? – послышалось из глубины соседского двора.

Скрипнула калитка, врезанная в массивные деревянные ворота, увенчанные резным кокошником. На улицу, чуть сгорбившись, вышла хрупкая пожилая женщина. Устало утёрла тыльной стороной ладони смуглое лицо. Быстрым движением опустила забранную за пояс длиннополую юбку.

— Вам кого?

Приподняв брови и узнавая меня, глубоко вздохнула через уголок губ, сдержанно поздоровалась.

— Ах, это вы… Ерофеюшка-то мой ждал вас, беспокоился… Вчерась, день в день, в сорокоуст, спровадили душу его в Царствие Небесное, – старушка трижды быстро перекрестилась.

— Знаю я, знаю, Акулина Никифоровна… – Мы печально обнялись. Что тут скажешь в утешение?

— Пусть земля будет пухом, – только и вымолвил, вынимая из полевой сумки конверт. – Вот, справку привёз. Из военно-медицинского архива Министерства обороны. Подтверждается ранение Ерофея Матвеевича на фронте в штрафном… – смутившись, осёкся я. Это наедине с живым Ерофеичем за рюмкой сливовой настойки мы могли, не мудрствуя лукаво, рассуждать о штрафбате, куда он ненароком угодил. А сейчас, при вдове, слово «штрафной» казалось кощунственным…

— Простите, – поправился я, – Подтверждается случай ранения в штурмовом батальоне. Просил он меня как-то об этом…

— За то – спасибочко большое. Орденом-то его обошли. Той, что первой степени, когда «Отечественную войну» к юбилею Победы раздавали. Вторую дали… Да и прибавку приложить к пенсии хотел, инвалидность по ранению оформить. Отговаривала я. Куда там! Сами знаете, настырный какой. Но к чему теперь... – беспомощно развела руками Акулина Никифоровна, вдруг спохватившись. – Да что это мы на улице всё! Будьте ласка в избу. А вещи ваши, они все там, – добавила она, – на горыще, чердаке бишь, как всегда и было…

С Ерофеичем я познакомился в начале девяностых. Тогда, в глухих, лесных и болотистых местах Брянщины, куда весной можно добраться только по воздуху, проводилась картографическая привязка участков Государственной границы нового, только что образовавшегося Российского государства. Естественно, закона о Государственной границе России в ту пору ещё не было. Потому демаркация скорее напоминала рекогносцировку, проводилась спешно, на глазок, всё из расчёта «на потом»… Положить Госграницу, которая в ту пору не имела даже юридического статуса, предполагалось на существующие административно-территориальные линии в зоне размежевания России, Украины и Белоруссии. Территориально почти так, как то было во времена Петра Великого...

Здешние места были мне хорошо знакомы по этнографическим экспедициям ещё с середины семидесятых годов. Но всё ж отряду не помешал бы не очень болтливый местный житель, хорошо знающий окрестности. Им и оказался Ерофей Матвеевич: невысокий, ладный, немногословный старик с роскошными донскими усами. Потом наезды сюда участились. И чтобы не перетаскивать за собой из Москвы туда-сюда рюкзаки, палатки, спальные мешки, котелки да кружки, Ерофеич предложил: «Да оставляйте вы свое майно – имелось в виду полевое снаряжение – на горыще, чердаке. Что с ним за зиму станет? Присмотрю уж…».

Так и стали мы вроде свойственников. Несколько лет обменивались короткими письмами, иногда посылал ему бандероли с лекарствами, которых не достать было в деревне. Словом, не «пропадали», в одинаковой мере дорожа своими отношениями. Тем более, никакой близкой родни у Ерофеича не осталось. «Единственный сын, да и тот лика не кажет, – сетовал старик. – Рыбачит где-то на Дальнем Востоке…»

Приезжая в командировки, я всегда останавливался в крепком, уютном доме Ерофея и Акульи. Как и у большинства крестьян пограничной деревни Медведи, исстари наполовину казацкой, наполовину – старообрядческой, дом у Ерофеича был, что крепость. Просторный, рубленый, с горожей – глухим высоким забором из тёсаных лесин.

Живя в деревенской среде, без дела не посидишь! Вот и помогал я иногда Ерофеичу по хозяйству. В иной год погребок под картошку выкопаешь где-нибудь на пустынном всполье. В другой – забор старикам подлатаешь, калитку укрепишь, половицу подобьешь…

Занятный был дед, с кремнем. Не каждому односельчанину доверял дружбу, тем паче, думы свои. С другой стороны, лучшего гармониста не сыскать было по всему Красногорью. Свадьбы там, праздники всякие, крестины, гуляния – повсюду слышалась его голосистая, раздольная, как перезвон спелых колосьев гармонь. Разве что сам не пел, в пляс не пускался. Сидит, молчит, меха гармони растягивает, а сам о своём думает…

И всё же: «Счастливая она, Акулья!» – с завистью судачили бабы, чьи мужики в разгар покоса, хлебнув излишку горилки – не поймешь, глядя – то ли сами косу держат, то ли косьё их подпирает… «Во, мужика отхватила! Не пьёт, разве что пригубит только!..»

Несмотря на некоторую угрюмость, характером Ерофич слыл если и упрямым, то миролюбивым. На шею никому не вешался, но и приветливость ценил с достоинством. Чувствовалось, всякого повидал человек в своём не простом житие... Одно то, что с сорок четвёртого с единственным, пусть и тяжким, ранением домой вернулся, дорогого в судьбе стоит! Но вспоминать о войне не любил. Что-то, видать, заело у него там, не сладилось. «Не горазд я байки рассказывать», – отнекивался Ерофеич.

Не раз я пытался выведать: «Ерофеич, может обида какая, начальство вниманием, наградами обошло?..»

— Какое там внимание, на фронте-то, к человекам! – удивлялся он. – В окопе все уравнены, что смертники. У каждого своя война. И отмеряет она высокою мерою… – уходил от разговора Ерофей, вдыхая из чубука ядреный свой самосад.

Как-то мне пришлось петлю на калитке менять. Спрашиваю у Ерофеича: где инструмент? Он: «Полезай, – говорит, – на чердак, там сыщешь».

Среди вороха разных старых вещей нашёл я ящик с инструментом. Заодно вытащил на свет и облезлый дерматиновый портфель, туго набитый полуистлевшими газетами, вперемешку с какими-то мелко исписанными листками из школьных тетрадок.

— Что это? – спрашиваю у Ерофея.

— Да, оставь… – безнадежно махнул он рукой. – Ерунда всякая! Старое это всё. Ещё в конце пятидесятых, когда Хрущёв волю дал, хотел свою правду о войне сказать… Поморочился-поморочился, да и бросил. Некудышный, видать, писака из меня. Да и люди что скажут? Герой нашелся!..

Поднявшись к штрехе, он в сердцах забросил портфель на чердак.

Вскоре разговор этот и вовсе забылся. Вспомнился лишь пару лет спустя, когда сидели мы с бабой Акульей за столом в светлой избе, поминая Ерофея Матвеевича прошлогодней сливянкой.

— Вот, что и осталось от Ерофеюшки, – вздохнула баба Акулья, выложив на стол узелок из бордовой домоткани. Среди рассыпавшейся горки тускло сверкнувшего серебра орденов, медалей, внимание мое привлекла тёмная, подернутая зеленоватыми окислами небольшая гильза от автомата ППШ – основного личного стрелкового оружия солдат Красной Армии в пору Великой Отечественной войны. Казалось, обыкновенный штатный патрон 7,62 на 25 миллиметров для пистолета-пулемёта Шпагина. Но в месте крепления удаленной пули в потертую гильзу аккуратно вмонтировано проволочное колечко. Наподобие обычного брелка для ключей.

«Гильза как гильза, – повертел я в пальцах холодную медяшку. – И вовсе не «смертник» – солдатский медальон с вложенным в него указанием воинского звания, фамилии, адреса родных. Такой требует герметичной укупорки... Зачем тогда нужен был Ерофеичу этот невзрачный на вид атрибут далёкой войны? О чём напоминал? Почему более полувека хранил он его рядом с боевыми наградами?..»

Ответить на мои вопросы баба Акулья не смогла. Вспомнила только: «Кажись, в попытое – давнее – время что-то он там писал такое, Ерофеюшка. То ли письма какие начальству, то ль ещё чего… Никому не показывал. Может о войне своей сказать хотел… Да кому нужны они, замороки его? Вон, генералы пишут… Не ему чета!»

Наверное, о многом могли бы поведать боевые награды Ерофеича. Но именно медный патрон для давно ставшего музейной редкостью автомата ППШ, не давал мне покоя. Я чувствовал, что за ним скрывается что-то необычное, глубоко затронувшее судьбу солдата, о чём он когда-то хотел, но так и не решился никому рассказать. Не в том ли дерматиновом портфеле кроется ответ?

С разрешения бабы Акульи я полез на чердак, перетащил туго набитый портфель в укромный уголок сарая. Разместившись на сене, стал внимательно изучать содержимое. Начал с ветхих, чуть пожелтевших на сгибах экземпляров газет.

…Мартовский номер «Правды» 1953-го года с большим портретом на первой полосе и набранным крупным шрифтом сообщением в траурной рамке о смерти И.В. Сталина.

…«Правда» от 28 марта 1956 года с материалами о разоблачении культа личности вождя.

…Экземпляры «Комсомольской правды» за 1956 год с жирно обведенными химическим карандашом призывами, рассказами об энтузиазме комсомольцев целинников… Та же «Комсомолка», но уже за 1957 год с фоторепортажами из Москвы о Международном фестивале молодежи и студентов…

Всё это в разные годы, очевидно, волновало фронтовика.

Осторожно развернул ветхую «Комсомолку». Вместе с мелкой бумажной крошкой из

неё выпали два бледно-голубых конверта. В одном из них – короткое сообщение из Брянского обкома ВЛКСМ: «Уважаемый товарищ! Внимательно познакомились с присланной Вами анкетой. К сожалению, направить Вас по комсомольской путёвке для работы на целине, не представляется возможным…» В другом, фирменном конверте, присланном из Москвы, письмо с похожим содержанием, адресованное комсомольцу Ерофею Ярцеву. На красочном, орденоносном бланке ЦК ВЛКСМ, типографским текстом с вписанной от руки фамилией адресата сообщалось: «Дорогой друг! Внимательно познакомились с Вашим письмом. Сообщаем о том, что все вопросы, связанные с направлением на работу по комсомольским путёвкам, решаются местными районными и областным комитетами ВЛКСМ. С тов. приветом! …»

С трудом разобрал сваленные в кучку страницы записей Ерофея, восстанавливая их последовательность по смыслу последних и начальных слов. Наконец, передо мной стопка пронумерованных, исписанных карандашом страниц, вырванных когда-то из школьных тетрадей «в клеточку».

Преднамеренно опускаю ссылки на многие имена, фамилии без указания воинских званий, или, напротив, воинские звания без имен… Номера воинских частей и полевых почт, госпиталей, другие бессвязные подробности в записях Ерофея Матвеевича. Они, вероятно, о многом говорили ему самому, но ничего уже не скажут нам с вами...

Едва расшифровывая скорый почерк бледных карандашных записей, я оставляю их существо неизменным, позволяя себе лишь комментарии, без чего описываемые события и их последовательность потеряют свою целостность.

Дождливой весной 1944 года Верховное Главнокомандование приняло окончательное решение о проведении летней компании. Так начиналась операция «Багратион» по освобождению от фашистов оккупированных территорий Прибалтики и Белоруссии. Особое значение в предстоящей операции придавалось войскам 1-го Белорусского фронта, действовавшего в труднопроходимой лесной и сильно заболоченной местности. И вот наконец начало операции, которую с нетерпением ожидали все – от генерала до рядового солдата.

Наступление советских войск в Белоруссии совпало с третьей годовщиной начала Великой Отечественной войны. Даты для каждого не просто символической, а кровной. Было за что мстить врагу!

Болотистые низины третьего отдельного стрелкового батальона в зоне боевых действий первого Белорусского фронта. За каждую высотку, за мало-мальски сухой пяточек земли, обе стороны дрались с особым ожесточением. Никому не хотелось зябнуть в болотах…

Высота, которую занимала рота Ерофея, где он служил радиотелефонистом, не однажды переходила из рук в руки. Связи со своими – штабами батальона, полка – никакой. А значит, и помощи в случае чего просить не у кого. Старую «Эрбээмку», «РБМ-З» – основная полевая радиостанция средней мощности времен Великой Отечественной войны – разнесло вдребезги. А проводная связь в наступлении вовсе бесполезна: за передком не угонишься, проводов не хватит…

В одном из таких скоротечных боёв, фашисты дрались особенно ожесточённо, пытаясь выбраться из заболоченной низины. Передовые их подразделения, преодолев наши окопы, уже ворвались на высоту, лихорадочно пытаясь закрепиться.

Ерофей, оглушенный взрывом гранаты, заброшенной в блиндаж связистов, чудом остался жив. Преодолевая боль в голове, шум в ушах, он, полулёжа, яростно накручивал ручку индуктора ТАИ-41 – полевой телефон, использовавшийся в войсках в пору войны. Но связи с соседней по флангу ротой не было. И когда вблизи своего полуразрушенного блиндажа услышал вдруг незнакомую гортанную речь, в голове промелькнуло: «Немцы на высоте! Неужто – плен?!»

Быть в плену – означало почти предательство. «Погибай, а в плен не попадай!» – призывали разные наставления, плакаты. Да и что остаётся простому солдату, как не погибнуть геройски, когда в тылу бедствуют родители, семья, а у кого и дети…. Ведь за солдата, по-

павшего в плен – кто знает: сам сдался, или как? – не будет семье никакой помощи на прокорм. Ни от родного государства, ни от колхоза, ни из сельского совета. Ни летом – покоса, ни зимой – дров… Да и какой станет жизнь сродственников, коли укажут сельчане: «Сокровник-то ваш, того – изменник Родины!»

Все эти мысли в доли секунды промелькнули в голове Ерофея, контуженного разорвавшейся в блиндаже гранатой.

«Нет уж, дудки, умру героем! – по-комсомольски твёрдо решил для себя Ерофей. – Сколько патронов есть – все выпущу. Только не плен! Последний патрон для себя…»

Отомкнув от автомата магазин, он вдруг с ужасом выщелкнул из него единственный патрон! Согнувшись в полуразрушенном блиндаже, Ерофей лихорадочно ощупывал вокруг себя осыпавшуюся землю, надеясь найти хоть сколько-нибудь завалявшихся патронов.

— «Хенде хох!» – угрожающе раздалось откуда-то сверху. Эти слова с немецкого можно и не переводить! Их знал и, как мог, избегал на фронте каждый советский солдат.

Вскинув голову, Ерофей увидел сквозь рассыпанный над ним накат блиндажа три расплывчатые на фоне неба пятна в касках. Плоские штыки карабинов упёрлись в нутро землянки. «Рус, медведь, капут… Хенде хох!» – поторапливали немцы.

«Обидно: полтора года войны, ни одного ранения… И вот так, за здорово живёшь, оказаться в лапах врага! Даже застрелиться не сумел…» – невольно обмякнув, подумал Ерофей, крепко сжимая в кулаке единственный патрон бесполезного уже ППШ.

Увидев на Ерофее чёрные погоны с красным кантом, «крылышками и молниями» на эмблемах, немцы обрадовано загалдели, оттолкнув его в сторону от других военнопленных. Чуяли: связист – добыча на войне не рядовая, ценная! В зависимости от того, как много он знает, можно и награду получить.

В деревеньке Каменке, куда немцы привели пленного, только вчера ещё занятой нашими, а сегодня сданной врагу, в какой-то уцелевшей избе немецкий офицер, сносно говоря по-русски, наскоро допрашивал Ерофея. Теребя красноармейскую книжку солдата, выяснял номер войсковой части, фамилию, звание, должность, позывные командного состава, систему связи… Каждое слово записывал в протокол допроса. За выдачу оперативных сведений обещал разные блага, убеждая, что фатерлянд – немецкое отечество, может быть благодарным. Затем дал пленному подписать протокол допроса: «Со слов моих верно».

Кроме своей фамилии, воинского звания и должности, Ерофей ничего внятного немцу так и не сказал, придумав радиопозывные фланговых рот, какие пришли в голову… Потому, подписал протянутую бумагу не глядя, с чистой совестью. Да и не знал он толком ничего о планах начальства, а – ситуация в бою, так она часто переменчива: сейчас одно, через минуту – другое. Ко всему сослался на контузию от разорвавшейся в блиндаже гранаты.

К счастью, в тыл пленников не угнали. Сказалась некоторая передышка обеих сторон на фронте, немецкий рационализм: чего народ куда-то гнать, когда ему и здесь работы достаточно!...

Пленных красноармейцев использовали во втором эшелоне обороны: они перекатывали огромные бухты ржавой колючей проволоки для систем заграждения, предмостных укреплений; ладили мокрые брёвна в болотистых низинах для проезда транспорта. А спустя неделю-две наши возобновили наступление. На этот раз оно оказалось столь стремительным, что утром следующего дня в бывший коровник, где содержались военнопленные, с шумом ввалилась ватага разведвзвода. «Выходи, братцы – свободны!» – радостно скомандовал разгоряченный лейтенант.

По счастью, деревню Каменку, в которой допрашивали Ерофея, взял штурмом родной батальон, где его хорошо знали от комбата, майора Протасова, до любого красноармейца из «стариков».

Не успел он прибыть в своею роту, остыть от горячих объятий товарищей, считавших Ерофея погибшим, вдоволь поесть щей и перловки с тушёнкой, как оказалось: до свободы ещё ох как далеко!

«Встать, смирно!» В расположении роты появился хмурый комбат Протасов в сопровождении майора из штаба дивизии. Им оказался

начальник особого отдела. Оба офицера хорошо знали друг друга по случавшимся проводкам через линию фронта на участке батальона. Разговаривали на повышенных тонах:

— Ну и что ты мне всё суешь под нос эти свои бумаги! – горячился комбат. – Я знаю своих людей! И этого, Ярцева, связиста… Да он со мной полтора года в батальоне воюет. Считай, со Сталинграда топает!

В ответ особист, видно, и сам не очень довольный выпавшей ему ролью, и не где-нибудь в тыловом подразделении дивизии, а на самом «передке» – в окопах, пытался убедить комбата:

— Ты же знаешь, майор, вопросы о бывших военнопленных решаются не мной. Есть особая инструкция штаба фронта… Ну, подержат твоего солдата немного без ремня, профильтруют ему мозги, а там, глядишь, вернётся…

Так Ерофей вновь попал в тот же дом, где две недели назад его допрашивал белокурый офицер вермахта. Теперь здесь располагался отдел контрразведки дивизии – «Смерш», своим названием более известный в войсках по плакатам «Смерть шпионам».

Капитан с синим околышем на фуражке, всерьёз вменял в вину солдату выдачу врагу сведений особого военного характера. И тот и другой понимали: в боевой обстановке подобный проступок предполагает высшую меру наказания – расстрел. Ко всему, командир взвода связи, младший лейтенант Поленов, непосредственный командир Ерофея, то ли пропал в том бою без вести, то ли, как считают в особом отделе, намеренно мог перейти к немцам. Не был ли пособником и оказавшийся в плену его солдат?..

«Бред какой-то. Разберутся…» – уверен был Ерофей. Он прекрасно знал своего взводного, мальчишку лейтенанта, прибывшим на фронт из училища связи незадолго до начала наступления. Какой же он, комсомолец, предатель, враг?!..

Но за лейтенанта ответит кто-то другой. А вот, как ему, Ерофею, быть под расстрельной статьей? И, главное, за что?!

Вот оно, в руках капитана «Смерша», доказательство, свидетельство страшной вины Ерофея перед Родиной – признательный протокол допроса, подписанный им же, собственноручно, подтвержденный представителем контрразведки 6-го моторизованного полка обер-лейтенантом Раулем Баухом. Всё оформлено по-немецки пунктуально, по форме. И год рождения, и воинское звание, и должность, и номер войсковой части, и радиопозывные фланкирующих рот полка: «Вексель», «Отважный»… И даже полный адрес родной брянской деревни из которой Ерофей призывался на фронт. Всё соответствует действительности!

Для следователя из «Смерша» было совсем неважно, что все это есть в записях красноармейской книжки Ерофея, приобщенной немцами к протоколу допроса, что личные сведения о красноармейце не имеют никакого отношения к государственной и военной тайне, что указанные немцам радиопозывные ничего из себя не представляют, взяты солдатом просто из головы…

— Чего же тебе отпираться теперь? – невозмутимо твердил капитан. – И так всё ясно. Время только зря теряем. Вашего брата здесь, знаешь, сколько! Подпиши бумагу и дело с концом!

— Не буду я ничего подписывать, гражданин капитан, – упирался Ерофей. – Ученый уж!..

— Расстреляют же тебя, дурака! А так, глядишь, «штурмовым» отделаешься…

— Делайте, что хотите, хоть пулю в лоб, – безнадежно махнул Ерофей рукой на правоту, доказать которую был бессилен. – Но чтобы я сам себе приговор вынес: «Изменник Родины». Не будет такого! – упрямо стоял он на своём.

Нет, не смерти, с которой не раз встречался на передовой, боялся солдат, хотя только дурак её и не боится. Есть что-то в этом мире пострашнее смерти!

Сидя под стражей в сыром крестьянском подполье, Ерофей перебирал в памяти каждое своё слово на допросе у немцев: «Может и ляпнул чего сдуру-то?.. Да нет же! Никаких тайн, кроме собственной фамилии, врагу я не выдавал! Вконец, вот оно, моё последнее слово, – бережно вынул он из потайного

кармана-пистона шаровар потёртый, блестящий медью патрон. – Для себя берёг, мне и достанется! Вот, кабы только огоньку найти, капсюль прогреть… Тогда любым гвоздиком можно…»

Дни заточения тянулись один за одним, безликой, тоскливой, пугающей своей бесконечностью чередой. Вызов, конвой, выматывающие наизнанку допросы и опять всё сначала. «Родной батальон, небось, давно уже за Минском воюет. Говорят, в Польшу вошли…»

Вчера при утреннем досмотре дотошный караул всё-таки обнаружил в потайном кармане брюк Ерофея боевой патрон. Немцы не нашли, так свои удосужились, и такой вдруг переполох подняли! Начальник караула передал патрон капитану из «Смерша», допрашивавшего Ерофея. Тот, выслушав солдата, потребовал письменных объяснений: откуда патрон, для каких целей упрятан?

Всё написал Ерофей, как было…

Есть всё же Бог над белым светом. Тот майор из дивизионного отдела «Смерша», что приезжал с конвоем на передовую, видать, разобрался в деле. Нормальным мужиком оказался.

— Нет ничего, – сказал капитану, – за этим солдатом такого, чтобы изменником его считать. Два ордена за полтора года на войне… И комбат хорошо его характеризует. Вот – рапорт командира батальона майора Протасова. Так что закрывайте-ка дело по всей форме…

Потом, уже перед самым военно-полевым судом, разговор у Ерофея с майором вышел.

— Пойдёшь, – говорит, – на пару месяцев в штурмовой батальон. Это по минимуму. Тут уж не миновать того… В конце концов, какая тебе, солдат, разница, где Родину защищать: в гвардейском ли полку, или в штрафной роте? А коль суждено погибнуть, то геройски. Враг ведь у нас один на всех, война не завтра кончается. Иди, воюй, и дай тебе Бог дожить до победы!

Прощаясь, майор возвратил Ерофею патрон. Нахмурился: «Это ты зря задумал. Не дури! И не торопись никогда поперед батьки в пекло. Пуля, она не такая уж и дура. Сама найдёт, кого и когда надо…»

Был это уже не боевой патрон, а обыкновенная медяшка – гильза. Тупую, скругленную пулю от ППШ, предусмотрительно удалили в особом отделе, приобщив к «делу», которое суд рассмотрел в тот же день.

Приговор: три месяца пребывания в штурмовом батальоне, проще – «штрафбате». Как и положено – до первого ранения.

В первом же бою запросто сложить голову в рядах штрафбата – раз плюнуть! Но судьба миловала. Продержался Ерофеич в штрафной роте пятнадцать дней, пока пуля не нашла его, пробив лёгкое. Кровью смыл он неведомый свой грех перед Родиной.

А может, и прав был тот майор из «Смерша»: «Какая разница, где Родину защищать?..»

Вылечился – снова фронт. При взятии Праги опять ранило. На этот раз так, что списали подчистую. На разных фронтах в годы войны Ерофей заслужил орден Красной звезды, орден Славы третьей степени, медали «За отвагу», «Оборону Сталинграда» и «Взятие Вены». Вернулся в родную деревню. Но долго ещё, куда ни сунься, сопровождал его ярлык: «БВП» – бывший военнопленный.

— Смотри мне, чуть что, так с такой яркой наколкой и в тюрьму не примут, – угрожающе подтрунивал в первые послевоенные годы деревенский пьяница-участковый.

Ерофей, помнится, вступился тогда за односельчанина – давнего своего школьного учителя русского языка и литературы Василия Трофимовича. Чиновники из райобразования то и дело чинили ему пакости. Был, дескать, на временно оккупированной врагом территории в селе Хотылёво… И слышать не хотели о том, что жители почти всей деревни тайком приходили к нему за припрятанными в погребе советскими книгами, за одно хранение которых полагался расстрел. И это не в какой-то отдаленной деревеньке, куда немцы и носа не казывали, а в крупном селе на берегу Десны, где в старой усадьбе располагался штаб 2-й немецкой армии. Но никто учителя не выдал. А тут, в родной деревне, такое…

Поначалу, от обиды и бессилия хотелось Ерофею съехать с молодой женой куда подальше. В газетах, журналах тропинки за родные околицы выискивал, письма писал…

С годами всё в нём поутихло, смягчилось. Право же, на чужой стороне счастья не ищут.

1 апреля 1993 года был наконец принят Закон № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», одним из соавторов которого можно считать и Ерофеича, коренника русского пограничья. Давно уже нет его на белом свете. Но я помню о нём.

Не знаю, успел ли Ерофеич напоследок повидаться со своим странствующим сыном? Зачем понадобилась ему, спустя полвека после окончания войны, справка о ранении в штурмовой роте? Что и кому хотел он доказать?..

Недолго вдовствовала и баба Акулья. Если бы не случайно обнаруженные фронтовые записки, оставленные Ерофеем, так никто и не узнал бы историю о старой гильзе – солдатском медальоне бессмертия. Теперь он хранится у меня – свидетель той Великой войны, навсегда не досказанной, навсегда прошлой, где рядом шли жизнь и смерть, величие и несправедливость, радость и боль, где судьба и совесть человека оценивались высшею мерой.

Владимир Маслов

ВЫПУСКНИКИ СОРОКОВОГО…

Полумужчины, полудети
На фронт ушедшие из школ…
Да мы и не жили на свете, –
Наш возраст в силу не вошёл
А.Межиров

Выпускники сорокового…
Чуть не со школьной парты в бой,
Вам не было пути иного,
Как через фронт идти домой.

И эта трудная дорога
Была для многих так длинна,
Что до родимого порога
Не всем дала билет война.

Делить на дальних или близких
Не будем тех, кто пал в бою:
Лежат под каждым обелиском
Бойцы за Родину свою.

Полумужчины, полудети…
Под пули, страх преодолев,
Шли на закатах и рассветах
И гибли, вскрикнуть не успев.

Они для нас родными стали
Ещё тогда, в том самый миг,
Когда их пули настигали
И меркнул свет в глазах у них.

Кем стали мы, какими будем, –
Не смогут павшие узнать,
Но в наших праздниках и буднях
О них нельзя не вспоминать.

Николай Мельников

МЫ НИКОГДА НЕ УМРЁМ
Песня из кинофильма «Русская жертва»

Нам кажется, мы никогда не умрём,
Когда нам едва исполняется двадцать.
Мы песни поём, безшабашно живём,
И в девушек славных мечтаем влюбляться.

Нам кажется, мы никогда не умрём…
Но вот призвала нас на подвиг Отчизна,
И мы, опалённые страшным огнём,
Стоим уже где-то меж смертью и жизнью.

Меж смертью и жизнью стоят все; бойцы,
Стоят на войне против этой войны.
И есть автомат и граната одна,
Да русская честь, что с рожденья дана.

Мы верим, что мы никогда не умрём,
Нас матери встретят, и жёны, и дети.
Ведь помощь придёт. Мы её подождём.
Мы выстоим в этой шальной круговерти.

Так надо. Мы выстоим здесь и сейчас.
Нам выдержать, выдержать самую малость…

Но красным становится снег возле нас,
И белого снега совсем не осталось.

Казалось, что мы никогда не умрём,
Но падают наши товарищи рядом.
Вся рота легла под свинцовым дождём,
И нам ничего уже больше не надо.

Не надо подмоги, не надо наград.
Ни плен, ни предательство нас не пугают.
Построены всё на последний парад,
И рота безшумно по Небу шагает…

Теперь уж далёко от нас все; бойцы,
Теперь они там, где не слышно войны.
Но чудится взгляд всепрощающих глаз:
«Мы души свои положили за вас».

НЕНУЖНЫЕ

У людей от смеха колики:
Я шоссейною дорогою
Провожаю алкоголика,
Непобритого, безногого.

Трудно деда препроваживать:
У него душа надорвана:
Он горел в Рейхстаге заживо
И стрелял из пушки в Бормана!

У прохожих – смех дебиловый,
Только мент с душой некаменной
Прошипел, как ванилиновый:
– Не заткнёшься, будешь в камере!

И стучит протез негнущийся,
И глаза – тоскливо-пьяные,
И рубашка в клетку – лучшая,
И медаль с портретом Сталина.

Эх ты, старость непутёвая,
От рассвета и до вечера
У пивнушек расфасована,
Непомыта, непривечена.

Каждый раз тебя уважить мне –
Всё одно же – пиво с воблою…
Ну, идём… а то сограждане
Нам кивают не по-доброму.

От пивка походка флотская,
В голове асфальт качается…
Так вот жизнь проходит, скотская,
А потом она кончается.

Алексей Меньков

САХАР

Пронёсся ураган
По крышам ветхим
И задохнулся
В душной синеве.
Сорвал в цвету
Рябиновые ветки,
Тяжёлый град
Рассыпал по траве.
Босой мальчишка,
Обжигаясь, ахал,
В большой картуз
Поспешно собирал
«Холодный сахар»,
Вот какой он,
Сахар…
Он первый раз
В руках его держал.
А мамка каждый вечер
Говорила,
Что сахар с фронта
Батька принесёт.
А тут на землю
Столько навалило,
Что и никто его
Не соберёт!
Но в хате «сахар»
Медленно закапал
Из картуза
И весь водою
Стал.
И мальчик плакал,
Мальчик долго плакал
И снова батьку
С фронта
Ожидал.

В БРЯНСКОМ ЛЕСУ

Я оступился
и упал
в окоп.
Спружинили
полусырые ветки.
Сороки, будто
на гашетки,
Нажали так,
что аж прошел озноб...
Я голову к сухой траве прижал.
Я никогда
в окопе
не лежал.
Но слишком страшное –
«свинцовый смерч...» –
Впитал я с материнским молоком.
Поднялся из окопа я
рывком,
Так шел отец,
наверное,
на смерть.

* * *

Шумел сурово Брянский лес.
А. Софронов

Шумит Брянский лес,
И задумчив, и строг.
Закурит лесник
У развилки дорог,
Присядет на камень.
(Здесь умер от ран
Сынишка младшой,
Подрывник, партизан.)
А рядом криница –
Шагах в десяти.
Он сыну напиться
Не смог донести –
Фуражка с водою
В крушиновый куст
Упала...
И мир стал
Удушлив и пуст...
Прошло много лет,
И прошло много зим.
Шумит Брянский лес,
Будто он невредим.
...Обнявши испытанный
Свой дробовик,
О чём-то задумался
Старый лесник.
Уж начали сосны
Иголки ронять.
Подходит пора
Птицам лес покидать...

ДВЕ ДОРОГИ

Полевая и лесная,
Словно две сестры,
Горя горького не зная,
Жили до поры.
Первая в горячий полдень
Обжигалась вся.
А вторая – меж колодин,
По корням скользя,
В тень густую уходила –
Не её вина...
И за это не судила
Первая,
Она
Рождена была в раздолье –
Песенная стать...
И ещё счастливей доли
Незачем желать.
...А когда рвались снаряды,
Тем...
Июньским днём,
Две дороги были рядом –
Под одним огнём.
Первая калекой стала:
Яма – что ни шаг.
А вторая простонала
Глухо, чуть дыша,
И под павшими дубами
Заросла травой,
И скрипят возы с дровами
Мимо – стороной.
Дали прозвище «Хромая»
Полевой с тех пор.
Двух дорог судьба такая,
Словно двух сестёр.

9 МАЯ 1975 ГОДА

Я видел, как друзья встречались,
Друзья-фронтовики.
Как двое крепко обнимались
В три верные руки.

...Пилот – стрелку, сосед – соседу,
Разведчику – комбат:
«Браток, спасибо за Победу...» –
Как тридцать лет назад.

«Браток, спасибо за Победу...» –
Не сыщешь проще слов.
И всколыхнуло всю планету
Эхо голосов.

...И где ни буду я по свету
Свободному идти,
«Браток, спасибо за Победу...» –
Скажу не раз в пути.

Георгий Метельский

БРЯНСКИЙ ЛЕС

Хмуро стоят вековые ели,
затерялся след военных троп,
и уже заметен еле-еле
весь оплывший, брошенный окоп.
Проросла берёзка через каску,
сгнил землянки смоляной накат.
И стоит над той могилой братской
одиноко бронзовый солдат.
Он стоит коленопреклонённый,
голову в печали обнажив,
и шуршат под ветром, как знамёна,
листья вязов и плакучих ив.
Слушает, как бьётся сердце глухо,
и опять от прошлого знобит...
Это Память ловит чутким ухом
эхо трудных, но победных битв.

Александр Мехедов

БРОНЕВЫЕ ЛАТЫ

Прогнали немца. И в родной сторонке
Нам кучно били в сердце похоронки.
Мать ночью слёзы давкие глотала,
А днём одежку детскую латала.
Суровую откусывая нитку,
Мне подавала латаную свитку.
Стояли немцы всё ещё на Соже.
И не было у нас другой одёжи.
У труб печных, у обгорелых хат
Мы не стеснялись маминых заплат.
Потом, передавая весть сосед соседу,
Мы встретили Великую Победу!
Из дней худых, у обгорелых дат
Я обращаю в будущее взгляд.
Мой старший брат, не сдавший Ленинград,
Не угодил ты нашим демократам.
Какой же ныне в обществе разврат!
Какая ложь! Чуть отойду в сторонку
И вижу на божнице похоронку.
Мать ночью… слышал, как навзрыд рыдала…
А днём одёжку детскую латала…
На мне они, как броневые латы, –
Суровой ниткой вшитые заплаты.

*** * ***

Мой Брянский лес я наизусть листаю.
А в нем – какую ветвь ни отведи –
Увидишь: все никак не зарастают
Окопы и по нынешние дни.

Когда приходит женщина седая
За ключевой криничною водой,
На дне ведра песчинки оседают,
Обратным счётом годы ей считает
Кукушка – не избытые бедой.

Когда бегут детишки резвой стаей
За ягодой приманчивой лесной –
Тропа свернет, свернет тропа лесная
Повдоль следов, оставленных войной.

Таков мой лес, мой край, родной и близкий.
В нем по какой дороге ни сверни –
Вросли корнями в землю обелиски
Из прошлых дней в сегодняшние дни.

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

И снова весна! Ремонтирует гнезда
Артельная птица весенняя – грач.
И снова тепло прорезаются звезды
Для юных сердец, для надежд и удач.
А память считает ступени былого.
Чем дальше – тем выше…
…Другая весна.
Еще не сказало последнего слова
Великое лихо людское – война.
На талой земле, на родимой сторонке
Бугры обнажились под грустной звездой…
И всё ещё бьют по сердцам похоронки,
Пропахшие гарью и талой водой.
Грачи прилетели.
Как мы, отощали:
Не густ на прокорм непропаханный пласт,
Но все же – весна…
И крапивными щами
В любой развалюшке с порога обдаст!
Ручьи прокатились к залитым низинам.
Обсохла на солнце печная зола.
Но главное – наши уже под Берлином!
Но самое главное – наша взяла!
Мне снится Победа. И вдруг, среди ночи,
Ни стона, ни боли уже не тая, –
«Родимая доченька…
Родный сыночек…» –
Я слышу, как мама рыдает моя…
…И снова весна!
Сколько зим прошумело,
И многие судьбы метель замела.
Грачи прилетели – хорошее дело.
А самое главное –
Наша взяла!

ГЕОРГИЙ И ВЕРА

В том детстве далеком моём –
Икона военного склада:
Георгий пронзал копиём
Какого-то змия иль гада.

Смотрел я на это стократ,
И не была притча химерой.
Георгием звался мой брат,
Назвали сестру нашу Верой.

Мой брат не ушёл от огня:
Посеченный огненным градом,
Погиб за страну и меня
У Колпина под Ленинградом.

И Вера (в осенние дни –
Как свет в нашем тихом окошке,
Любимица нашей родни) –
Погибла в блокадной бомбежке.

Смотрю я на лики икон
С суровою ясностью взгляда.
Но есть непреложный закон
Сдыхания змия иль гада.

Он будет пронзен копиём –
Какой ни грозил бы химерой –
Всей правдой, которой живём.
Всем разумом нашим и верой.

Мой брат не сгорел на огне,
Сестра не сгорела в бомбежке.
Я вижу их в нашем окне:
Вон едут на белом коне
По выстланной светом дорожке…

ДЕВЯТОЕ МАЯ

Бушевала сирень на Девятое Мая,
Высоко поднимала рябина цветы,
Заливались всю ночь соловьи, не смолкая,
До рассветной, до светлой победной черты.

Сколько вёсен селились они на гнездовье,
Сколько песен свивали по нитке в кольцо?..
Сколько раз замирала Россия по-вдовьи,
Выходя в ожиданье зарей на крыльцо?

Бушевало вино на Девятое Мая.
Перемешана с горечью сладость вина,
Ветераны, стаканы со звоном сдвигая,
Проливали его на свои ордена.

Мы стояли в молчанье, придя к обелискам.
Мир в такую минуту невольно затих.
Мы рыдали, лица не скрывая, по близким,
А среди невернувшихся нету чужих.

Бушевала гроза на Девятое Мая.
Ликовала весна на родной стороне.
И парнишка, девчонку свою обнимая,
Белозубо смеялся навстречу весне.

Пусть на крыльях летят по росистому следу
За любовью своей в соловьином саду…
Сколько лет мы равняем себя на Победу,
Отводя от любимой Отчизны беду.

ПО ДОРОГЕ КАРАЧЕВ – БРЯНСК

Трава в росе. Приятно спозаранку
Распахнуто вбирать рожденье дня,
Пройти пешком. И медленно у танка
Коснуться взором Вечного огня.

Карачев – Брянск.
Ровесники, славяне...
Вглядись в века, откуда мы растем!
Здесь поле было часто полем брани,
А лес – его опорой и щитом.
Знакомый путь. И в придорожных знаках.
За каждым верстовым столбом пути
Волнуется, как кровь живая, в злаках
То поле, что пришлось нам перейти.

Вот надпись непреложно указует:
Хацунь.
Вскипает сорок первый год,
И над деревней русскою танцует
Весь в пламени кровавом небосвод.
Хацунь моя, Хацунь, сестра Хатыни!
То явь была, а не кошмарный сон...
Живущие да помнят и поныне
Твой отлетевший в небо тяжкий стон.
Они навек живут в полях равнинных,
Их не замкнет в себе лесная глушь –
Тех триста восемнадцать,
Тех безвинных,
Сожженных
Триста восемнадцать душ.

И дальше путь. Его я не миную.
Полсотни верстовых столбов легли
Своею тенью на тропу лесную,
На эту пядь моей родной земли.
И в солнце или в мареве тумана,
За ясным или пасмурным окном –
Мне светит Партизанская поляна
Немеркнущим торжественным огнем.
Там, закипев неукротимой лавой,
Вставал народ. И шел на смертный бой,
На правый бой –
И партизанской славой
Сроднился навек с русскою землей.

И вот он, Брянск, над кручей придеснянской.
Традиции исконные храня,
Он в свой венок дубравный партизанский
Вплетает песню нынешнего дня.
Она красна своей высокой нотой
(Нова, как мир, и, словно мир, стара) –
Работой, неустанною работой –
Истоком и прибытками добра.
И чье же сердце не забьется гордо,
В чье сердце не вольется торжество,
Когда лучистый прикрепляют орден
На пролетарском знамени его!

Карачев – Брянск.
Все знаки верстовые,
Все вехи верстовые сохраня,
Та пядь земли влилась в простор России,
Как искра в пламень Вечного огня.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Край наш брянский
печатью столетий отмечен.
На заре становленья великой Руси
Он, родимич, у Дикого поля далече
Не единожды кровью ковыль оросил.
Если враг наседал, с колокольни над Свенью,
Оглашая далёкий и близкий предел,
Колоколище-бас не елейною звенью,
А набатом над Брынью сполошно гудел.
Отзывались в Трубчевске сердитые трубы,
И взлетали Карачев и Севск в стремена.
И червленые стяги сквозь пыльные клубы
Возносила горячей отваги волна.
Ни литва, ни татары, ни ляхи, ни шведы
Не могли покорить, не могли одолеть,
А когда возвращался добытчик победы,
Над спиною гуляла господская плеть.
Истлевала от пота холстина рубахи.

Загоралась душа, закипала с низов,
Сколько их отлетало с палаческой плахи –
Разохочих до волюшки буйных голов...
Над Десною седые холмы крутолобы.
Где ни стань, где ни глянь – корпуса,
Пролетарской, рабочей, испытанной пробы –
Город пальцами труб приподнял небеса.
За Десною поля по-российски пологи.
От цветов на лугах – небеса голубей.
Где ни стань, где ни глянь –
нет заросшей дороги.
Всё наливистей нива погарских полей.
За Десною в местах земляничных – землянки.
Обелиски стоят в боровичной глуши.
На сосновых стволах – осмолённые ранки,
И кукушка кукует в вечерней тиши.
Партизанской былиною стали дубравы.
Где ни стань, где ни глянь,
что душою ни тронь –
По плечу нашей Брянщине русская слава,
Над Курганом Бессмертия – Вечный огонь.

ФРОНТОВИКИ

Уходят в мир иной фронтовики.
Смыкаются железные ограды, –
Как будто залегли фронтовики
Перед рывком в окопах Сталинграда.

Леонид Мирошин

ПОДВИГ

Враг наступал,
И в блиндаже
Полным-полно
Убитых наших.
Ещё держались,
А уже
Он видел «без вести пропавших».
Хоть и запомнил имена, –
Как сообщить родным и близким?
Катилась на Восток война,
Погибших удлиняя списки.
Смерч бушевал снарядов, мин, –
Взлетало в небо поле брани.
В живых остался он один,
Один и тоже сильно ранен.
Но он стоял, стрелял…
Когда ж
Почувствовал, что покидают силы,
Окоп оставил и блиндаж,
Вернее – братские могилы.
Враг наседал, неукротим,
В броню до слепоты закован.
Но он пришёл,
Приполз к своим,
Чтоб не под силою закона,
По зову сердца
Счёт свести
И отомстить сполна убийцам,
И – победить,
Чтоб вновь цвести
Садам,
Пшенице колоситься.
Всё, как хотел солдат,
Сбылось:
Земля нас снова кормит, поит,
И пусть за океаном воет
Неукрощённым зверем злость,
Нам созидать,
Нам побеждать
В пути к извечной светлой цели,
Ни от кого-то счастья ждать –
Самим гореть в нелёгком деле.
Страна крутой подъём берёт,
Всю жизнь до корня обновляя,
Ракета вечный свой полёт
Свершает, мир весь изумляя!
Дворцы, заводы там и тут,
Штурмуют самолёты небо,
В густых хлебах машинный гуд…
Так былью стала
Сказка,
Небыль.
Нам полнят мужеством сердца
Коммунистические дали,
Как в том бою того бойца,
И тех, что без вести пропали.

* * *

Прикидываться, что моложе, мне негоже –
В груди тревожен сердца перестук,
Но счастлив тем, что совестью всё тот же,
Тот – двадцатитрехлетний политрук.

* * *

И вслух, но чаще втихомолку,
Забыв о скромности, горжусь,
Что скатка мылила мне холку,
Что локотками мерил Русь,

Что пролил кровь на бранном поле,
Что чуть живой приполз к своим.
Вот почему любил до боли
Жизнь, за которую стоим.

ДАВНЕЕ АУКНУЛОСЬ ВО МНЕ

Темно-красный голышок-окатышек
Я увидел на песчаном дне.
Только приподнял его, и, надо же,
Давнее аукнулось во мне.
Словно ратных былей продолжение,
Боль о павших шевельнулась вновь.
Видно, речка в память о сражениях
В камень спрессовала нашу кровь.

ОКОПНОЕ

Бывшему командиру
взвода полковой разведки
Сергею Чулкову

По фронту мёртвое затишье,
Ни огонька, ни звука чтоб...
Поднимешь голову повыше –
Увидишь вражеский окоп,
А то и дуло пулемёта,
А то прищур в прицеле злой.
Дурманно мается пехота,
Кляня бездействие и зной.
Ни с места фронт который месяц,
Одни разведчики полка
Ночами край передний месят
В надежде сцапать «языка».
И, славы воинской наследник,
Ворвавшись в огненный блиндаж,
Не первым ты и не последним
Победе жизнь свою отдашь.
А повезёт, пусть в том везенье
Не исключенье ты, а всё ж
Глаза засветятся весенне
И ты, как праведник, уснёшь.

А ПИСЬМА ОН НЕ ОТСЫЛАЛ

Светлой памяти Вани Запорожца

На каждом малом перекуре,
Пеньком случайным овладев,
Когда другие балагурят,
Он всё над письмами сидел.
Ответов не было из дома
Ему во взводе одному –
Ни от родных, ни от знакомых,
И я сочувствовал ему.
Я говорил, что все мы скупы
На письма близким и родным.
А он молчал, кусая губы,
И зло вдыхал табачный дым.
Когда его осколком сшибло,
То оказалось: он-то знал,
Что вся родня его погибла,
И письма те не отсылал.

ОТ ИМЕНИ ОКОПНЫХ ПОБРАТИМОВ

На войне дневников я не вёл,
На войне не до этого было.
На подворьях обугленных сёл
Нашу юность отмщеньем знобило.

Нынче хочется бывшим в боях,
Чтобы жизнь нас на труд горячила,
Чтобы летней порой на полях
Густо пенилась цветом гречиха;

Чтобы дол оглашала гроза,
А не гром орудийных раскатов;
Чтоб не смерть нам смежала глаза,
А задумчивость поздних закатов.

На войне я не вёл дневников,
Не сберег фотографий в конверте.
Только я не забыл земляков,
Смерть поправших своею же смертью.

Будь иначе, простить бы не смог
Ни себе, ни далёким, ни близким:
Слишком тяжек военный итог,
Слишком длинны утрат наших списки.

ШАГАЛ ДОРОГОЙ ФРОНТОВОЙ...

Бывшему моему связному
орловцу Фёдору Трошину

С солдатом случай был такой,
Что навек в памяти отмечен:
Шагал дорогой фронтовой
И завернул в избу под вечер.
Зашёл, как говорят, попить,
Поскольку есть и спать хотелось.
Но стоило в избу вступить,
Наигранность куда-то делась.
Ну что могли ему подать
В избе, ограбленной врагами,
Те, что с опухшими ногами
Бессильны были даже встать?
Тогда он сам принёс воды,
Отдал последние пожитки...
С тех пор в ушах из той беды
Звучит прощальный вопль калитки.

ПЕСНЯ ПАРТИЗАНА

Иду лугами росными,
Дорогой полевой,
Просторами колхозными
За голубой Десной.
Родная наша брянская
Лесная сторона
Тропою партизанскою
Нас к счастью привела.

Где шли бои жестокие
Под грохот канонад,
Шумят хлеба высокие
Весёлой песне в лад.
Огнями паровозными
Вся даль озарена.
Рабочая, колхозная
Лесная сторона.

Окину даль безбрежную,
Она, как сад, цветёт,
И сердце песню нежную
Слагает и поёт:
Родная наша брянская
Лесная сторона
Тропою партизанскою
Нас к счастью привела.

ГАРМОНИСТ

Туляку Д. Г. Волкову

В блиндаже – непроглядная копоть,
Распластались на бревнах тени.
Кто-то стонет...
Раненный в локоть,
Ты поставил гармонь на колени.
Мне казалось, затею оставишь.
И концерт твой не состоится.
Но ты правой коснулся клавиш, –
Посветлели солдатские лица.
И разбитая левая в муках
Возвратила подвижность пальцам.
Сколько мужества было в звуках
Воскрешенного в памяти вальса.

* * *

Землянск. Районная больница.
Бомбёжка. И в который раз
Возможность мёртвым очутиться
Мне представляется сейчас.
Лежу в больничном коридоре
Беспомощный, жду свой черёд.
Во все глаза гляжу на горе,
Что множит авианалёт.
Разрыв – и окна вылетают,
Второй – и рушится стена.
Но в хирургической «латают»
Танкиста, что всю ночь стонал.
И снова вой и взрыв, и – в небыль
И тот танкист, и те врачи...
А надо мной синеет небо,
А в небе мечутся грачи.

СНЫ И ЧАСЫ

Мы спали сидя, на ходу и впокот,
И всё ж любимых видели во сне,
Когда далекий журавлиный клёкот
Поведает солдатам о весне.
Но как рукой снимала сон команда
Ползти в туман «нейтральной полосы»,
Где через час всё станет сущим адом, –
А у комбата точные часы.

ВСТРЕЧАЯ НОВУЮ ЗАРЮ...

Подчас «спасибо» хочется сказать
Тому осколку, что прожёг мне ногу.
Когда б не он, что было бы, как знать,
А то вот жив, старею понемногу.
Не скрою, злоба долго душу жгла,
Но, как и боль, с годами притупилась.
Теперь у нас вершит свои дела
Не злоба – человеческая милость.
Так пусть же торжествует лишь она,
Одна она на всей родной планете,
Чтоб утром, просыпаясь ото сна,
Мы радовались жизни, словно дети.
Но в радости, при изобилье благ,
На что и стар и мал имеет право,
Да не забудем, что коварен враг,
То слева подбираясь к нам, то справа.
И я за то спасибо говорю
Осколку, изувечившему ногу,
Что вот, встречая новую зарю,
Примешиваю к радости тревогу.

ПОЛИТРУК

Чтоб ход войны переиначить,
И в незначительном бою,
Не полагаясь на удачу,
На карту ставил жизнь свою.
Он и к бесславью был поближе,
В сравненье с многими вдвойне.
А вот стесняется, что выжил
С такой судьбой в такой войне.

МЕДСЕСТРЕ

Неужели до любви немного,
Если руки горячо пожать.
Знал: меня ты просто, как «больного»,
На вокзал решилась провожать.
Но зачем пожатье рук такое,
И слеза с тоскующих ресниц…
Я тогда был так обеспокоен
Чувством, не имеющим границ.
Но, когда, смущаясь, попросила,
Чтоб привет другому передать,
Понял я, что ты душой красива,
Тем, другим, мне захотелось стать.

В КЁНИГСБЕРГЕ

Под хриплые аккорды старой домры
Пел Исмаил, что в жизни не везло,
Что горе выбирает самых добрых
И самых бескорыстных, как назло.
В припеве говорилось об отваге,
Нам так необходимой в час беды...
А на балконах рдели наши флаги,
Венчая славой ратные труды.

КОГДА СЕРДЦА ОТТАЮТ

На фронте слёз не выжмет смерть седая
Зов мести сушит воинам глаза,
Свинцом горячим в горле оседает
О павшем друге каждая слеза.
И оттого мучительней страдают,
Когда погибших в братскую снесут...
Только потом, когда сердца оттают,
Они легки бывают на слезу.

ДОЛГ И СОВЕСТЬ

А было ли в моём порыве чудо,
Когда на фронт я выпросился всё ж?
...Наступит в жизни трудная минута,
Ты ни себе, ни людям не соврешь:
Гражданский долг. И чуда нет в помине,
Коль совесть над тобой вершит свой суд.
Жаль, что парней порывистых и ныне
Нет-нет, да чудаками назовут.

ПОЛЕВАЯ СУМКА

Вот-вот – и загудит метель
В проломах и руинах зданий.
А мать никак всё не достанет
Хотя б какой-нибудь портфель.

Заходит в школу ребятня –
У многих полевые сумки.
И на осенней стуже руки
Синеют только у меня.

Я вижу, как томится мать,
Когда я собираю книжки.
Да и понятно – жаль парнишки,
А где в войну портфель достать.

Потом всё обернулось так:
Мне сумку сшили из клеёнки.
И вот замучили девчонки,
Увидят и орут:
— Рюк-зак!

Однажды нам привёз солдат
Письмо и сумку полевую,
Твердил про славу боевую,
Под вечер укатил назад.

Не понял я всего тогда:
На стенке сумка полевая,
И мать лежит как неживая…
…Ну, словом, так пришла беда.

Носил я книжки десять лет,
Носил наперекор девчонкам
В своей, пошитой из клеёнки,
А полевой не трогал, нет.

Но если враг навяжет бой,
Страшась цветенья наших буден,
Она во мне, как часовой,
Солдата-мстителя разбудит.

МОНОЛОГ ВЕТЕРАНА

В обычный день хожу я без регалий,
Что честно заработал на войне.
И люди, встретив, думают едва ли,
Как о солдате смелом, обо мне.
Скорее так: «По возрасту похоже,
Что он войны минувшей ветеран.
Но всяко было. Он, возможно, тоже
От немцев без оглядки удирал...»
Не удирал. Но отходил – без боя,
Когда не разберешь, где фронт, где тыл.
Вон сколько лет, а мне всё нет покоя,
Стыд – не осколок ржавый, не остыл.
Ты этот стыд сперва попробуй взвесить,
Тогда рази укором наповал.
Да, оставлял врагу родные веси.
Ну а потом их всё ж отвоевал!

Наталья Мишина

ПЕСНЯ ЛЕТЧИКОВ-ПЕРЕГОНЩИКОВ

Знают нас и Штаты, и тайга –
От Фербэнкса и до Красноярска:
Самолёты, чтоб разбить врага,
Мы должны перегонять с Аляски.

Мы летим, летим, а под крылом
Дышат смертью снежные вершины.
Согреваем собственным теплом
В небесах промёрзшие кабины.

Там, за бортом, минус шестьдесят,
А на фронте жарко от бомбёжек.
Только нет нигде пути назад,
Путь к Победе вместе мы проложим!

Ничего не зная про лэнд-лиз,
Нас живыми ждут родные дома.
Самолет, дружок, не падай вниз,
Дотяни ты до аэродрома!

СОН

Здравствуй, дед! Вернулся ты живой!
Мы тебя искали, вспоминали…
Ты еще красивый, молодой,
На груди и орден, и медали.

Где же был и где летал, ответь,
По АлСибу или над Берлином?
Часто ли встречал злодейку-смерть
На пути заоблачном и длинном?

Нет войны давно и нет в живых
Тех, кто ждал солдат и не дождался,
Тех, кто в роковых сороковых
Навсегда с Победою остался.

Дедушка, ну что ты всё молчишь?
Расскажи, судьбу свою поведай!..
Сон ушёл, как дым, в ночную тишь
Вместе с горьким запахом победы…

ПЛАСТИЛИНОВЫЙ АЭРОДРОМ

Мальчишки снова лепят самолёты,
У нас уже не дом – аэродром!
Из пластилина детские работы
Рождаются, как строки под пером.

Любимый авиационный остров
Вдруг вдохновил на тёплые слова.
Есть «Киттихаук», «Хэррикейн» и «Бостон»,
И даже сделан транспортный Ли-2.

Ребята, помня прадеда-пилота,
Читают сами книги про ленд-лиз…
И снова лепят, лепят самолёты,
Готовя для войны, а не в круиз:

Вся техника стоит рядами близко,
Есть бомбы под крылом – громить врага…
Блестят в Сибири звёзды обелисков,
Оплакивает лётчиков тайга.

Не суждено Руси кому-то сдаться,
Но и для счастья время не пришло…
Смотри, как отпечатки тонких пальцев
Впитало стреловидное крыло.

И как, интуитивно ли, с расчётом,
Углы атаки мастерски точны?!
Но я желаю техникам-пилотам:
Дай Бог вам никогда не знать войны!

СТИХИ ИЗ ЦИКЛА «УЛЕТЕВШИМ В ВЕЧНОСТЬ ПОСВЯЩАЕТСЯ»

о военных летчиках-перегонщиках секретной воздушной трассы Аляска-Сибирь, действовавшей в годы Великой Отечественной войны

ПОИСКИ ГЕРОЯ

Моему деду, военному летчику Артюхову Михаилу Сергеевичу посвящается

Молчат могилы и молчат архивы,
И в небе звёзды меркнут сгоряча.
Медали, ордена для тех, кто живы,
А всем ушедшим память и свеча…

Но где же ты, наш дедушка и дядя?
Куда летел? Чей выполнял приказ?
Быть может, ты, с небес устало глядя,
Волнуешься и молишься за нас?

Где смертью неминуемой дышали
Извечным льдом покрытые хребты.
Там сталинские соколы летали,
И, может, среди первых был и ты.

А может, в наступающей пехоте
Ты оказался средь убитых тел?..
Но нет… В своём последнем самолёте
К Победе и бессмертью ты летел.

И там уже невидимы границы…
Полёты в вечность выше всех путей.
Настанет день – придём мы поклониться
К могиле неоплаканной твоей…

* * *

Первому перегоночному авиаполку 1-ой Краснознаменной авиадивизии ГВФ

Над Аляской бушует гроза.
Пролетаем в окрестностях Нома…
На секунду закрою глаза
И представлю скамейку у дома:

Где-то вишни красиво цветут,
Где-то смерть наступила от взрыва…
Завершился б наш лётный маршрут
На другом побережье пролива.

Помоги долететь нам, Господь,
В Уэлькаль без единой потери.
И в висках начинает колоть:
Мы ведь толком пожить не успели…

Треск и встряска!.. Сейчас упаду!..
Загорелись от молнии крылья…
Набирает опять высоту
Молодой командир эскадрильи.

Нет же, нет, это падаю я…
Эх, прощайте, ребята, обидно…
Вон уже показалась земля…
Окончанья войны всё не видно.

ВСТРЕЧА НА БУЙНИЧСКОМ ПОЛЕ

Посвящается К. Симонову

Над полем снова зарево заката,
Сентябрьский ветер поднимает прах…
Меня встречают воины-ребята,
Стрелковый полк, воскресший в небесах.

Я с вами – каждой прожжённой частицей!
В земле и в небе с вами я, друзья!
Душа летит освобождённой птицей
Сквозь время в бесконечность бытия.

Вы помните наш «островок надежды» –
Победы символ в роковой войне?!
Я к вам вернулся, с вами я, как прежде,
Надеюсь, не забыли обо мне?

Я помню эти тридцать девять танков,
Я помню, как сражался Могилёв,
И зарево горящих тех останков…
Я с вами был… И вот я с вами вновь.

Спасибо вам за мужество и силу,
За то, что не сдавались и спасли
Вы Беларусь и светлую Россию
Такой ценой, что сами полегли.

Не просто вы ушли –
Живым примером
Останется ваш подвиг на века!
«Горячим днём» в кошмарном сорок первом
Сломили вы коварного врага.

Всю жизнь я помнил это поле боя.
Живых и мёртвых стал бояться враг.
Вы мне родные, близкие до боли –
И потому развеян здесь мой прах!

ОН УШЁЛ НАВСЕГДА

Он приходит во сне,
Орденами звеня,
И к Победной весне
Провожает меня.

А внутри всё дрожит,
Дым мне щиплет глаза,
Гром оружий страшит
Посильней, чем гроза.

Он не просто идёт –
Он ведёт за собой.
Впереди снова ждёт
Неминуемый бой.

Слышу взрывы и крик
В душном море огня.
С небесами на миг
Поменялась земля.

Он очнулся – седой,
С бледно-серым лицом.
И повёл за собой –
На родное крыльцо.

И сквозь ночь мне видна
Вся в бинтах голова.
«Познакомься: жена,
А теперь вот вдова».

В доме свечи горят,
Горя им не унять.
У иконы стоят
Две сестрёнки и мать.

А в углу, словно дух,
Между старых картин
Появляется вдруг
Неродившийся сын.

Стало тихо, свежо,
И сказал мой герой:
«Я проститься пришёл,
Не идите за мной!

А вон там, за холмом,
Где ромашки растут,
Вы найдёте мой дом –
Вечной жизни приют».

Я пошла налегке
За героем в рассвет
И держала в руке
Чуть увядший букет.

Как победно цвели
Этим маем сады!
Здесь солдаты прошли,
Оставляя следы…

Вон туда, где холмы
Вечно память хранят,
Где сегодня и мы
Вспоминаем ребят,

В тихий мир вечных слёз
К месту братских могил,
Обелисков до звёзд
И полётов без крыл...

Вдруг герой мой исчез,
Показалась заря.
Весь израненный лес
Встрепенулся не зря.

Он ветвями качал
Над моей головой,
«Победили!» - кричал
И прощался с войной.

И в какой-то момент
Средь сияния рос
Вижу я монумент
В окруженье берёз.

Он стоит, как живой,
Замеревший навек,
Мой знакомый герой,
Золотой человек!

Нет ещё тридцати
Недоживших им лет.
«Если можешь – прости
И возьми мой букет!»

Он ушёл навсегда,
Исчезая во мгле,
Но осталась беда
В каждой нашей семье.

Александр Нестик

В разные годы случалось мне записывать за ветеранами войны приглянувшиеся истории, случаи из их фронтовой жизни. Некоторые эпизоды вошли в рассказы («Пошлите меня за Жар-птицею», «Болят мои раны…»), иные же так и оставались втуне, заметками на пожелтевшей бумаге. Предлагаю читателям из неопубликованного пару таких заметок и рассказ.

* * *

Работал на изломе 60-70-х прошлого века в «Брянском рабочем» в должности зав. отделом новостей Иван Васильевич (из дальнейшего будет понятно, почему не называю полностью, – сам просил). Ветеран войны. Это был его второй заход в газету: до войны, в 39-м, был назначен зав. отделом писем, в войну ушёл газетчиком – в армию генерала К. Ф. Мерецкова, впоследствии маршала. Мне Иван Васильевич запомнился человеком с какой-то простодушной до наивности, искренностью. Газета выходила тогда ежедневно, то есть шесть раз в неделю, и беспрерывно требовала новостей – разумеется, общественно значимых. От всех отделов, но прежде всего, от профильного. Однажды случилось так, что никто ничего не мог дать в номер. На ежедневной утренней летучке редактор обводит тяжёлым взглядом два десятка голов, уткнувшихся в развёрнутые страницы свежей газеты, и сурово спрашивает: «Так что будем ставить? Неужели же во всей области ничего за сутки не произошло?!»

Повисшую гнетущую тишину разряжает голос Ивана Васильевича:

— Грачи прилетели!..

Зал летучек с готовностью взорвался смехом. А по размышлении, кто-то рассудил:

— А что, тоже новость! Смотря как подать. С севом связать, например…

Иван Васильевич победным взором обводит зал.

Далее – по записи в блокноте, от 26 марта 1970 года.

Вчера, иронизируя над собой, Иван Васильевич рассказывал, как далась ему война, робкому, а поначалу так и растерявшемуся. Жалеет, что не вёл дневников. Строго было: не писать ничего, кроме того, что нужно газете. Стихи он писал всё же – о неоправданных потерях, кровопролитии. Новый редактор попросил блокнот:

— Я знаю, примерно, о чём ты пишешь. Всё же, дай, посмотрю.

Посмотрел:

— Я тебя понимаю… Но если только об этом будем думать – не победим… Вот сейчас ты вернулся с передовых окопов. Ты там пробыл трое суток, что для газеты привёз?

— Ничего. Трое суток штурмуют передовую немцев и безуспешно. Только потери несём. О чём же писать? Ничего я не привёз.

— А ты обратил внимание, все ли на одинаковом удалении от окопов противника, или кому-то удалось подобраться ближе? У всех по фрицу на счету или у кого-то больше? Все ли стреляют метко или кто похуже? Вот если ты заметил…

— Да, это я заметил.

— Значит – молодец, и об этом пиши…

А мне уже героями казались бойцы, которые только пригибали головы, когда пролетал снаряд, а ещё больше – кто и совсем не кланялся… Поначалу иногда от страху хотелось себя за пальцы укусить, а челюсти не сжимались!..

Однажды был у комиссара полка, когда началась бомбёжка. Землянка ходила ходуном. На немецких бомбардировщиках, к тому же, были установлены сирены, имитирующие полёт бомб. И когда вой внезапно обрывался, значит – смерть, бомба упала близко. Сижу я и чувствую, что начинает трясти меня, слова сказать не могу. Комиссар говорит что-то, а я не слышу, вижу только, он разевает рот, а что говорит, не понимаю со страху… Тогда он порылся где-то, достал флягу водки и полкружки жестяной мне налил:

— На, выпей. Пей!

Я пью и не чувствую, что это – вода или водка. Совсем не ощущаю вкуса, понимаешь? Только минут через пяток вдруг стало отлегать, отпустило…

А то ещё был случай, только ты, если кому и рассказывай, то не называй, что это со мною было… Шолохову бы этот случай, он использовал бы! Пробирались из окружения. Кольцо было разорвано, дорога рассёдлана, и мы устремились на автомашине в горловину. Я сидел в кузове, оттуда легче спрыгивать, да и меньше стреляют по нему. И вижу, как пули трассирующие прямо ползком по кабине вж-ж, вж-ж… Ощущаю, что живот мой вот-вот подведёт. Срам же, что будет! И когда почувствовал, что уж совсем невмоготу, по кабине кулаком ка-ак ударю. Машина – на тормоз. Я – в кусты. Сел. А за мной боец-попутчик с автоматом летит, а шофёр уже чеку из гранаты выдернул. Бегут, думают, что надо занимать оборонительную позицию. За тридцать метров отбежали. Глядь, а дело-то вот в чём! Тут уже до упаду смеялись.

Войну прошёл Иван Васильевич насквозь. Грудь по праздникам – в боевых наградах. Странно, поведение изменилось, а характер – всё тот же: «Грачи прилетели…», – с милым простодушием.

* * *

5 ноября 1972 года.

Прокоп Степанович, редакционный шофёр, в войну на полуторке ездил. Однажды потребовалось восстановить шестерёнку коническую. А как?

— Сваркой наваривал. Три дня потом глядеть не мог. Такая боль. Но делать нада: война идёт – а машина стоит! Через три дня сделал я из свинца шаблон. И напильничком стал подгонять. Да так и выпилил шестерню. И ещё полтыщи километров проехала со мной…

Такая (не его ль?) полуторка, стоит на постаменте при въезде в Брянск со стороны Орла.

* * *

23 ноября 1972 года.

Из письма в редакцию: Анна Кирилловна Петрухина во время войны безвозмездно выстирала две тысячи солдатских окровавленных ватных фуфаек.

Из рассказа «ПОШЛИТЕ МЕНЯ ЗА ЖАР-ПТИЦЕЮ».

…Его жизнь. Может ли быть что несообразнее! Виктор Алексеевич и сам более всех удивлялся её нелепости.

— Ты не поверишь, какой я на фронт пришёл. Получаю, скажу тебе, новое ружьё… Ну, какое-такое? Пэтээр! Против тигра ихнего, значит. Так вот, скажу тебе, кажись, поставь меня самого против ружья, шарахни по груди, а я и не пошатнусь, только вперёд подамся – вот так… Шёл, думал: ну, держись, фрицы, так вашу! Натворю…

Когда он говорил это, выпячивая впалую грудь и «страшно» пуча глаза выцветшего синего ситца, невозможно было удержаться, не отвести взгляда. Он и сам тут же спохватывался и улыбался, словно морщился. Да и морщился, но уже без боли, а привычно, с готовностью от души вместе посмеяться с собеседником:

— Натворил… – Даже и хохотнёт, крутнув седой, стриженной «под бобрик», головою. – Смех и грех.

Какой уж тут смех. Кому и впрямь очередью грудь крушило, кого гусеницами в землю вдавливало, а он посредь всего ада, вместо воды (не водки – воды! – ему можно верить), хватил аккумуляторной кислоты на временном бивуаке.

— Разгорячился, скажу тебе, плавлюсь, прям-таки, а тут кружка стоит, возле умывалки… Я – хвать!..

Полжелудка сразу вырезали, а ещё столько-то после войны. А тогда из госпиталя он вернулся к своему противотанковому.

— Почижилело ружьецо-то, а ничего, тащили с напарником напеременку до победного. Кому из фронтовиков ни расскажу, не верят: «Чтоб, говорят, всю-у войну с пэтээром – и чтоб жив-невридим?!» – «Пошшупай, – отвечаю, – видишь, живой!».

И приохочивающе хохотнёт.

Да, живой-то, живой, но уже к сорока пяти, когда я с ним ещё только познакомился, в старичинку высох.

И всё он зяб. До самого Дня Победы не снимал потёртой цигейковой ушанки на вате, а коричневым в клеточку шарфом так и всё лето кутал колючую жилистую шею…

Представить только: этот тщедушный человечек выходил на поединок с самой бронированной смертью! И – побеждал?! Совсем на днях смеялся:

— Лебезный, совсем лебезный стал. Вот взял бы сейчас то ружьё, да приложился – так мне, стрельцу, и кости попереломало бы отдачей! Правду говорю…

На землистом лице Виктора Алексеевича щетина мнилась даже когда он выбрит до блеска, что, впрочем, и редко бывало. Но бывало – в неисповедимые сроки душевного подъёма. С выцветших глаз тогда уходил дым усталости, и они становились неправдоподобно при его мощах живыми, как у святых на иконах. Казалось, всё остальное в нём и тлело для того лишь, чтобы поднакопить силушек для огоньков-подёнок в синеватых сумерках глаз…

«БОЛЯТ МОИ РАНЫ…»

Этот монолог, изредка перебиваемый мною-собеседником, мог быть услышан тогда в купе скорого поезда, у речного парома на дряхлых карбасах или у комбайна, пока комбайнёр, помощник и я, залётный корреспондент, ждали подвозки воды для вскипевшего радиатора. Недолгая встреча с расставанием навсегда – особенно располагает к безоглядной откровенности. Но разговор, сумеречной порою, случился в моей квартире, где на какое-то время приютил я Алексея Юрьевича, далеко нестарого инвалида Великой Отечественной, с его дочкой-десятиклассницей Валей. Переехал с Урала, там оставил жене (и, кажется, малолетнему сыну) квартиру. Несколько

раз, пока ждали постоянного жилья, Валя заказывала междугородний разговор с матерью. Почему уехала с отцом, не спрашивал.

В своём уральском городе Алексей Юрьевич занимал довольно видное положение, коль его на охоту, на рыбалку, бывало, брал сам ссыльный Маршал-Победа. Однажды их лодка, рассказывал, чуть воды не черпала бортами от набитой доверху птицы.

— Да куда ж вам столько?!

— Азарт! Да и что – птица, мясо пернатое? Тут твоя жизнь на кону, дунь – и полетит, как пёрышко, а это утка… Раздавали.

И, должно быть, как и опальный маршал, Алексей Юрьевич в личной жизни не мелочился. Но, в отличие от маршальских, аппетиты были скромными. Как-то, собираясь набрать по телефону директора спортивного магазина, дабы воспользоваться фактически служебным положением, пояснил нам, коллегам:

— А вы листали пятнадцатитомную «Медицину в Великой Отечественной войне»? Семьдесят, если не восемьдесят, процентов раненных в грудную клетку заболевают туберкулезом или раком лёгких… Может, мне осталось два года жить, а я буду урезать себя, отказывать себе в тех мелочах, на которые право кровью купил?

А и просил-то всего лишь: оставить ему несколько дефицитных тогда удилищ да какую-то уловистую леску. И так же, в обход, заказывал через кого-то в Москве итальянскую кофеварку… После сокрушался:

— Может, зря? На кой мне эти удилище, японская леска, а? – словно хотел со стороны взглянуть на себя.

Собеседником он редко бывал лёгким. Всё, казалось, прощупывал вслепую, не доверяя ни глазу, ни сердцу: а не оскорбил ли кого; а не будет ли это неудобно; а … И делал это частенько через меня, найдя (тоже на ощупь?), как ему казалось, инструмент, вроде камертона, безропотно и сочувственно отзывающегося на все его излияния... Но однажды инструмент взбунтовался…

Выведенный из себя его заунывными речами, я как-то сказал, каюсь, довольно развязно:

— Вы, Алексей Юрьевич, так смотрите на мир, как если бы строгали топором тесину, а толщину её пытались бы замерять микрометром. Всё тончите…

Он резко повернул ко мне бледное лицо, но ответил, улыбнувшись, – устало, одними глазами, светло-серыми, словно выцветшими:

— Я тоже не раз так думал. Только не додумался до этого микрометра… Да, так. Гляжу с каждым годом всё тоньше. Тоньчу…

— Но, может, всё оттого, что вы слишком, чрезмерно уж, не доверяете собственному организму? Знаете, это же так естественно в вашем положении. Чуть что с телом, а вы уж и духом готовы падать – дескать, может ли быть иначе?

— Н-не-ет, я-то себя знаю, прочувствовал!..

— А не по привычке ль? Иллюзия, так вам хочется…

— Скажи, тебя испытывали на нервный рефлекс?

— Это когда молоточком по коленке? Да я и сам себя испытывал!

— Ну, и как?

— По одной коленке ничего, а по другой – как ударю, так нога выше головы подпрыгивает. Я даже забеспокоился, не спроста же врачи стучат, и раз она так подпрыгивает, значит, что-то очень не в порядке…

— Х-ха! – негромко и вяло. – Уже забеспокоился… А у меня в сотни раз, да что – в сотни милльонов… хуже, в тысячи миллионов! И сколько загадок случалось! Ни с того, ни с сего температура поднимается до предела. Вот-вот кровь начнёт сворачиваться. С лёгкими – что? Проверили – всё, как было. С бронхами? Ничего. Что-нибудь в плевральной полости (знаешь, тут вот плевра есть?), скопилось что? Взяли пробу, тянули… Нет ничего. На рентген! Вот отсюда досюда – затемнение. А этого по всей науке быть не может! Ну, что остаётся? Может, сегодня медицина и отгадала бы, а тогда, в сорок шестом, оставалось одно – посмотреть, пощупать. Разрезали. Не усыпляли, только местная анестезия, – нельзя, мог и не проснуться. Открыли, заглянули, плечами пожали и снова зашили… А сколько

их было ещё, тёмных, случаев! Я за эти двадцать с лишним лет уже сам поднаторел кое в чём, так, что не всякий врач со мной спорить решится. Я знаю, где и что болит… Бывает, всё болит. И знаю, вот дай мне отпуска месяца три, без содержания, с июня по август, и стану на ноги, и, может, ещё несколько лет протяну…

— Так что ж вам мешает? Разве ж не поймут?

— Понять-то поймут! Но и я должен понимать: когда меня сюда брали, главный спросил: «А бюллетенишь часто?»

— И что вы ответили?

— А что бы ты сам ответил в таком случае?

— Ну, как… Наверное, рассказал бы, как есть… Вы разве виноваты?!

— Никто ни в чём не виноват. Он сам – инвалид Отечественной, и понимает. Правда, рана ране рознь. У кого руки-ноги нет, а я… меня всего нет, на чуде живу. Да дело не в этом. Он всё понимает, а всё же спросил: «Бюллетенишь часто?». Тонкость эту я должен сознавать, если ещё человек?! Вот те и микрометр… Я часто вынужден копаться в таких тонкостях. Едешь в троллейбусе, и чувствуешь вдруг, что стоять невмочь больше, упаду, а не падаю потому только, что со всех сторон жмут и удерживают. Но разве могут уступить место, и разве могу я сам, такой с виду молодой – мне ж всё равно не дашь больше сорока, – могу ли попросить: уступите местечко инвалиду?!. Сколько раз бывало тоже: сидишь, едешь, а тут же толстая женщина стоит над тобой. Но ей трудно от жиру, а я подняться не могу… А она стоит и пожирает тебя глазами, только-только не скажет: «Как не стыдно!». А то и скажет, сколько раз было… На мне ж не написано, что со мной!

— Ну, не знаю, – вдруг кипячусь и сержусь неизвестно на кого, – почему не заведено, чтобы инвалид вешал на грудь, обязательно, какой-то знак заметный – допустим, звёздочку с алой лентой, символом пролитой крови?! Ведь можно же?

— Можно, конечно. Да будет ли каждый носить? Хочется-то быть человеком, как все… Хоть чуть-то, хоть по взглядам не узнавать, что не равный им. Ну, вот опять скажешь – тонкости, микрометр…

— Неужто это чувство сильнее хотя бы того же инстинкта самосохранения? Вы не возьмёте три месяца отпуска, когда-нибудь так и не попросите места в троллейбусе – а ведь всё это в самом деле стоит вам дней или даже лет жизни!

— А вот был бы на моём месте тогда, в сорок пятом, – зло пошутил он, доброжелательно, однако, сощурив глаза, – всё понял бы … О чувстве самосохранения говоришь. А в чём оно, не в том ли, чтобы просто жить?

— А как это с вами было тогда? Вы никогда не рассказывали…

— Я и сам не всё помню. После кое-что рассказывали мне, что-то сам восстановил в памяти… Там-то и в самом деле всё было просто, грубо. Без тонкостей… Попал в крупорушку из военного училища в самом конце войны. Впервые услышал, как скрипят шестиствольные миномёты и как зловеще воют их мины – просто вжимают в окоп… Случалось, гимнастёрки исполосованы со спины и ремень изрезан – осколками, когда вжимаешься в землю… Трудно подняться. Комвзвода наш просто не хотел ложиться и всё время старался ходить, потому, что никакая даже секундная задержка его на лёжке, когда поднялась ракета, – не простительна. Трусливые обычно лежат дольше и поднять под огнём их просто невозможно. Наш пулемётный расчёт (четыре пуда пулемёт станковый да пуды зарядов) – лучшая мишень для противника: передвигаемся кучками и совершенно беззащитные… Всё равно, что утки для охотника… Когда атака захлебнулась, трое нас залегли в воронке, и слышали, понимаешь, всей кожей чувствовали, как немцы долбают минами наше поле. И назад ни шагу, и вперёд не уйдёшь, в мёртвую зону, – пулемёты шпарят, и лежать – погибель верная. Один не выдержал, и мы видели, как его пополам согнула очередь. А мы дождались мины. Когда наша завыла, только и успели друг на друга посмотреть. Дальше не помню ничего. В сознание пришёл, когда меня на носилках поднесли к биплану, кукурузнику. На

крыльях у него было по сигаре – специальные футляры, вроде школьных пеналов, для перевозки раненых. В одну такую меня впихнули вместе с носилками, колпаком закрыли. Полетели. Обстреливали, я был при сознании и всё переживал, – тут он снова улыбнулся вяло, – что прошьёт в этом футляре на крыле. Когда стрельба стихла, я успокоился и, наверное, снова потерял сознание или плохо запомнил, что дальше было…

— А с тем другим, что в воронке оставался с вами, – что?

— После войны разыскивал – и не нашёл. Я чудом жив остался, но не могло же случиться два чуда кряду!

— И что же дальше?

— Считал по госпиталям не месяцы, а годы. Тоже просто и грубо. А тонкости только потом начались, когда ожил и жить захотелось. И жить – как все! Разве жизнь много просит? Она – так: уж если жить, так на всю катушку!.. А раны… Раны – что ж, они болят…

Умолк. И всё так же вяло улыбнулся.

Между нами тогда легло поле. Бескрайнее.

Алексей Юрьевич не собирался надолго задерживаться не только в моей квартире, но и в наших краях, а может, и на белом свете... Вскорости его взяли собкором одной из центральных газет по строительству автогиганта на Волге. Уезжая, попросил подарить четырёхтомник Ушакова. Словарями, особенно толковыми и этимологическими, знал он, я очень дорожил, и всё же... Но мог ли ему отказать?

Уехал – и ни звука, ни письма. Только по его газете и видел: живёт «на всю катушку». Бескрайнее поле, непереходимое, как легло тогда между нами, так и лежит до сих пор. Хотя собеседника моего уже лет сорок, как нет на свете.

Алексей Новицкий

БАЛЛАДА О БОГАТЫРСКОЙ ЗАСТАВЕ

…Населённый пункт Струна.
Шесть дворов. Один колодец.
– Необстрелянный народец, –
Окрестил их старшина.
Старшина был прав, однако:
Ну какой он там вояка –
Выпускной 10 «А»?
А приказ – такой короткий
И, как штык, суров и прям:
«За рекой отходят роты.
Впереди – Гудериан.
Задержать. Любой ценою».
А какая тут цена,
Если вот он за спиной
Населённый пункт Страна?
Смотрит взглядом синим-синим.
Шепчет ласково: «Сынки…»
…Бой тот помнят и поныне
В деревушке старики.
Раскалённый, полуночный,
Смертный бой, а не урок.
Не попавший даже строчкой
В сводку Совинформбюро.
Бродят сонные рассветы.
И дурманит мурава.
Но не знает он об этом,
Выпускной 10 «А».
Спят мальчишки на поляне,
И не снится им тот бой.
…А в деревне на баяне
Вальс играют выпускной.

* * *

Кругла земля или плоска,
Не так уж истина проста.
Спросите старого солдата,
И он вздохнёт:
— Земля горбата.
Была она бы поровней –
Да сколько, вишь, могил на ней.
Кругла земля или плоска?
В глазах – воронками – тоска…

НОЧНОЙ КОНЦЕРТ

В конце жизни Г. К. Жуков любил слушать записанные на магнитофон голоса птиц

Жуков слушает щегла.
Птаха, удержу не зная,
Ну выводит!
Мать честная,
Маршала в полон взяла.
Скворка, жаворонок, сойка...
Берендеевский концерт.
Он лежит на узкой койке,
Притушив коптилки свет.
Шаровары и футболка
С допотопным: «ЦДКА»...
А на плёнке перепёлка
«Завлекает» старика.
Чу – проклюнула синица.
И кукушка: мол, живой?
Посреди Москвы-столицы,
Посреди молвы людской,
Посреди хулы и славы,
Тех, что падали к ногам,
В двух шагах от переправы
На последний свой плацдарм,
Он лежит – просторно, вольно,
Будто у костра в ночном.
Слушает.
За все за войны.
И за всё, что там, потом...

У КУРГАНА БЕССМЕРТИЯ

Над Курганом Бессмертия – осень.
Шебуршит золотая пурга.
И деревья стоят, будто лоси,
Уронив друг на дружку рога.
Все тут словно в замедленной съёмке –
Мысли, взгляды, шаги, облака.
Мы бредём по невидимой кромке,
За которой укрылись века.
Там, за нею, – и тризны, и сечи,
И воронок живучий бурьян.
Всё сутулит могучие плечи
И всё смотрит куда-то курган.
И в щемящие эти минуты
По глазам резанёт синева!
...Благодарным, суровым салютом
Над курганом восходит листва.

КИНОХРОНИКА

Парад сорок первого года.
Снежинки на жалах штыков.
И нету иного исхода.
И нету возвышенных слов.
Всё просто.
Как эта брусчатка.
И этот седой мавзолей.
И эта слеза, что украдкой
Содрал ты с шинели своей.
Ещё далеко до салютов.
Ещё впереди Сталинград.
Ещё будет горько и круто
И всё-таки это – парад.
В огонь им – по красной ракете.
Кто выживет в этом аду?
...Меня ещё нету на свете,
Но я в той шеренге иду.

РАСПИСАЛСЯ ШТЫКОМ НА РЕЙХСТАГЕ...

Я солдат из Второй мировой.
Из Отечественной. Великой.
И совсем, вам скажу, не герой
И могила моя лебедой
Поросла, повиликой.
Под Москвою на танки я шёл.
В Сталинграде убит был стократно.
Меня снайпер под Брянском нашёл...
Но – убитый – я в строй встал обратно.
Сколько сам я друзей хоронил
На продутом свинцовом пригорке!
Писарям не хватало чернил,
Чтоб послать матерям похоронки.
И потом убивали меня
На болоте, в степи и в овраге.
Но, назло похоронкам, и я
Расписался штыком на рейхстаге.

В РАЙОННОМ МУЗЕЕ

Кто их тут положил у стены
Между сотен других экспонатов –
Наконечник татарской стрелы
И рубашку немецкой гранаты?
Это что за смещенье эпох?!
Но я вздрогнул: расслышанный еле,
За спиною почудился вздох:
«Две такие орды одолели...»

НОЧЬ НА 22 ИЮНЯ

Да, короче ночей – не бывает.
Так с чего же заснуть не могу?
Костерок заполошный мигает
На крутом, как волна, берегу.
Что он хочет сказать, недотёпа?
Что он может, пугливый малец?
Вижу я: по запутанным тропам
На охоту выходит Стрелец.
От него Козерог убегает.
Мчатся Гончие Псы по следам.
Косы Дева свои заплетает,
Будто дочка моя по утрам.
Ковш навис над рекою бездонный,
Задевая дома и сады.
То Медведица хочет из Дона
Зачерпнуть медвежонку воды.
Спят деревья, и песни, и птицы.
Лишь рыбак на шальном костерке
Сочиняет из Рыбы ушицу
В прокопчённом, как ночь, котелке.
Всё людское на звёздных просторах!
И себя не могу превозмочь:
В небе слышится рокот моторов
В эту самую длинную ночь.

Анатолий Остроухов

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!

Так ждали все тебя, Великая Победа!
На фронт работала и верила страна,
Что будет враг разбит, зло снова канет в Лету,
Кровопролитная закончится война.

Так ждал тебя и я, Великая Победа!
Когда настал тот день, мне было только шесть.
Но помню: без ноги встречали с фронта деда,
И быстро разнеслась в селе об этом весть.

Я помню до сих пор скупые слёзы женщин,
Не зная всех причин для этих общих слёз,
Но понимал одно, что радости в них меньше,
Чем радостных вестей, что дед с войны принёс.

Я плакал, что отец мой не вернулся с фронта…
«Он не погиб, сынок», – так мать твердила мне,
А вечерами выходила за ворота,
Чтоб волю дать слезам, побыть наедине…

Дождались мы тебя, Великая Победа!
Мы не забыли жертв, и помним до сих пор:
Жизнь дедов и отцов Победою воспета –
Врагам Отечества достойный дан отпор!

СЕМНАДЦАТОЕ СЕНТЯБРЯ

Дню освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков, посвящается

О, сколько эмоций, волнений
Вливается в душу мою!
Сегодня парад поколений,
Сегодня я дань отдаю

Всем тем, кто делами своими
Не раз подавал мне пример!
В шеренге идут вместе с ними:
Дошкольник, студент, офицер.

Проходят в строю патриоты –
Герои немеркнущих лет.
Им все покорились высоты
Великих, но трудных побед!

О, сколько эмоций, волнений
Семнадцатого сентября! –
Сегодня Парад поколений
Встречаю на Брянщине я!

ЮЛДУЗ

Светлой памяти узбекских женщин,
взявших на воспитание эвакуированных детей
в годы Великой Отечественной войны,
посвящается

(квартет октав)

I

Война… Эвакуация… Дорога…
Детей войны везли в Узбекистан.
И до него мы ехали так долго –
Казался он одной из дальних стран…
Он встретил нас по-дружески, не строго,
Как жаркий и огромный океан,
Оазис и терпенья, и спасенья,
И доброго, душевного общенья…

II

Тебе сегодня гимн, Узбекистан,
Пою я, вспомнив грозную годину!..
Среди детей и я – худой пацан –
Тогда мне пять лишь было с половиной.
Меня взяла к себе семья дехкан,
И откормила, не дала мне сгинуть.
До смерти буду часто вспоминать,
Как мне узбечка заменила мать.

III

Юлдуз её сельчане называли,
На русский переводится – звезда.
Она меня, как сына, согревала
Своим теплом в лихие те года.
Мне самым близким человеком стала,
И отступила и ушла беда…
И я ведом по жизни той звездою,
Счастливой и приветливой судьбою.

IV

Благодарю тебя, Узбекистан!..
Земной поклон моей узбекской маме,
Что подарила жизнь, как талисман,
Спасла любовью, нежными руками,
И исцелила от душевных ран
Той верою в Победу над врагами!..
И светится в душе моей Юлдуз,
Как символ прежних добрых братских уз!

НЕ ЗАБУДЕМ МЫ СЛАВНЫХ ГЕРОЕВ

Не забудем мы славных героев,
Кто сражался на фронте – в бою.
Они знамя несли боевое,
Защищая Отчизну свою!

Не забудем мы славных героев,
Кто «вёл бой» на заводах, в тылу.
Они знамя несли трудовое,
Приближая к Победе страну!

Не искали отцы наши славы,
Но их подвиг в веках негасим.
Не сдались они в битве кровавой –
Так издревле велось на Руси.

Не забудем мы славных героев,
Сбережём о них память свою…
Не уйдут из почётного строя –
Все они будут вечно в строю!

Во всех странах – далёких и близких,
Где гремела войны той гроза,
Будут вечно стоять обелиски,
Устремляя свой взор в небеса.
Всех героев мы помним поныне,
Шли к Победе они до конца.
Русской славы, геройства святыни
Нам волнуют сегодня сердца.

Не забудем мы славных героев.
Люди дань им свою отдают.
И гремит над Россией родною
В честь Великой Победы салют!

СЛАВНАЯ ДАТА

День переполнен ликующим маем,
В сквере асфальт меж газонов пролёг…
Да, мы с тобою, мой друг, вспоминаем:
Трудные вёрсты военных дорог;
Вёрсты прогорклого дыма и зноя;
Ветер в лицо, холодящий висок;
Голос уже отгремевшего боя;
Самой последней атаки бросок;
Вёрсты затишья, где нас окружала
Плотной незримой стеной тишина;

Вёрсты соседства людей и металла –
Это – не выдумка, это – война…

Славная дата! Великая дата!
Празднуй Победу, товарищ солдат!
Праздничный сквер у Большого театра
В солнечных отблесках лиц и наград.

ВО ИМЯ МИРА И ПОБЕДЫ

Когда встречаемся с тобой,
Мой старый друг, товарищ давний, –
Мы вспоминаем первый бой,
Страду тревог и ожиданий.

Война прошла, но не ушла
Из нашей грозной общей были –
Иные годы и дела
Её собой не заслонили.

Забот немало у земли,
Вершится жизнь в обычном круге.
Как быстро дети подросли,
А тут и появились внуки.
Пусть мирно так текут года!..
Чтоб не познали внуки беды,
Мы шли с тобой в огонь тогда
Во имя Мира и Победы!

МЫ ПОМНИМ…

О погибших мы помним… Они, как всегда,
В день Победы нисходят на землю,
Чтобы нам рассказать то, что было тогда –
Мы – живые – рассказам их внемлем.

Каждый год, в этот день,
под торжественный марш
На параде мы с ними проходим.
Нерушимый всегда строй останется наш –
Вечной славы России синоним.
И звенит колокольный малиновый звон
В честь солдат, что погибли в сраженьях.
Горьким эхом всегда откликается он
В каждом сердце в такие мгновенья.

Каждый год поминаем мы их за столом,
Фронтовые сто грамм наливая.
Канонады далёкой нам слышится гром,
Когда в небе салюты сверкают.

Владимир Парыгин

ОДНОПОЛЧАНИНУ

Вот и мы с тобою стали капитанами,
Отслужив не шесть –
Шестнадцать лет.
Не коврами да цветочными полянами
Устлан путь наш был по службе,
Нет!
Нет,
Нам привелось изведать очень многое –
Все невзгоды матери – земли.
Мы по шесть годов солдатскою дорогою
Рядовыми срочной службы шли.
Шли мы,
Чтобы юные, беды не ведая,
И учиться,
И любить могли.
И не нам с тобою, друг,
Сегодня бедовать:
Вот, мол, молодые обросли.
Пусть растут.
А нам уже война ли, годы ли
На виски походной пыли намели.
Выше голову седую, друг!
Мы отдали
Всё Отчизне,
Только в землю не легли.
И не мы виной тому,
Что смерть не тронула
Ни меня в походах, ни тебя.
Пусть растут, дерзают юные и стройные
Пусть живут, волнуясь и любя!

БЫЛО

Зачем роптать. Ведь было, было?..
Был горек хлеб, война была.
Была работа не по силам,
И смерть безжалостно косила,
Но жизнь опять своё брала.

Зачем скрывать, ведь было, было?..
Была весна, зима была.
И было – женщина любила,
И было – в трудный час забыла
И в «лёгкий» мир с другим ушла.
Зачем жалеть,
Ведь было, было?
И счастьем жизнь не обошла,
И горем –
Нет, не обделила.
И о наградах не забыла,
И многое свершить дала.
Ласкала жизнь
И больно била –
Не пожалела ничего.
С лихвой бы на троих хватило
Того, чем щедро одарила
Меня за что-то одного.
Оно со мной –
Всё то, что было.
Но сколько мне ещё дано:
Любовь, и помыслы, и силы –
Я всё отдам Отчизне милой.

Покуда сердце не остыло
Ей будет предано оно.

ЭХО ВОЙНЫ

Разгладились поля за годы мира.
Воронки и траншеи заросли.
Но за селом заржавленную мину
Мальчишки любопытные нашли.
Возились долго с ней,
Не зная страху.
Пока один, что сверстников бойчей,
Её не бросил со всего размаху
На груду залежалых кирпичей.
И смерть, дремавшая в той мине кротко,
Освободясь от скорлупы стальной,
Рванулась к малышу –
И в миг короткий
Взяла его у матери родной.
Свело его лицо от страшной боли.
Он крикнул: «Мама!» –
Ткнулся, не дыша.
Зачем,зачем,
И не на бранном поле,
Погибла эта светлая душа?!

И БЫЛ ИЮНЬ...

И был июнь,
И рожь входила в колос,
Вставали стройки,
Плавился металл...
И девичий,
Грудной и грустный голос
Кого-то ждал в ночи,
Кого-то звал.

И падала роса на многоцветья
У пограничных
Западных застав.
Готовые
И к смерти, и к бессмертью,
Стояли часовые на постах.

И был покой.
Окончив день рабочий,
Накапливая силы для труда,
Страна спала,
И на исходе ночи
Еще не знала,
Что пришла беда...

И был июнь,
И рожь входила в колос... И вдруг,

Затишье городов и нив
Зловещими громами раскололось,
На «ДО» и «ПОСЛЕ»
Время разделив.
...Взметнулось пламя
В городах и селах.
В крови – земля,
И стон, и плач детей...
Страна моя,
С твоей судьбой тяжёлой
Мы накрепко слились
Судьбой своей!

Мы шли
По тем дорогам отступленья,
Где полыхали на корню хлеба,
Несли,
Осатанев до исступленья,
В сердцах солдатских
Верность поколенья
И скрежет горькой пыли на зубах...

Потом был Май
И Марш Победы нашей:
Над смертью
Восторжествовала жизнь!
В цеха заводов,
На просторы пашен
Пришли солдаты,
Разгромив фашизм.

И возродившись из руин и пепла,
Окрепла, расцвела Отчизна-мать
Но тот июнь
И горький час рассвета
Мы не имеем права забывать!

ПЛОТОГОНЫ

Плотогоны уплывают
В край далёкий по Десне,
Уплывая, напевают
О походах на войне.

И течёт Десна, и движет
К новостройкам брянский лес:
Может, в Киев,
Может, ниже
По теченью, к самой ГЭС.

И под небом полудённым,
В южной дальней стороне,
Будет песня плотогонов
Разливаться по волне.

И зовёт меня, и манит
Эта песня над рекой,
И опять мне сердце ранит
Из военных лет строкой.

МАША-МЕДСЕСТРА

Юлии Друниной

Юною девчонкою,
Маша-медсестра,
С нами вместе,
Тонкая,
Грелась у костра.
С нами вместе ела ты,
В штыковую шла,
Наши песни пела ты,
На снегу спала.
Хрупкая и слабая,
Сколько в жизни раз
Из огня,
Из пламени,
Выносила нас.
Внешне огрубевшие,
Как сестру, любя,
Мы в атаках бешеных
Берегли тебя.
Берегли от блудящих,
Берегли от мин
Для того, кто в будущем
Будет сердцу мил...
Но в одном сражении
За клочок земли
Машу от ранения
Мы не сберегли.
Маша,
Маша,
Машенька!
Раны боль остра!
Ты прости нас, Машенька,
Наша медсестра!
Как ромашка, скошена
На виду у всех...
Красные горошины
Падают на снег.
Юная.
Курносая.
Храбрый наш солдат!
На руках я нес ее
В ближний медсанбат...
В глубь России раненых
Поезда везли.
Мы весною раннею
По Европе шли.
Но Победа, жданная,
Не свела дорог:
Адреса желанного
Я найти не смог.
Где?
В какой ты местности?
Как сложилась жизнь?
Машенька, ровесница,
Друг мой!

Отзовись!
Или вечной памяти?..
Нет!
Не может быть!
Ведь сражалась с нами ты
И должна жить с нами ты!
Слышишь, Маша:
ЖИТЬ!

ВЕТЕРАНЫ

В.А. Гришину

Поседели ветераны,
Поседели...
Или это пала пыль дорог?
Поредели кудри,
Поредели
Под ветрами странствий и тревог.
Стали мускулы не столь тугие,
Раны чаще и сильней болят...
Только мы душою не другие –
Всё такие ж,
Как тогда,
В боях.
Не хотим летам своим сдаваться,
Перед веком сложным пасовать.
Все пытаемся за дело драться,
За летящей жизнью поспевать.
Так живем.
За правду-мать болеем.
Всюду ищем для себя хлопот.
Только жаль:
С годами мы стареем –
Время быстро всё-таки идёт.

Владислав Пасин

*** * ***

«Я убит подо Ржевом»…
Со свинцовою силой,
словно пули,
вонзаются в душу слова…
До сих пор ты мне снишься,
отец мой любимый.
И твоя опалённая
в битвах братва.
Я искал тебя долго
в краю незнакомом,
Но не знал, что навеки
в кромешной ты мгле.
Что ты пал за Россию,
как воины многие
На Тверской очень древней
и скудной земле.
Сколько Вас потеснилось
в могилах тех братских,
Где пока даже нет
и простого креста,
Где весной пламенеют
лишь алые маки,
Как невинная кровь
молодого Христа.

Сергей Петрунин

ЛЕС НАСТУПАЕТ

У нас под Севском и под Почепом
Бои гремели целый год.
Они поля исчервоточили,
Оттерли лес за горизонт.

Но ты вглядись в просторы здешние:
Там – куст, там – два, там –
три куста;
То по-армейски, перебежками
Спешит он взять свои места.

*** * ***

Снова сосны и тёмные ели
И озёра лежат на пути.
Но дорог, где прошёл я в шинели,
Тех дорог мне уже не найти.

Заросли они мягкой травою,
А в полях, где горели бои,
Бурным морем шумит яровое,
Пригибая колосья свои.

За комбайнами ходят трёхтонки,
На станах голубые дымки,
с голубыми глазами девчонки
Собирают цветы на венки.

Песни, песни доносятся к чаще,
Я навстречу им лугом иду:
Ой, не это ли снилось мне счастье
В том суровом, военном году.

Виталий Пионков

*** * ***

Я знаю – завтра будет тяжело,
Нам, в общем, ясен замысел учений.
В палатке командирской, за столом,
«Стратегов» вопросительные тени.
Всё чаще, вслед посыльным, в темноту
«Стреляет» полог светомаскировки...
И сосны осадили высоту
Комбатами на рекогносцировке.
Механик в люке дремлет,
По щеке
Размазав кулаком пятно соляра...
И петухи притихли вдалеке –
На главном направлении удара.

БАЛЛАДА О ВОЙНЕ

В снопах пересохшего хлеба,
В разгаре военной страды,
Я пил родниковое небо,
Рожденный под знаком беды.
Пытаясь и зреньем, и слухом
Постичь первозданность вещей,
Я видел войну-повитуху,
Что к зыбке склонилась моей.
И словно всерьёз озабочен,
Пелёнок отбросив рваньё,
Бунтующий, красный комочек,
«Стрелял» я пустышкой в неё.
Напрасно от чёрного глаза
Скрывали меня образа, –
Она всё глядела, зараза,
В мои голубые глаза.
И так она долго смотрела
В голодную душу мою,
Что даль голубая темнела
У смерти на самом краю.
...Я выжил! Не долго решая,
Я выбрал – шинель и ружье...
Стреляю! Стреляю! Стреляю!
В постылую рожу её.

У ИСТОКОВ

У древка знамени полка
Я опускаюсь на колено.
И шелк истории нетленной
Губами трогаю, слегка...
Шитья тяжёлого строка
В нём пулеметной лентой тонет,
А буквы – гильзами – в ладони,
И пули свищут у виска.
Я у истока родника, –
Пусть каждый нерв в истоме стонет...
Я шёл к нему издалека –
Спокойнее, солдат, спокойней...
Пойми, что ощутить должны
Не только ты в строю, а каждый –
И меру зримой глубины,
И чувство утолённой жажды

ВЕТЕРАН

Он знает, что затишье – перед боем...
И старому солдату не до сна –
Он напрягает зрение до боли
В дозоре персональном у окна.
Немало их июней и июлей
Повисло на его крутых плечах...
Он знает, тишина – молчанье пули
И пороха в начищенных стволах.

*** * ***

Я за скромность души,
Что ложится поэту на строки,
Что в мозолях сквозит
На широких ладонях ребят.
Я за скромность моей
Боевой,
напряженной эпохи,
За которой герои,
Сминая кепчонки,
стоят.

АТАКА

Атака!
Атака!
Атака –
Предвестница наших побед
Повис вопросительным знаком
Ракеты, взметнувшейся след.
Пока ещё рвутся снаряды –
Вперед,
и вперед,
и вперед...
Я слышу товарищей рядом
И тех, кто за нами идёт.
Но времени нет оглянуться –
Гранатой круши и штыком
Врага, что в траншее согнулся...
А трусов осудим потом.

* * *

Отпустив заснеженную ветку
Белой птицей радости в полёт,
Я рвану сейчас грудную клетку,
И душа гармонью запоёт.
Пой, душа,
приветствуя свободу,
Ощутив в затекших крыльях твердь…
За неё готов – в огонь и в воду,
И, воскреснув,
снова умереть!

Владимир Пипченко

В ГОСПИТАЛЕ

Солдат просил ходячего соседа
Хотя б немного пятку почесать,
— Терпенья нет, так чешется опять,
Не откажи калеке, непоседа.
В печали тот смотрел на бедолагу,
Какие пятки, если нету ног?
Всю жизнь ему теперь не сделать шагу,
А кто б ему, лежи он так, помог?
Он приподнял немного одеяло,
Обрубки ног тихонько почесал,
И раненый тотчас же замолчал,
Как будто счастье около стояло.
Вновь по траве бежал он, как когда-то,
И видел луч в росе, закрыв глаза,
Улыбка не сходила с губ солдата
И на подушке расплылась слеза.

Леонид Побожий

НА РЕССЕТЕ

У речушки лесной
Мы ночуем в тиши.

Рессета, Рессета,
О войне расскажи.
О жестоких боях
Расскажи,
Не солги.
На твою красоту
Посягали враги.
По твоим берегам –
Поржавевший металл,
Что осколками
В дымное небо взлетал,
И его не впитает
Земля, а пора.
Собери –
Рукотворная будет гора
Смертоносного груза…

Кристальной водой
С неба месяц
Умыться
Сошёл молодой.

У ПАМЯТНИКА ВОДИТЕЛЯМ

Осядет туман
Дымовою завесой…
Есть памятник в чаще
Ветвистого леса
У бойкой,
Зовущей вперёд,
Автострады
Водителям,

Жизнь положившим когда-то
В боях за Отечество
Славное наше.
А мимо
(такое не снилось им даже,
Полуторки ведшим) –
Ни грязи, ни пыли –
Сверкая,
Проносятся автомобили,
Друг друга изящней,
Друг друга дороже,
Поток их становится
С радугой схожим.
В салонах уютных
Качается лето…

Им, павшим, взглянуть бы
На светлое это.

Николай Поснов

**ФОТОГРАФИЯ
ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА**

В наплыве мерцающей дымки,
Сквозь тусклый махорочный свет
Глядит с пожелтевшего снимка
Солдат восемнадцати лет.

Над правою бровью – пилотка,
Спадающий чубчик белёс.
Задумчиво, нежно и кротко
Глядит он на ветви берёз.

Над левым карманом солдата,
Неброская, впрочем, на вид,
Одна боевая награда –
Медаль «За отвагу» – горит.

О чём он задумался, право,
Солдат этот, юный лицом,
Стоящий в проснувшихся травах,
Ещё мне не ставший отцом?

Какие там ветры шумели,
Цветы прозревали в золе
В немыслимо-дальнем апреле
Ещё на горящей земле?

Какие там трубы играли,
И что им звучало в ответ?
Таинственный свет фотографий,
Далёкого времени свет.

В мерцающей дымке, сквозь ветви
Глядит на весны торжество
Солдат восемнадцатилетний,
И я так похож на него!

Смотрю на квадратик бумаги,
Судьбу принимая свою,
Тот воздух любви и отваги,
Как воду бессмертия, пью...

Владимир Потапов

ВДОВЬЯ ПАМЯТЬ

Подорожник в пыли, лопухи да полынь,
Боль разлук под ржаными закатами…
Из-под светлых платков
Взгляды женщин-богинь,
Устремлённые вслед за солдатами.

Вдруг тяжёлая мгла у порога легла
Той избы, где пришла похоронная.
Дом второй от угла… Ты солдата ждала…
Боль утраты, дорога неровная…

Это всё пережить! Но не время тужить.
Надо жать, надо жить, чтобы выстоять.
И до самых небес, если беды сложить,
Можно тропку печальную выстелить.

У развилки дорог, где дрожат ковыли,
Где гроза громыхает раскатами,
Где стоит обелиск на груди у земли,
Вдовья память скорбит над солдатами.

ВЕТЕРАН

...Опять эти инвалиды без очереди.
Из разговора в магазине

Двор неспешными мерит шагами,
Снег крахмально скрипит под ногами.
Кашель мучает – давит война...
На чаёк он заглянет к соседу,
И начнется меж ними беседа,
Засидятся они допоздна.

И одна только тема беседы:
— Эх, дожить бы, Кузьмич, до Победы. –
Точно так мы мечтали в войну...
В День Победы помянем всех близких.
Жаль, редеют гвардейские списки.
Как же хочется встретит весну!

*** * ***

Полночный час.
И ржание коня.
Здесь каждый звук доходит до меня.
Под этим небом на земле родной
Так пахнет хлебом,
Молоком,
Травой.
То стукнет плод, сорвавшись с тонкой ветки...
В такую ночь не вышел из разведки
Солдат, что честно выполнил приказ.
Он был моложе иль ровесник мне?
О, сколько их сгорело том огне...
Война,
Ты до сих пор стреляешь в нас.
За этим адом обелиск стоит.
Тот парень рядом,
В бронзе он отлит.

Павел Прагин

ВОРОН НА ВОЙНЕ

По снегам идёт пехота на смерть,
ну, а ворону – плевать, что вокруг.
Встречный ветер так и тянет на смех,
когда треплется под мышкою пух.

И при этом всё ж забавно-таки:
отчего сквозь раздирающий рёв
неуклюжие стальные жуки
чем-то красным всё плюют в муравьёв?

В сизый глаз льёт злая заметь ливмя.
И поэтому, как бы сквозь стекло,
снизу видится так много огня...
Но сюда доходит плохо тепло.

И кружил бы он, кружил без конца,
леденея до костей... Но, ей-ей,
так приятно на лету проницать
эти души неостывших людей.

Прочь лети! Не то зарулишь в прицел,
коль не дружишь со своей головой.
Не иначе, когда был ты в яйце,
твоя мамка обронила его!

Тут же в воздухе пропел стеклорез –
вот и всё. И вплоть до судного дня
не заметил ворон сам, как исчез,
не оставив ничего от себя...

Занесло одну пушинку в бокал
далеко от фронта, впрочем... Да вот
кто сдувал пивную пену – не знал,
что ему несут повестку на фронт.

... По снегам идёт пехота на смерть...

ЗА СТВОЛАМИ

Тяжко с утра натощак, но знакомо:
носом в рукав – вот и весь закусон.
То ль от навоза несёт самогоном?
То ли таков по себе самогон?

После, когда по дуге по горбатой
к ферме пустая бутыль пронеслась,
вскинув на плечи мешки и лопаты,
трое штурмуют по пахоте грязь.

В логику здравую не умещаясь,
зла и добра за границею аж
в сторону леса они уменьшались,
не оживляя осенний пейзаж.

Им не с руки ни украсть, не зарезать –
просто романтики вот! И ещё –

это поход за военным железом.
Только за ним. Ну а кости – не в счёт...

Только сегодня поможет не очень
оберег древний, как мир: «Чур, меня!» –
если негаданно прямо из почвы
вцепится в заступ стальной пятерня...

Вряд ли со страха по пальцам ударишь.
Вряд ли забудешь в остатние дни
голос глухой: «Не в обиду, товарищ,
по-христиански похорони!»

И уж тогда, как от внутренней боли –
ратная удаль и вечный покой –
многострадальное русское поле
дрогнет холодной небритой щекой.

* * *

Откуда этот страх,
и холод почему? –
или туман в глазах,
или закат в дыму?

Там сизой полосой
дрожит осенний лес,
нацеленный в висок,
как штык наперевес.

И ты не в силах ведь
то чувство побороть,
как станет леденеть
ещё живая плоть.

И так вот всякий раз
свой оставляешь след,
разбавив кровью грязь
или раскрасив снег.

Как из судьбины лист
теперь уже, увы,
парит свободно мысль
вдали от головы:

«От мира и войны,
и до последних дней
ладони нам даны
для дырок от гвоздей,

что б клятвы не давать
на флагах, на ноже...
Противно убивать!
Но убивают же...»

Так в смутном свете дня
предчувствие болит.
Мне кажется, что я
когда-то был убит!

Иван Радченко

ПАРТИЗАНСКИЕ БУДНИ

Землянки и окопы,
Болота и снега,
И потайные тропы
К укрытиям врага.

Диверсии, тревоги,
Свист пуль и вой ветров,
Уставшие с дороги
Бойцы вокруг костров.

Опасность окруженья,
Ночей промозглых мгла,
Душа от напряженья
Калёна добела.

Дозоры и заставы,
И жизнь – на волоске,
Фашистские составы
Под насыпью в песке.

Бессонные походы,
Сраженья без конца...
И до сих пор те годы
Стреляют нам в сердца.

ИДУТ СОЛДАТЫ

В суровой воинской красе
Идут солдаты по шоссе,
Равненье держит каждый ряд,
Значки гвардейские горят.

Дана команда: «Твёрже шаг!»
Таким орлам не страшен враг,
С восторгом девушки глядят
На марширующих ребят.

Никто из них рейхстаг не брал,
Никто сражений не видал,
Но знает каждый из бойцов,
Про храбрость дедов и отцов.

Они с душой поют в строю
Про службу мирную свою
И хоть сейчас из них любой
Готов за край родимый в бой.

Дана команда: «Твёрже шаг!»
Таким орлам не страшен враг.
Мальчишки с завистью глядят
На марширующих солдат.

ПОКЛОНЯЮСЬ РОДНИКУ

Я видел ужасы войны,
Слыхал её безумный голос,
И сердце жаждет тишины,
В которой зреет хлебный колос.

Меня врачуют сад и бор,
Полян и луга разноцветье.
Мне мил и дорог косогор,
От бомб укрывший в лихолетье.

Я поклоняюсь роднику,
Сверкающему на опушке,
И за волшебные «ку-ку»
Желаю долгих лет кукушке.

ПОДВИГ НАРОДА

Сквозь ад боев мы шли четыре года,
Чтоб воссиял Победы светлый лик.
Военный подвиг нашего народа
Воистину гуманен и велик.

Мы принесли Европе избавленье
От роковой коричневой чумы.
Пусть ныне и в грядущем поколенья
Осмыслят все, что совершили мы.

А нынешней тревожной порою
Родимый край надёжно берегут
Сыны и внуки тех солдат героев,
Чей путь к Победе был суров и крут.

Они стоят и день, и ночь на страже,
Стоят на славном боевом посту,
И если им Отчизна-мать прикажет –
Сумеют взять любую высоту!

Петр Проскурин

СНОВА ДОМА

В самую жару, к середине июля, над землей после полудня на чинали повисать душные марева, подошла пора созревания ржи и других злаков. Но безлюдье томило одичавшие поля – только-только отгремели здесь бои, фронт опять покатился на запад, и в опустошенную зону, где стояла шесть месяцев немецкая оборона, стали возвращаться на привычные места жители.

Выходили из болот и лесов, шли из эвакуации вслед за своими, торопясь и надеясь на встречу с родными и близкими, отгоняя потаенные мысли о разных несчастьях и смертях. Самое главное – немца стронули, немец ударился в бег!

Бабка Палага, широко переставляя усталые, мосластые ноги, не отставала от своего внука – четырнадцатилетнего худого Захара с лохматым затылком – и на ходу все думала: может, им еще повезет и Авдотья, ее дочь, с младшим внуком, Толиком, отыщутся; всякие чудеса в жизни бывают, Господь не без милости, думала бабка Палага, поднимая босыми ногами с черными, потрескавшимися пятками тяжелую пыль с дороги.

Бабка Палага несла всякую всячину, связанную полотенцем и перекинутую через плечо. Впереди висела плетеная корзина с

крышкой, где сидела белая кура, – бабка сумела её сохранить на семя; сзади покачивался тяжелый узел с разным барахлом: четыре миски – три глиняные и одна жестяная, мешочек фунтов на десять пшена, немного сольцы, рваные Захаркины штаны и рубахи (надо будет их заштопать да залатать) да еще разное добро, которое мало уже на что пригодно, а все жалко бросить. Платок сбился с влажных гладких волос, солнце припекало, но бабка Палага привыкла к этому и не замечала.

С короткими перерывами они шли уже часов шесть и теперь свернули на хорошо знакомую дорогу, в войну запущенную, размытую дождями, изрытую бомбами и снарядами. И раза два уже бабке Палаге пришлось с помощью Захара перебираться через траншеи, пересекавшие дорогу; теперь до места оставалось верст восемь, не больше, и бабка Палага то и дело узнавала знакомые приметы: то старую ракиту, то обрушенный мостик, то овражек.

И чем больше проходило времени, тем сильнее томило ее беспокойство, и дышать становилось тяжело, и губы сохли, все больше хотелось пить, хотелось ей хлебнуть березового кваску, резкого и прохладного и не так чтобы сильно кислого. А Захар все незаметно прибавлял шаг, и бабка, не поспевая за ним, останавливалась, кричала:

— Захар, а Захар, остановись ты, каторжник! Ишь расшатался, где мне за тобой поспеть?

И Захар сбавлял шаг, поправлял лямки заплечного мешка, натершие кожу на плечах до ссадин, и ждал, пока бабка догонит его.

— Ты бы травы нарвал да пучками подложил на плечи-то. Захар, вытирая рукавом рубахи худое конопатое лицо, весело улыбался.

— Бабуш, давай я что-нибудь у тебя возьму понесу, – предлагал он, но бабка Палага не соглашалась. Она считала его заморенным и ослабшим и жалела. Ей все казалось, что Захар мал и нуждается в послаблениях и детских поблажках, а Захар от этого сердился, но доказать ничего не мог и быстро отходил, характера он вышел покладистого, хороший паренек...

Понятно, ему не сдержать шагу, ноги сами несли; так уж получилось, что бабка и он ушли со своими, когда те отступали из-под Брянска, а мать с Толиком остались у немцев, и теперь никто не знал, живы ли они и на месте ли, а то, может, погибли: вон сколько битых кругом, особо где фронт проходил.

Если бы махнуть через поле и лес, давно бы на месте были, да нельзя напрямую, кругом мины – саперы успели очистить лишь узкие проходы, и вот приходилось делать здоровенные крюки, чтобы выбраться к своей деревне, которая была на самой передовой. Захар знал это от знакомого командира роты, стоявшей на отдыхе в деревне Чернуха, где он с бабкой пережидал, пока немца опять сдвинут с места, оттеснят подальше и освободят их родную Воробьевку.

От того же командира роты Захар знал о полном уничтожении деревни, хотя увидеть своими глазами запустение и бурьян было труднее, чем слышать об этом. Все строения немцы разобрали для устройства землянок. Улицы и огороды изрыты траншеями, на огородах между обломанных яблонь понаделаны землянки, орудийные гнезда, укрытия машинам, везде валялись дощатые железные ящики, винтовки без затворов, автоматы, разбитые или испорченные пушки, масса каких-то труб (потом Захар узнал, что в них, наглухо закрывавшихся, хранился орудийный порох).

Тут же торчало несколько подбитых танков. Под ноги подвертывались самые неожиданные предметы - от солдатской каски, пробитой осколком, до ученического пенала или журнала с голыми девками; много попадалось мыльных палочек для бритья, а в одном месте под яблоней висела, чуть покачиваясь, деревенская люлька. Захар заглянул в нее и увидел пустые консервные банки вперемешку с бутылками, заклеенными красивыми нерусскими бумажками.

Исковырянной снарядами улицей бабка Палага с Захаром прошли к своей усадьбе; хаты в деревне не осталось ни одной, и лишь каким-то чудом уцелела между четырьмя ракитами амбарушка Никитиных, что до войны слыли дикими: ни за одного из трех братьев никакая девка не шла замуж, а теперь вот ам-

барушка горько торчала одна на всю деревню, даже печи разобрали на землянки и траншеи.

Было безветрие, но стоило повернуть разгоряченное усталостью лицо к опускавшемуся на дальний лес солнцу - и в ноздрях чувствовался слабый, сладковатый от гниения ветерок. Бабка Палага морщилась, стараясь не заплакать, и все не могла удержаться, смаргивала невольно слезы и сморкалась, подхватывая свободной рукой подол юбки и подтягивая его к носу.

Когда они подошли к своей селитьбе, бабка Палага перестала сдерживаться и завыла в голос. Она грохнула с себя поклажу, белая кура встревоженно закудахтала. Бабка Палага села прямо на землю, причитая и крестясь, а Захар пошел бродить по селитьбе, обходя ямины и бугры из мусора, успевшего от давности прорасти слегка травой. Яблони в саду поломало и обило снарядами, и только несколько деревьев уцелели и остались нетронутыми: три яблони, старая душистая груша и вишня; правда, и у них стволы посекло осколками, и Захар подумал, что нужно замазать поврежденные места глиной с навозом.

В самом дальнем конце сада он наткнулся на большую, выложенную дерниной, с двумя окошками землянку в несколько накатов; от нее тянулась траншея в огород, к орудийным позициям, и там, метрах в ста от сада, вся земля была тоже изрыта и перекопана. Осмотрев землянку снаружи, Захар спустился в тамбур, обитый досками; просунув голову в дверь, он долго недоверчиво принюхивался и приглядывался.

В полумраке тамбура широкие, удобные ступени уходили с крутым поворотом вниз, непосредственно к двери в землянку, по обе стороны в тамбуре лепились полки; казалось, за поворотом кто-то живой стоит и ждет ухватить за горло. Захар вспомнил фанерный щит с надписью: «Проверено. Мин нет» – и смело полез в землянку; глаза скоро привыкли к полумраку, и Захар удивлялся, как немцы умеют все сделать добротно и удобно, даже на время.

Он дернул дверь на себя и свистнул от удивления – помещение оказалось светлым и просторным, с двумя рядами двухъярусных нар, со столом и городскими стульями с высокими прямыми спинками, и Захар недоуменно пожал плечами. Откуда они могли сюда попасть? На нарах лежали перины и матрасы, повсюду на полу валялись подушки и еще какие-то тряпки; на столе стояли немытые тарелки и два немецких алюминиевых котелка с крышками; сыро пахло табаком и грязным, слежавшимся бельем.

Захар походил по землянке, ничего не трогая, и, забыв о бабке Палаге, посидел на стуле с высокой спинкой, подробно и не торопясь оглядывая помещение еще раз: да, землянка большая, куда просторнее их старой хаты, и в ней вполне можно перезимовать. В самом деле, как это ему в голову сразу не пришло? Тут полколхоза поместится, если надо. Отыщутся мать с Толиком - совсем будет хорошо, можно печку сложить, трубу в окно вывести, и никакая зима не возьмет.

Он выбежал наружу, позвал бабку; бабка пришла, вытирая припухшие глаза и охая.

— Бабуш, землянка. Иди-ка погляди, живи зимой за милую душу. Давай иди, я уже глядел. Ночевать надо, а там перины есть, одеяла валяются.

Бабка Палага спустилась в землянку, заахала и тут же стала все просматривать и складывать; в котелках на столе оказалась прокисшая овсяная каша, и бабка вынесла котелки из землянки и опорожнила их; по пути назад она углядела в тамбуре большое ведро и послала Захара за водой.

— Иди воды добудь. Колодец-то не забыл где? Или в ручей сходи, принесешь воды, кулешу сварю, на ночь надо поесть. Ах ты, святая божья матерь, заступница, это на бедность нашу, гляди-ка, диво какое, готовое тебе жилье, хоть царем сюда садись. И стулья городские, и, главное, в своем саду, на своей-то землице, никто отсель не выгонит.

— Прямо на заказ. Вот так немец, ай да сукин сын, сдохнуть тебе, до своей державы не дойти, окаянному! Надо же, как слизало деревню! – рассуждала она сама с собой. – Раньше случись пожар, – хоть печка торчит, а тут и печек не осталось, все подчистую сгинуло. Страсть сколько немец натащил в свое жилье добра, а Захарка, хоть и длинный ростом, умом мал. Грабленое все это добро, гляди, хо-

зяева вернутся, отыщутся, из горла свое выдерут. Может, хоть солдатским, что осталось, и попользуешься.

Захара давно след простыл, а бабка Палага все говорила и говорила, и чем дальше, тем она становилась многоречивее и довольнее: теперь есть где жить, и в землянке осталось много нужного для жизни добра. Она даже нашла щетку на длинной палке и долго вертела ее в руках, соображая, какая надобность в такой штуке, и, когда поняла, тут же опробовала ее и удивилась.

— Ишь окаянный! – опять сказала она сама себе по стариковской привычке говорить вслух. – Надо ж придумать, значит, спину не ломать, не хочешь – взял себе и подметай прямиком. Вот тебе и немец, хитрее всех, окаянный, вишь какую моду завел, стой себе и подметай.

Поставив щетку в угол, на старое место, она опять принялась осматривать вещи в землянке, – видать, все как было, так и кинули... За нарами на колышке висели три шинели, но бабка Палага побоялась их трогать. Кто знает, не ровен час, назад немец вернется, одежу потребует, – за войну всему научились.

Неожиданно раздался Захаркин голос, бабка Палага вздрогнула и перекрестилась, присела на нары.

— Бабуш, из ручья принес, – сказал Захар. – Колодец обвален. Есть другие дела?

— А что, собери посуше сору, огонек запали, котелки пополощи. Надо сюда сумки наши перетащить.

— Ладно, перетащу, а ты котелки мой. Сказала б раньше, в ручье отскоблить можно.

— Куру не урони, – с опаской сказала вслед ему бабка и впервые за два года смутно, тяжело почувствовала, что никуда больше не суждено идти ей с места, и это чувство доставило ей тайную радость и облегчение, потому что ей до смерти надоело бродить по чужим углам и выслушивать попреки.

И она, забывая усталость, принялась за дело, твердо уверенная, что дочка Авдотья и второй, меньшой внук Толик обязательно днями отыщутся и надо успеть навести порядок до их возвращения, отскоблить все и отчистить, пусть вернутся в обжитое место, увидят заботу о себе да ласку.

Перед войной Захар закончил пять классов, тогда ему едва-едва перевалило на тринадцатый, и ростом он на голову отставал от своих сверстников, но как раз за последние два года стал переть и переть в рост и вымахал со среднего мужчину, ноги удлинились вполовину прежнего, и, по твердому убеждению бабки Палаги, не иначе как от страху парня вытянуло, и она все старалась подсунуть внуку лишний кусок; от такого быстрого роста, думала она, на таких харчах можно и чахотку схватить.

Ни на кого в родне бабки Палаги Захар не был похож, только бровями напоминал своего отца, Егора Мотовилина, в первый же военный год взятого в армию; правда, характером Захар удался в материнскую линию, характер у него привился от Баксановых – мягкий и добрый, как на деревне говорили, курицы не обидит, и чувствовала бабка Палага в старшем внуке свою кровь, и любила его больше родной дочери. И только одна странность уродилась, на взгляд старухи, у Захара: любил он читать книжки, о еде забывал и о сне, и тогда окликни – не услышит.

И глаза, как у Тимки-дурачка – был такой до войны в деревне, – тихие, далекие. О том, что Захарка Мотовилин от книжек ненормальным становится, знала вся деревня, и Авдотью, его мать, бабы часто подкусывали: сын, небось, в профессора или генералы собирается, – вкладывая в свои слова определенную долю крестьянского ехидства: мол, сколько ни учится, ни ломает голову, все равно с нами в одну землю ляжет.

И в войну Захар читал книжки. Немцы разгромили районную библиотеку (в городе Суслань, в семи километрах от Воробьевки) и книги выбросили под обрыв, а Захар, несмотря на ругань матери и бабки, три раза ходил ночью за книгами, приносил их окольными путями в мешках, прятал в сарае, на сеновале, и в длинные зимние вечера долго за полночь жег коптилку, напуская в избу вонючего смраду, и бабку Палагу на печи не раз принимался бить кашель. Она слезала в длинной холщовой рубахе, пила теплую воду из чугунка и ругала

Захара, заставляя ложиться; он не слышал ее ругани, продолжал сидеть, уткнувшись в книгу, и старуха начинала смутно чувствовать какую-то его внутреннюю правоту.

Читать книжки для нее тоже представлялось делом серьезным и трудным и требовало, как всякая работа, должного уважения. Бабка Палага проснулась, по обыкновению, рано, приподняла голову, высмотрела сбоку серевшее окно; она вспомнила, что находится в землянке на толстых солдатских нарах и что Захар спит напротив, и решила минутку полежать: печи топить не надо и скотину убирать тоже.

Она лежала, и вспоминала жизнь до войны, и думала, как будет дальше, и найдутся ли дочь Авдотья и меньшой внук Толик. О плохом она старалась не думать, да и некогда, – сколько надо сделать перед зимой: дров наготовить, печурку в землянке сложить, кирпича натаскать от старой печи, поглядеть, может, где картошка посажена. Бабка вспомнила десятки самых необходимых дел, потом тихонько встала, накинула на себя тяжелую юбку (выстирать как-то надо) и, ощупывая босыми ногами пол перед собою, отыскала дверь, вышла на воздух.

За ночь похолодало, далеко на западе настойчиво погромыхивало. Бабка Палага спокойно послушала, зевая и мелко крестя рот. Оттуда, где раньше стояла помещичья усадьба, а потом гнездилась усадьба МТС, кричал сыч, погугучит, помолчит, опять гукнет, и долго простонет, и под конец совсем по-человечьи, жалостно,прямо как внутри, в сердце, просверлит, и душа замрет.

Бабка Палага от особенно жалостливого сычиного рыдания перекрестилась, пробормотала короткую молитву богородице. Ее охватило странное, ни с чем не сравнимое ощущение пустоты: и ветра не слышалось, и голоса человечьего, и только сыч жил в развалинах своей ночной жизнью. Лишь твердая уверенность, что внизу, под землею, спит Захар, не давала бабке завыть в голос, растрепывая космы и ломая пальцы.

Вот так, видать, и умирают, решила старуха (а может, и умерла она, пора давно на тот свет от такой жизни), гляди, и явилась смертушка, раз такая пустота кругом, и сыч проклятый воет, и ни звука больше; зови, плачь – никто не услышит, не придет. И в ту же минуту бабка Палага охнула, присела от минутной слабости в ногах: рядом, показалось – над самым ухом, гаркнул петух, совсем рядом – настоящий, живой петух, голосу добрый дьякон позавидует – густой, долгий голос, с серебряным переливом.

Бабка Палага беспомощно оглянулась: может, ей приплелось от крови в голове – вон как расшумелась! – или ее кура (тьфу! тьфу! не дай господи!) закричала петухом?

От такой мысли бабка Палага похолодела, но тут же себя одернула: кура находилась в землянке, а петуший голос раздался на свободе, да и кура, когда начинает кричать петухом, по-иному кричит, единожды слышать привелось – хрипло, куце, как баба не может стать мужиком, так и кура петухом.

Опять проголосил петух, видать, в соседнем саду, у Боровиковых, и тут у бабки Палаги зародилось непреодолимое желание поймать петуха. Подслеповато щурясь, она двинулась на петушиное пение; просто чудо, как все ожило вокруг от этого требовательного голоса, и пустота отступила. Было еще плохо видно, серо проступали деревья, и бабка Палага боялась свалиться в ямину, шла осторожно, хотя поторапливалась, с каждой минутой становилось виднее, еще немного – и петуха уже не возьмешь, улетит.

Бабка больно наткнулась на пенек босой ногой, ушибла пальцы, поругалась шепотом и замерла. Петух прокричал прямо над нею, она подняла голову и в сером полумраке долго ничего не могла разобрать; она стояла под старой яблоней, а петух сидел где-то над ней, но разглядеть было трудно из-за густых листьев. Бабка Палага взялась за нижние сучья и полезла вверх, вертя головой и всматриваясь.

Вот она замерла, сердце у нее заколотилось, – петух сидел у нее перед самым носом, длинно вытягивая шею и свесив хвост, он уже чувствовал неладное, и бабка видела, как он усиленно, удивленно моргал, глядя в ее лицо то одним, то другим круглым глазом, белым от частого моргания. «Какой хвост, какой хвост!» – подумала бабка Палага, забывая о

войне, о Захаре и осторожно протягивая руки с растопыренными пальцами к петуху. «Чур тебе, чур тебе!» Силой заклинания она старалась одеревенить петуха, заставить его не тронуться с места, видя уже, как он станет вышагивать гоголем вдвоем с ее белой курой, и кокотать, и кукарекать – сразу станет на душе весело и хорошо.

— Хоп! – жестко сказала бабка Палага, ловко выбрасывая руку и хватая еще беспомощного от темноты петуха, чувствуя старыми пальцами упругость его перьев и теплоту испуганного тела; правая нога ее поехала по суку, на котором стояла, но старуха удержалась и стала ладить петуха себе под мышку; приладила, пригляделась и спрыгнула вниз, на землю; не обращая внимания на недовольные выкрики петуха, она пошла назад, и быть бы всему хорошо, не провались бабка Палага в траншею, совсем сверху незаметную, прикрытую сухими ветками и другим сором.

Петух захлопал крыльями и с долгим задыхающимся криком куда-то полетел, и бабка Палага долго приходила в себя, сидя на холодной, утрамбованной солдатскими сапогами земле. Она с трудом выбралась из глубокой траншеи, выцарапывая себе ступеньки в стенках пальцами и ругая на чем свет стоит и себя, и петуха, и Захара. Надо же, зовешь-зовешь его, а он не слышит, спит, хоть подорви его из пушки. В небе совсем развиднелось, и опять раздался голос петуха, от дальности слабо, неясно.

Для Захара день начался спокойно, его никто не будил, и он доспал часов до десяти; открыл глаза и потянулся, тело совсем отдохнуло и стало легким. Хотелось есть, от солнца в землянке светился столб, наискось, от окна в пол, у самых ног Захара. Парень полежал, пересиливая сонную лень, замычал, быстро соскочил с нар, натянул штаны, подпрыгивая то на одной, то на другой ноге. Начиналась новая жизнь, нужно все осмотреть кругом, сходить в лес – там проходила передовая, – и вообще кругом разбросано столько всякой всячины, попадется, гляди, стоящее и для хозяйства. Хорошо, землянка у них прямо в саду, это теперь как дом, только бы мать с братаном нашлись, и зимовать можно.

Захар не стал осматривать вещей в землянке и вышел – тут никуда не уйдет, а вот надо кругом пошнырять, пока народу мало.

Бабка Палага сварила пшенного супу, принесла воды и, привязав белую куру за ногу длинной бечевкой, выпустила ее гулять. Она налила Захару супу в немецкий котелок, вздохнула.

— Хлебушка теперь корочки не понюхаешь. Ешь. Приходить-то стали наши, из деревни. Петрачиновых видела, Серафиму Рыжую да еще Савостина деда. Вон костры запалили, кипяток кипятят. Господи помилуй, все начинается сызнова. Савостин-то дед пришел, две пары сапог немецких принес, говорит, в лесе там немцев битых один на одного. Сапоги кованые, без сносу. Ты, Захар, поешь – сбегай в лес, а то зимой хоть разутому выскакивай.

Сморщив нос, Захар кивнул, он не любил мертвых, но бабка права: бояться нечего, раз сапоги нужны, зимой дров нарубить не в чем. Он торопливо доел загустевший суп, напился из ведра через край холодной прозрачной воды и поглядел на бабку.

— Пойду, бабуш, ладно.

— Иди, иди, внучек. А я тут покараулю. Поднавалит народ – все растащат. Вернешься – замок на дверь надо приспособить. А где ты его сейчас возьмешь? Слышь, Захар, – сказала она ему сердито уже вслед, – ты за что зря не хватайся.

— Ладно! – крикнул он, не оборачиваясь, чувствуя сильно греющее солнце затылком и радуясь теплу, своему легкому телу. И немцев больше нет, земля теперь – куда хочешь иди, никто не запретит.

Он шел, думал, и в нем зудела тугая крестьянская жилка: что ж, теперь он мужик, теперь ему хозяйствовать, хватит матери горбить, и Толика надо на ноги ставить; может, и жениться скоро придется, мать последние годы совсем хворая стала. И о женитьбе он подумал с крестьянским спокойствием, как о необходимости, – у мужчины должна быть жена, надо кому-то готовить и стирать, топить печь и возиться по хозяйству.

Он шел по полю, года два не паханному и поросшему жесткой, дикой травой, метлюгом, воробьиным щавелем, полынью, одичав-

шее поле слегка побурело к осени. За лето подошвы Захара задубели и не чувствовали глубокую теплоту земли, набравшей солнце за долгое жаркое лето; несколько раз на пути попадались глубокие траншеи, они соединяли вторую линию обороны, проходившую по деревне, с лесом, где шла непосредственно передовая, и чем ближе становился лес, тем сильнее все кругом оказывалось изрыто снарядами и минами, на буграх чернели подбитые танки.

Вброд, засучив до колен короткие, обтрепанные штанины, Захар перешел мелкий, почти пересохший за лето ручей и ступил в сухой дубовый лес и сразу напал на хорошие боровики, усеявшие все пространство перед ним. Он сорвал один, разломив упругую коричневую сверху шляпку. «Черт, сколько грибов, надо на обратном пути набрать».

Он услышал человеческие голоса и юркнул в густые березовые заросли, заполнявшие мало-мальски свободное от дуба пространство.

Захар хорошо знал окрестные леса; решив посмотреть, что за люди там орут и чем занимаются, он, прикрываясь, пошел на голоса от дерева к дереву. Попадалось всякое военное добро: винтовки, патроны, мины, снаряды, консервные банки, круглые коробочки с противогазами; в одном месте стояла пушка. Захару приходилось обходить окопы и небольшие, наспех сделанные землянки, не такие, как у них в саду, а низенькие, приплюснутые к земле, с маленькими бойницами на три стороны, соединенные с траншеями.

Скоро Захар увидел человек пятнадцать солдат у костра, они ели, и по их разговору Захар понял, что это саперы проверяют местность. Захар незаметно отошел: солдаты обязательно выперли бы его из лесу – он уже встретил дощечку, приколоченную прямо к дереву: «Проход и проезд воспрещен! Мины!»

За войну Захар привык не придавать значения многочисленным надписям и приказам, если бы он все их выполнял, его давно бы не осталось в живых; он и теперь дернул плечом и подался в другой конец леса и тут минут через десять увидел первого убитого, лежавшего лицом в землю. Засаленная пилотка валялась рядом; выкинутыми вперед руками убитый запутался в высокой лесной траве; от него сочился тяжелый дух, и Захар осторожно обошел его, рассматривая со всех сторон.

Немец лежал в крепких кованых сапогах, подковки и шипы не успели проржаветь от росы, металлически блестели. Захару стало не по себе и от тяжелого духа убитого, и от неожиданного смутного отвращения перед смертью. Перед ним лежал мертвый человек, не враг – какой уж мертвый враг! Ни следа крови, ни прострела нигде не видно, одежда целая, и шипы на сапогах чистые, блестят, словно человек долго-долго шел, устал, лег и ненароком заснул.

И Захару все казалось, что он собирается сделать нехорошее, отвратительное дело, в горле начиналась тошнота и подергивание; с другой же стороны, перед ним лежал просто убитый немец, никогда он теперь не встанет, ничего ему больше не нужно – ни земли, ни еды, ни одежды, а ему, Захару, нужны сапоги, ему жить и зимовать босиком нельзя, и вообще он имеет право взять сапоги: немец убитый, и какого черта приходил он сюда воевать – вон деревню спалили!

Подбадривая себя, Захар покашлял, стараясь не дышать, подошел к немцу, потолкал его ногой в подошву сапога – ноги немца по-мертвому шевельнулись, затылок тоже, как если бы шевельнулась сдвинутая каким-нибудь усилием с места груда земли. Захар присел, взялся за носок и за пятку сапога, дернул, стараясь не глядеть на широкую спину убитого, туго обтянутую светло-зеленым сукном; сапог не поддавался, и Захар дернул сильнее, начиная злиться.

Он слышал, как припухшая нога вышла из сапога и глухо стукнулась о землю, и увидел грязную холщовую портянку; с таким льняным холстом Захар хорошо был знаком – такой холст ткала бабка Палага. Второй сапог он сдернул решительнее – портянка размоталась, и стала видна сизая, сильно вздувшаяся нога. Захар взял сапоги за голенища и, не оглядываясь, пошел дальше; постепенно тошнота в горле утихла, потом он совсем обрадовался: такие сапоги – целое богатство!

«Вот бы для матери еще одни достать», – подумал он, перескочил траншею, затем

вернулся и спрыгнул вниз. Было интересно бежать от поворота к повороту, всякий раз ожидая что-то новое, неизвестное; твердая глина под босыми ногами отдавала прохладой; в одном месте Захар нашел складной нож, в другом – алюминиевую фляжку на ремешке; во фляжке что-то бултыхало, он отвинтил ее и понюхал, затем попробовал на язык. Язык защипало. Захар поплевал, завинтил флягу и повесил ее через плечо; выбрался из траншеи и, оказавшись наверху, вздохнул свободнее.

После жидкого пшенного супа на завтрак давно хотелось есть, и он решил получше пошарить в блиндажах и окопах, заглянул в одну землянку, в другую, в третью. Везде валялось много различных вещей, но еды не попадалось, лишь через час или больше Захар, выскочив на небольшую поляну в осиновых зарослях, наткнулся на узкие длинные столы из березовых жердей и такие же скамьи; столы и скамьи держались на вбитых в землю ножках, везде валялись буханки хлеба, завернутые в прозрачную бумагу, банки консервов, чуть подальше стояло два картонных ящика.

Захар, торопливо приподняв надорванный картон, увидел ровными рядами уложенные сухари. От такого богатства он растерялся. Вскрыв одну из банок ножом, он почти передернулся от ударившей в нос мясной сытости. Потемнело в глазах, в желудке появилась судорога; отламывая от буханки куски хлеба, Захар клал на них кусочки мяса из банки и ел, ел до немоты в челюстях, до тупой сонливости, забыл обо всем на свете и только ел – тупо, упорно, медленно, жевал и глотал сладкий, пережеванный хлеб пополам с мясом. Потом захотелось пить.

Вспомнив о немецкой фляжке, он хлебнул из нее, сбил жажду и тогда стал соображать, что делать дальше. Бросить припасы здесь он не мог; отыскав недалеко местечко, воронку от взрыва, Захар стал сносить все туда и, когда снес, забросал сверху травой, ветками; консервы спрятал в другом месте, а себе оставил на один раз унести. «Придется вернуться с мешком», – думал он, стараясь захватить больше и обвязывая ящики с сухарями желтой проволокой.

До обеда он успел сделать два конца туда и обратно; бабка Палага только ахала, все порывалась пойти с ним, но не могла оставить землянку – её разрывало от желания бежать в лес и боязни оставить добро без присмотра.

К вечеру, возвращаясь из лесу, Захар совсем заморился и решил сегодня больше не идти. Всего не перетаскаешь. Консервы и сухари он перенес, остался один хлеб – двенадцать буханок. Ноги здорово гудели и подламывались; в последний раз он взвалил на себя пуда два разной всячины, еле поднялся и шел, тяжело покачиваясь.

Он старался не думать о тяжести, все шел и шел и думал, что матери и Толику есть теперь чем подкормиться, когда они найдутся, консервы пока совсем можно не трогать, запрятать получше. Здорово повезло: почти сорок банок по полкилограмма, не меньше, на зиму на затолоку хватит. Это, видать, немцы паек привезли да и бросили, как началось. Несмотря на смертельную усталость, Захар радовался; от неловкого шага шатало, он посмеивался над собой: «Ладно, давай двигай, двигай, отдыхать потом будешь, а совсем невмоготу станет – можно и отполовинить, завтра с утра забрать».

Сокращая путь, Захар решил пройти прямиком, через заросшую густым дубняком и орешником ложбину между лесом и полем; пошел, да уж и сам был не рад. Кусты цеплялись за длинные мешки, в босые подошвы ног впивались колючки, он пробирался сквозь заросли чуть не плача, не решаясь сбросить мешки и посмотреть, что там с ногами; потом бы он не осилил поднять груз, он это знал и ожесточенно рвался вперед, смахивая с лица рукавом заливавший глаза пот.

Захар остановился, но не от усталости и не от тяжести. Он увидел прежде всего пистолет, направленный прямо ему в глаза, в лоб, и уже потом разглядел бледное, бумажной желтизны лицо с неподвижными широкими зрачками; желтизна была, очевидно, от густой рыжей щетины, наросшей до самых глаз. «Ну вот, – сказал себе Захар, – ну вот и все».

Он стоял и растерянно глядел на немца, сразу поняв, что тот ранен в ноги: немец двигался лишь верхней половиной тела, а нижняя

была мертва, и это Захар ухватил бессознательно, инстинктивно; черная горошина дула перед глазами вздрагивала.

Захар через силу перевел глаза повыше, на темные, распухшие губы в глубоких трещинах, и услышал сладковатый, мутный запах гниения, запах тек от немца. «Сейчас он выстрелит», – подумал Захар, не чувствуя, однако, никакого страха и глядя теперь немцу прямо в зрачки. Подогнувшись, движением плеча он сбросил тяжелые мешки; от усталости круглая черная горошина покачивалась перед ним – вправо-влево, вправо-влево.

Он почесал одну ногу другой – повыше щиколотки, немец дернул распухшими губами и опустил пистолет. Ещё немного – и немец откинул назад голову, тяжело дыша всей грудью, и закрыл глаза. Захар стоял перед ним и не знал, что делать: можно прыгнуть на немца и отобрать у него пистолет, а то и просто пригнуться и шмыгнуть в кусты, черт с ними, с мешками... Немец застонал, показывая сухие плотные зубы, и сразу весь ослаб; Захар подошел, присел рядом с его головой на корточки.

Немец лежал без памяти; это был человек лет тридцати пяти – сорока, щеки у него запали, кожа высохла и обтянулась, и лоб выступил четче, крупнее; бросались в глаза широкие потертые ладони; судя по пилотке и сапогам, валявшимся тут же, – рядовой солдат, на правой ноге штанина у него засучена до колена, а вся нога ниже толсто обмотана нечистым тряпьем, в темных, засохших пятнах крови и земли; раненую ногу он сам перевязывал и, очевидно, еще надеясь жить, не замечал тонкого запаха разложения, исходившего от ноги, неуловимо пропитавшего все вокруг – кусты, траву, обрывки тряпья.

Глаза Захара остановились на пистолете. «Черт, хороший пистолет, наверное, многозарядный, припрятать бы, потом на улицу с ним ходить». Захар не решался взять пистолет – вот если бы немец не валялся как дохлый... В это время он почувствовал, что немец очнулся и глядит на него. И опять их глаза встретились, и первоначальный испуг, мелькнувший во взгляде немца, сменился удовлетворением; вернувшись оттуда, он узнал Захара и обрадовался ему и тому, что узнал его, но его почти сводила с ума жажда, и, уже не думая ни о чем другом, кроме воды, он попросил пить. Захар, мучительно напрягаясь, вслушивался в незнакомые слова, глядел на его рот, на сухие губы, пересохший, шершавый язык; немец стал показывать руками, тогда Захар понял и закивал.

— Пить хочешь? – спросил он. – Воды, да, воды?

— Воты, – повторил немец, страдальчески, с мольбой заглядывая Захару в глаза. – Вота, вота... – еще раз повторил он и неожиданно сказал: – Иван, руски Иван, спа-сипа.

«Иван» он выговорил ясно, опять ищуще заглядывая Захару в лицо. Захар вспомнил, что недалеко отсюда видел несколько касок, и, кивнув немцу, не отрывавшему от него жадного взгляда, побежал по своему следу назад и вскоре действительно наткнулся на каску, затем на другую; Захар сходил к ручью, отыскал чистую колдобину и, ополоснув каски от набившегося туда сора и муравьев, зачерпнул теплой воды и понес немцу. Захар торопился, глаза немца все время стояли перед ним.

Возвращаясь назад, Захар беспокоился, ему почему-то стало неудобно за себя, за то, что он пожадничал и весь день, надрываясь, таскал из лесу консервы и сухари, за то, что снял сапоги с убитого. Но это мимолетное чувство быстро прошло, оставив взамен в душе нечто яркое, промытое; он словно проснулся и вспомнил, кроме землянок, трупов, обломанных яблонь, свою школу, и книги, и как отец учил его играть на гармошке, а еще их возили всей школой в район на концерт, – наверное, подвод тридцать собралось, не меньше...

Высоко в небе летели самолеты. Мельком взглянув на них, Захар с удовлетворением отметил: «Наши, двенадцать штук» – и поспешил дальше; он облегченно передохнул, встретив светлые, ждущие глаза; немец сидел, подавшись вперед, Захар молча протянул ему одну из касок и глядел, как немец, мучительно задыхаясь и дергаясь, пил, опустив лицо в каску, затем через край ее и потом ждал, запрокинув голову и двигая кадыком, пока последние капли стекут ему в рот. Захар протянул ему вторую каску, немец выпил и ее, как пьяный, не отрываясь. На глазах у Захара лицо

немца покрылось мелким потом, и он обессиленно откинулся на спину и затих, пистолет по-прежнему валялся рядом, и Захар свободно мог взять его.

Он подобрал каски, сходил и принес еще воды. Солнце опустилось совсем низко, и Захар подумал, что сегодня ночью будет прохладно; развязав мешок, он достал буханку хлеба, банку консервов, вскрыл ее ножом и поставил рядом с немцем; теплый запах консервного мяса заставил немца открыть глаза, но есть он не стал, от выпитой воды он совершенно ооессилел, глаза его сонно ворочались.

— Спасипа, – сказал он, опять закрывая глаза.

Захар присмотрелся к его лицу, чуть-чуть ожившему, и стал завязывать мешки, собираясь уходить.

— Я к тебе еще завтра приду, – сказал Захар, думая о том, что бабка Палага беспокоится. – Лучше бы тебя к людям перетащить, – подумал он вслух и уже хотел взвалить на себя мешки, но немец в это время открыл глаза и стал испуганно садиться, опираясь на дрожащие локти. Он нашарил возле себя небольшую зажигалку, щелкнул ею, вытянул губы в направлении огонька и полыхал, затем протянул зажигалку Захару. Захар, поняв, что немец просит курить, поскреб в голове; от зажигалки он отказался.

— Зачем мне, себе оставь. Э-э, да что там, с тобой не столкуешься. – И знаками объяснил, что ему не нужно зажигалки.

«Ну вот, теперь, видишь, курить ему надо», – подумал он про себя с досадой, но мешки оставил и после короткого раздумья отправился в лес бродить по блиндажам и траншеям и вернулся лишь к самому заходу солнца, когда к земле уже припала легкая тень. «Вот ведь какая чепуха, – думал Захар, возвращаясь. – Почему я должен искать ему курить? Бабка теперь с ума сходит, может, мать с Толиком вернулись. На кой мне этот дохлый немец?»

И хотя Захар хотел этим вызвать в себе злобу, злоба не приходила, лишь сильнее становилось чувство удивления и потерянности: он не знал, как ему поступить, – ведь пока нет здесь ни сельсовета, ни колхоза, ни соседей, никого, и саперы из лесу, кажется, ушли, он даже кричал их, но никто не отозвался. И бросить немца неловко, все-таки раненный, и глаза у него больные, просящие, силится что-то сказать.

А как поговоришь, если знаешь по-немецки всего несколько слов? Смех. Например, орел по-немецки «адлер», а обезьяна – «аффе», но при чем тут орел и обезьяна? Немец казался ему большой больной скотиной, коровой или лошадью, – глядит, рвется поговорить, а не может. Захар нашел в блиндаже растоптанную пачку сигарет и вторую, почти целую; при виде убитых он проходил теперь мимо без прежней внутренней дрожи, равнодушнее, просто не обращал на них внимания.

Захар привык к табаку недавно и теперь с жадным нетерпением и удовольствием глотал дым и щурился; перед глазами начинало плыть лицо немца, кусты. Черт, хорошо все-таки вытянуть ноги, прилечь на спину и глядеть в потемневшее закружившееся небо. Сам он от безъязычия, от неумения объясниться с немцем тоже вроде Тимки-немого, деревенского дурачка. Интересно, уцелел Тимка?

Захар докурил сигарету, подождал, чтобы кружение головы прошло. С востока на небе высоко появились редкие белые облака, с одной стороны слегка розоватые, словно подпаленные; немец задрал голову и, сдвинув окурок сигареты в угол рта языком, тоже следил за ними. В кустах закричала какая-то птица. «Чу-у-у, – разнеслось в посвежевшем воздухе, – чу-у-у!» И в уши Захару хлынул целый мир звуков, шорохов, голосов словно кто вынул у него из ушей плотные пробки.

Захар опять увидел на лице немца слабую улыбку. Она чуть-чуть мелькнула и тут же исчезла, но Захар заметил её, – конечно, немец боится его ухода, а ему надо идти, он как раз думал об этом. Захар решительно встал на ноги и наклонился над мешками. Немец молча и сосредоточенно глядел на него и больше не улыбался, затем торопливо завозился и протянул к Захару руку; Захар шагнул к нему и тут же отступил.

Немец отдавал свои часы с твердым, побелевшим на краях, пропитанных потом, ремешком. Захар отмахнулся, не взял, но немец настойчиво тянул к нему руку и что-то быстро

и горячо говорил. Тогда Захар взял часы, и немец слабо улыбнулся, похлопал его по плечу и опять без сил повалился на свое тряпье, а Захар осторожно протер рукавом циферблат, и снова положил их рядом с немцем на голенище сапога, и торопливо, пока окончательно не стемнело, стал собирать кругом топливо для костра и рвать траву, чтобы постелить.

«А, чёрт с тобой, – с тоской думал он, – переночую, сварю суп из консервов, а завтра что-нибудь придумается. Может, подвернутся наши солдаты или в район сходить, пусть заберут, раз он раненый и сам двинуться не может. А часы ему нужнее, пусть знает время, на что они мне? Вот пистолет бы...» Работа у Захара двигалась быстро, и скоро немец, застонав, перекатился на подстилку из травы, к весело потрескивающему костру, и прислушивался к булькающему в касках супу из консервов. Немец глядел на Захара и мучился: хоть и живой человек рядом, а ничего ему не расскажешь, не поблагодаришь как следует.

Русский паренек хорошо сделал, не ушел, и, если бы он знал и понимал всю правду, он бы и не подумал уйти. Немца все чаще охватывало жаром, и он терял память от жгучей боли в спине; у него медленно отказывали руки, и он знал, что это такое. Утром он разматывал повязку и видел зловещие синеватые пятна, они проступили уже выше колена, а русский парнишка ничего этого не знал и поэтому хотел уйти.

А вообще он, Артур Фугель, трус, ведь у него есть пистолет, и в нем есть пули, а он вот лежит и мучается, а это надо давно сделать, как только появились на изувеченной ноге синие пятна и стал деревенеть позвоночник. Вот теперь и живот и грудь охватывает огнем, и он, конечно, рад: перед концом судьба послала живого человека, хотя и нельзя ничего ему рассказать. Будут расти в Дрездене двое детей, две девочки, Мария и Грета, жена состарится, а они вырастут; теперь, издали, он понимал: настоящая жена у него была, замечательная мать.

Всего неделю назад прислала письмо, просила не беспокоиться за детей и за нее, заклинала беречь себя. За трое суток здесь, в кустах, Артур Фугель привык к мысли, что он только падаль, а теперь судьба послала ему напиться и поесть, даже огонь костра и человеческий голос; за трое суток он заново прошел всю войну, он был всего лишь рабочим, обыкновенным каменщиком, правда, хорошим мастером, но теперь другие времена, нужны солдаты, а не строители. Пришел час, его одели в жаркое сукно и послали на Восток, и вот он лежит и умирает на Востоке.

Жаль, нельзя ничего рассказать парнишке, они точно с вырванными языками, могут лишь глядеть друг на друга... А к утру станет хуже, он не сможет терпеть боль, и лучше бы не ждать утра и парнишку освободить. Ему очень хотелось сказать парнишке, как ловко обманывают бедолаг, подобных ему, Артуру Фугелю: говорили, проще простого захватить богатые земли на Востоке – и живи, и наслаждайся! Вот он и лежит, наслаждается, лежит, подыхает на этой земле. И благополучно сгниет, и никто об этом не узнает.

А земле что, земля его примет... Мерзкая ложь, что землю можно захватить. Землю нельзя захватить! Он, Артур Фугель, понял это и умирает и даже не может высказать кому-нибудь свою мысль. Человек имеет в избытке много хорошего, но понимает это, лишь когда приходит смерть; думал ли он, Артур Фугель, во что он оценит глоток воды из рук конопатого русского парнишки?.. Вот опять начинается... Он запрокинул голову и закрыл глаза, его словно сунули спиной в костер, в самый жар, нет, нет, не выпустить бы из руки пистолет... Какие все подлецы, мерзавцы там, вверху!..

В небе светились звезды, раньше он не обращал на них внимания, а теперь за две ночи привык и радовался им всякий раз, когда возвращался оттуда.

Больше ему ни о чем не хотелось думать, только глядеть на звезды. Вот и звезды он хорошенько успел разглядеть за последние две ночи, жаль, что раньше он не обращал на них внимания, но сейчас ему никто не мешает глядеть на них сколько угодно, только почему-то не чувствуется больше тяжесть пистолета, и руки исчезли, он не чувствовал их тоже. И он понял: теперь нужно умереть.

— Немец, – весело сказал от костра Захар, – суп готов. Давай есть. Плохо, ложек нет. Как думаешь, обойдемся? Можно и так выпить да руками поесть мясо. Шевелись, шевелись, фриц. Подожди, я тебя пристрою.

Захар подбросил в костер веток потолще и, захватив пучком травы каску, поставил ее перед немцем; тот лежал молча, у него еще звенело в голове от недавней боли, но он решил поесть. Суп из консервов, последний суп, теперь уже все. Захар достал еще одну буханку хлеба и разломил пополам.

— Вот, давай, фриц, сказал он, с нетерпением ожидая, пока остынет каска и можно будет есть из неё. – А может, у тебя ложка найдется?

Немец не понимал, и Захар долго показывал, затем махнул рукой. Ему тоже хотелось поговорить, он был доволен прошедшим днем, хоть бабка и поругается завтра, не в первый раз.

— Ничего, фриц, – говорил Захар, – теперь для тебя война капут. Вылечат, будешь живой, наши раненых не добивают. Вернешься домой. Матка небось есть?

Захар произнес слово «матка», подразумевая под этим жену, так как немцы всех женщин звали «матками», и Артур Фугель, каменщик из Дрездена, по особой интонации в голосе Захара понял и с усилием утвердительно качнул головой, уже далекий от еды, от жены и детей. Захар увидел его оскаленный рот и торопливо принял от него подальше варево, поставил к огню, чтобы не остыло.

Сходив к ручью, он замочил какую-то оказавшуюся под рукой тряпку – не то полотенце, не то портянку. Трава стала сыреть и холодила босые ноги; скоро покажется луна, а пока стоит кромешная темень, от костра все перед глазами сливается в сплошную черноту; Захар шел, протягивая вперед руки, осторожно нащупывая землю ногами. Он с трудом отыскал колдобину с водой, вернулся на крошечный отблеск костра в густых кустах.

Ветки в слабом полусвете от шатающегося огонька отбрасывали на землю широкие шевелящиеся тени; почему-то резко запахло мятой. Немец опять лежал без памяти; Захар пощупал его лоб и положил на голову ему мокрую тряпку, единственное, что он сейчас мог сделать, и подбросил в костер веток. «Хорошо, лето сухое, и комары подохли, редко-редко прозвенит какой над ухом...

«Надо поесть», – решил Захар и стал хлебать из миски через край. Мясо из консервов разварилось, и, хотя похлебка после трудного, долгого дня показалась необыкновенно вкусной, Захар ел медленно, по-крестьянски основательно. Насытившись и борясь с дремотой, он опять сходил к колдобине, вымыл каску, напился и, вернувшись с полной каской воды к костру, перевернул мокрую тряпку на голове у немца.

«Наверное, теперь за полночь», – подумал он и, вспомнив про часы, нащупал их на мешке немца. Часы шли, стрелки показывали двадцать минут первого. «Ого! – удивился Захар. – Быстро, надо поспать». Он примерил часы себе на руку, застегнул ремешок, полюбовался и, стыдясь, быстро оглянувшись на лежащего в беспамятстве немца, снял часы и положил на место. Прикорнув у костра и борясь с подступавшей дремотой, тоскливо оглядывался и прислушивался. Мерещилось, рядом кто-то неопределенный, лохматый, из рассказов бабки Палаги, бродит в кустах и пялит глаза.

«Брошу фрица к чёрту, – зло подумал Захар. – Чего он ко мне привязался? Все равно помочь не могу, чего тут дрожать? Не повезло мужику, убить не убило, со своими не ушел, теперь страдай». Захар лег навзничь, злясь на себя, что не может спать. Костер слабо пригревал один бок, приятное, слабое тепло огня проходило глубоко внутрь. «Хоть бы с немцем поговорить.

Интересно, небось теперь клянет своего Гитлера, хоть и немец, а человек, болит у него, видать, здорово... Дела! Встретились два человека – не могут ничего друг другу сказать, говорили бы все одинаково... А то я ему одно, а он другое, и нет никакого понятия. Никому и не расскажешь, осмеют, даже бабка Палага дураком обзовет, что не бросил немца и не ушел. А может, и не обзовет. Бабка Палага всякую тварь жалеет, она и меня приучила не бояться в лесу ночевать. А может, приплелось

все во сне – и хлеб, и консервы, и землянка, и то, что немцев вообще прогнали?»

Захар, стараясь проснуться, вздрогнул: немец мучительно громко скрежетал зубами, быстро и непонятно бормоча; для Захара слова сливаются в один долгий слабнущий крик. Захар подбросил в костер сушья и подполз к немцу на коленях, немец очнулся и тихо стонал. Захар напоил его из каски, зубы мелко постукивали по железу, и белки глаз от костра у немца желтовато светились.

— Ты, может, поешь, фриц? – неуверенно спросил Захар, поднося к нему каску с теплой похлебкой, стараясь заставить его почуять запах пищи.

— Наин, – сказал немец, втягивая ноздрями воздух, силясь повернуть тело. Захар неотрывно следил за ним, и немец опять стал что-то говорить – быстро, трудно, с хрипом, а Захар испуганно глядел на него, сидя рядом и подтянув колени к подбородку.

Он понимал – немец жалуется и говорит, как говорят иногда от горя со скотиной, но ведь он все равно ничего не мог понять и едва удерживался, чтобы не вскочить и не убежать: так ему стало не по себе. И немец, точно чувствуя, замолчал, вгляделся в освещенное одной стороной лицо Захара, затем зажмурил глаза и, вздрагивая губами, молча заплакал.

Под утро из-за леса появилась луна, торжественная, круглая, по воздуху сеялся прозрачный свет. Захар сидел, положив голову на колени, чтобы не заснуть, и слушал, как начинают в кустах попискивать и перепархивать птицы. Перед самым рассветом по кустам зашелестел ветер, и Захар окончательно закоченел и проснулся. Все-таки он заснул. Немец лежал, навалившись на правый бок, и глядел как-то странно. Может, Захар и проснулся от его взгляда. Лицо у немца застыло неподвижной белой маской.

Захар зябко передернул плечами; в глазах раненого не было живого света, хотя они были широко открыты. Всходило солнце, птицы кругом свистели, тенькали, недалеко орала утка, в небе стояла безбрежная просинь, и на месте костра лежала пухлая зола; от прикосновения ветра она приподнималась и летела пылью.

Немец слабо шевельнулся, он упорно старался не упустить Захара из виду и смешно ворочал глазами. «Боится, что уйду, – подумал Захар. – Чего, скажи, косоротится, ведь не ушел же».

Присев у кучи хвороста и косясь на немца, Захар принялся ладить костер.

— Ладно, фриц! Вот тебя покормлю, потом сбегаю, может, приведу кого. Тебе есть надо, ты это зря, еще поживешь, молодой.

И тогда Артур Фугель сделал то, к чему готовился всю ночь. Он стал знаками просить Захара взять пистолет и выстрелить ему, Артуру Фугелю, чуть выше уха, ближе к виску; он говорил, кося глазами то на пистолет, то на лицо Захара, и Захар понял.

— Ну уж нет, – сказал он торопливо, отодвигаясь ползком подальше, и немец опять стал говорить, что тут ничего больше не придумаешь – война! – он сам бы застрелился, но не может теперь, отказали руки, а раньше он все боялся. Он говорил, что Захар уже не мальчик, а мужчина и ему нужно не бояться таких вещей, раз он мужчина.

Говорил и все глядел на Захара, а Захар отрицательно тряс головой, стараясь не встретиться глазами с немцем. Он видел, как шевелилось на немце окровавленное заскорузлое тряпье; в одном месте, в поясе, приоткрылось голое тело, и от этого бледного, уже мертвого тела Захар окончательно все понял: немца разбило параличом – вот отчего он застыл бревном и только глазами ворочает. Все-таки, глянув немцу в глаза, Захар не мог оторваться; ему показалось, что и сам он в свои четырнадцать лет старый-старый.

Захар смахнул руковом неожиданный пот с лица, затряс головою:

— Нет, фриц, не проси. Я сейчас на дорогу выйду, может, какую машину остановлю. Ты не бойся, помогут, есть доктора хорошие.

Захар повернулся и побежал напрямик, через кусты. В полях стояла тишь. Задохнувшись, он пошел медленнее, потом опять побежал. Еще издали он увидел, как по большаку с промежутками минут в пятнадцать – двадцать шли машины. Захар долго не мог остановить ни одной.

Машины шли груженные выше кабин ящиками, мешками, и, когда очередная, с тремя солдатами в кузове, все-таки остановилась, Захар долго не мог толком объяснить своего дела пожилому старшине с белым косым шрамом через весь лоб и со смешливыми глазами. Солдаты были веселые от победы, от стремительности первых дней наступления. Один, низенький и курносый, долго слушал Захара, затем захохотал.

— Насмешил ты, парень! Подумаешь, немец! У нас задание другое, нам немцев бить надо, а подбирать их пусть господь бог к себе подбирает! – Он поднял куцый палец к небу: - Вон их дорога, туда, в райские кущи.

— Погоди, Сазонов, – нахмурился старшина и замолчал, раздумывая.

— Помирает он, – сказал Захар. – Паралик его стукнул. Ни рукой, ни ногой не двинет.

— Эх ты, сопля! – опять вмешался низенький. – Он тебя не пожалел бы.

— Сазонов! Придержи язык! – больше по начальственной привычке оборвал старшина и спросил у Захара: – А далеко?

— Километра полтора, товарищ старшина.

Старшина, прочищая ноздри, шумно высморкался; опять и опять оглядывая Захара, он решал, и по его косящим глазам Захар понимал, что ему очень не хотелось идти глядеть парализованного немца, и Захар видел, что сейчас он откажется.

Мимо проносились машины, сухой, пыльный большак лохматился хвостами пыли.

— Товарищ старшина, недалеко тут, ей-Богу, – опять подал голос Захар.

У него жалко дрогнули губы, и он отвернулся. Старшина, привыкший за долгие три года к любым смертям и отвердевший сердцем, как-то по-иному взглянул на Захара: дело-то не в немце, а вот в этом парнишке, и ни к чему накладывать на его душу еще одну тяжесть, видать, невесело ему пришлось и без того. Раз так просит, решил старшина, можно и сходить.

— Отец у тебя где?

— Батьку с начала войны взяли в армию. Сейчас не знаю где, может, живой...

— Конечно, живой, – пригладил вихор Захара старшина. – Ладно, пошли, ребята, разомнемся чуток. А ты, Коля, – обратился он к шоферу, – скаты проверь.

Захар повел их напрямик, тем же следом, которым вышел к большаку сам; он торопился, и солдаты вспотели, поспевая за ним. Захар шел первым и немца увидел первым и попятился назад; над лицом у немца столбиком толклись зеленые мухи. И старшина увидел. Оглянувшись на Захара, крякнул, отошел на подветренную сторону.

Солдаты потоптались вокруг мертвого, коротко переговариваясь; Захар все стоял и глядел.

— Беги-ка ты домой, парень. Лопатку бы, прикопать... Иди, иди... видишь, помер. Батьку теперь дожидай. Они ушли, не сказав ничего больше Захару, торопились – следом шла война. И только старшина оглянулся издали, опять задерживаясь взглядом на торчавшей из кустов голове Захара, и, томимый проснувшейся печалью и тревогой, подумал, что так вот и растет человек и однажды встречается лицом к лицу с неожиданной горечью жизни, и она оставляет в его душе первую глубокую зарубку.

Старшина вздохнул про себя и отправился догонять своих солдат, а Захар стоял и стоял. Зеленые мухи начали садиться наконец на мертвое лицо немца, и тогда Захар пошел прочь; через поле он вернулся к тому, что было когда-то деревней. Солнце уже хорошо пригревало. Дома его ожидала новость: еще издали он услышал возле землянки голос Толика; тот увидел Захара и пронзительно закричал:

— Бабуш! Бабуш! Захарка идет! Захарка нашелся!

Толик выскочил из сада навстречу брату, подбежал, подпрыгнул, стараясь ухватиться за плечи; Захар подхватил его на руки, мученически заморгал, отчаянно сморщась, удержался, сильно прижал к себе голову брата и не отпускал ее от своего плеча, уже не чувствуя рук бабки Палаги, обхвативших его сзади, и не слыша ее голоса. Затем, приходя в себя и различая близко рядом с собою кричащие, дикие глаза бабки, он беспомощно пошевелил губами и стал бестолково осматриваться кругом.

— Нету же, нету ее, твоей матери! – вдруг ворвался в него стонущий голос бабки Палаги. – В Германию угнали, проклятые, на смертушку верную, оставили вас сиротами. А Толика дед Терешин вчера под вечер привел, да все-то он мне рассказывал про нее, горемычную. Да как же мы теперь жить будем без матери, и кто знает, уцелеет ли хоть батька на сиротскую нашу долю... О-о, доченька моя, несчастная, ты моя ягодка горькая!..

Сам готовый завыть в голос, глотая слезы, Захар все старался оторвать от себя цепкие старушечьи руки и говорил бессмысленно:

— Брось, бабуш, не надо, брось... Теперь все кончилось, война скоро кончится, хватит, хватит тебе... Да брось же ты меня, старая, не держи! – сорвался он на высокий крик, и руки бабки опали, она, всхлипывая, прошла к землянке, где недалеко от двери, привязанный за ногу бечевкой к яблоне, ходил рядом с белой курой огненно-рыжий петух.

Он то и дело останавливался и, сердито бормоча, клевал тугой узел у себя на ноге повыше длинной, острой шпоры; один глаз у петуха закрывал свалившийся набок тонкий зубчатый гребень яркого малинового цвета.

Разглядывая нежданный прибыток, Захар положил руку на худенькое плечо брата и невольно притянул его к себе и от усилия не выдать растерянность и боль достал пачку сигарет и стал закуривать. Продолжали наступление и, продвинувшись вперед от 6 до 8 км, заняли ряд населенных пунктов, в том числе город Волхов. С занятием города Волхова наши войска закончили ликвидацию сильно укрепленного района противника севернее Орла.

Николай Родичев

ЕГОР ИЛЬИЧ

Командир запасного полка, наметивший позицию для учебных стрельб по ту сторону железнодорожной насыпи, очевидно, не учел, что гаубицу нам придется выкатывать на руках по крутому взлобку, обильно политому ночью первым весенним дождем. То ли потому, что весь орудийный расчет был скомплектован из бывших госпитальных, то ли бойцы еще недостаточно сдружились – пушка застревала на полдороге в колдобине, ноги бойцов скользили по откосу. Напрасно сержант Туляков, командир расчета, рвал глотку, поглядывая на часы:

– Раз-два, взяли!.. Н-ну-у… – выдыхал он, хватаясь за спицы колеса то слева, то справа.

Гаубица какое-то время катилась вперед, переваливаясь с боку на бок, как жирная гусыня. Потом, словно забоявшись крутой дороги, начинала сползать обратно, увлекая за собой измученных солдат.

– Эх, пару лошадок бы сюда – вздохнул ефрейтор Анисим Голубь, сворачивая козью ножку. Длинный, исхудалый, пропахший за многие лазаретные месяцы какими-то неистребимыми запахами лекарств, Анисим был старше всех в расчете и больше иных мученный войной. Тяжелый осколок перебил ему ключицу и распорол щеку от подбородка до виска. В холода и при нервном расстройстве шрам становился фиолетовым, дергался. И тогда Голубь прикрывал его ладонью, стыдясь своего увечья.

– С лошадками мы враз бы перескочили на другой бок насыпи, – закончил он, потирая шрам.

– Какие у них лошадки! – досадливо махнул рукой командир расчета в сторону колхозной деревеньки, сиротливо разбросанной в огромном полудужье насыпи, огибающей деревню кольцом. И без того низенькие, вдобавок обветшавшие за войну хаты казались с насыпи еще более жалкими.

Сержанту возразил наводчик Супрун, тихий, всегда молчаливый, старательный, а потому, видно, больше остальных притомившийся воин.

– Лошади должны быть, – заявил Супрун. – Колхоз ведь тут. Без машин они – это правда. Но утром я сам слыхал, как ихний бригадир наряд давал на пахоту…

– Иди разведай, – коротко бросил мне сержант. – Скажи, мол, на полчасика нам коняга требуется. В момент вернем.

В ежедневных солдатских заботах от темна до темна мне как-то недосуг было полюбопытствовать, чем жива эта крохотная деревенька, недавно вызволенная из оккупации, – обескровленная, разграбленная фашистами и полусожженная ими напоследок.

Я постучался в крайнюю избу. На разворошенной, неубранной кровати сидела седая женщина, зажав в подоле гильзу из-под снаряда. Тележечным скворнем старуха растирала в гильзе просяные зерна.

– Широбоков Егор… сынок Ильи теперь за старшего у нас, – ответила бабка, поглядев на меня вкось, не подымая лица.

На другом конце деревни я приметил мальчонку лет четырнадцати. Был он курнос, конопат, с зелеными девчоночьими глазами. Но уж больно строгим показался он мне, хотя и занимался интересным для его возраста делом. Потоптавшись около минометчика, который протирал на завалинке ствол оружия, подросток с разрешения бойца взвалил на плечи девятнадцатикилограммовую плиту и прошелся с нею по двору.

Я пристыдил бойца:

– Чего позволяешь пацану такое поднимать? Не по летам ему…

Минометчик смерил меня изучающим взглядом через плечо и продолжал шуровать тряпкой.

Подросток бережно прислонил плиту к завалинке и отозвался на мои слова:

– Мне – что! Я только попробовал. Батяня от Волги до Днепра такую нес. Может, и дальше придется…

– Ну каково нам, солдатам? – не удержался я.

– Тяжело ему, – вздохнул паренек. И тут же добавил:

– Только бы немца пересилили да домой вернулся. Мы с маманей тут ему вволю отдохнуть дадим. Хоть до самой старости пусть ничего не делает, все сами поработаем.

И тут я обратил внимание на руки паренька: черные кисти, потрескавшиеся ладони. Сам приземистый, в росточек не выбился, лицо детское, в веснушках, а руки с солдатскую лопату! Руки эти были словно чужими у него.

Паренек перехватил мой взгляд и машинально стал нащупывать карманы.

Узнав, что я ищу бригадира, паренек сказал просто:

– Широбоков Егор – вот он я… Егором Ильичом меня теперь зовут.

Заметив мое изумление, он также невозмутимо разъяснил:

– Упряжку надо, товарищ бригадир!

– Лошадок? – Егор Ильич даже подался мне навстречу, обрадовавшись. Однако, когда разобрался, что к чему, невесело осклабился:

– Нема лошадей, ни одной…

В глазах бригадира то мелькала радость, надежда, то опять он становился не по-детски угрюмым.

– А пашете на чем?..

И тут я поперхнулся. С огорода донесся нестройный бабий галдеж… По артельному полю в сторону деревни, перехлестнувшись лямками, подбадривая себя хриплыми голосами, тащили плуг женщины.

Порыв ветра срывал верхний слой земли с комьев и кидал пылью в их посеревшие лица, затрудняя дыхание.

– Арина Буланова нынче борозду ведет… Вроде за коренника у них, – с грустью проговорил Егор Ильич. – Старший сын и муж у тетки Арины на войне… А вот та, что по правую руку от нее, маманя…

Паренек потоптался на месте, затем, как бы вспомнив о главном, побежал к пахарям, кинув на ходу:

– Пойду-ка я подмогу им на повороте!..

Заробев от мысли, что колхозницы увидят меня и догадаются, зачем солдат пожаловал к ним в страдную пору, я свернул в переулок.

– Ну что, пришлют лошадей? – спросил Анисим Голубь, не дожидаясь, пока я доложу командиру о выполнении задания.

Я молча подошел к Тулякову, попросил у него бинокль и, наметив ориентиры, указал сектор наблюдения.

Лицо сержанта вытянулось, едва он поднес бинокль к глазам. Смерив Голубя уничтожающим взглядом, он передал оптику ему.

Мы все видели, как заиграл, задергался шрам на щеке ефрейтора, но тот словно не чувствовал. Он прижимал к глазам бинокль

даже тогда, когда отвернул лицо в сторону. Голубь хотел таким образом задержать стыдную слезу, вдруг навернувшуюся на глаза. Но она предательски покатилась по изуродованной щеке.

Когда бинокль обошел весь расчет, бойцы молча сгрудились у гаубицы. Помнится, никто из нас не подавал команд, мы не хотели даже смотреть друг на друга. А гаубица с первого захода выскочила на насыпь. Боясь оглянуться назад, мы катили ее по песчаному полотну, не разбирая дороги, через лужи и ухабы.

Если бы вместо насыпи тогда оказалась крутая гора, мы все равно не остановились бы, пока не достигли ее вершины.

Анатолий Романюк

ПОДСНЕЖНИК

В семи верстах от нас в лесу – поляна...
Хоть много лет прошло – забыть я не могу,
Как под конвоем гнали партизана
Фашисты в бьющую свинцом пургу.
Он был поставлен к зябнувшей берёзе,
Убийцам прямо посмотрел в глаза,
И то ль от ветра, то ли от мороза
На снег упала жгучая слеза...
Прошла война над выжившей поляной.
Но отголосок той былой грозы
В стволу березы – пулевая рана,
И, где казнили немцы партизана,
Подснежник вырос из его слезы.
...Я и теперь поляну вижу эту:
Подснежник... смерть...
Фашисты... и мороз...
И я хочу, чтоб не было на свете
Войны, смертей, и раненых берёз.

Владимир Рыбчин

*** * ***

Много пишут сейчас о Родине,
Объясняются ей в любви...
Не по книжкам Родина пройдена
Она в сердце стучит и крови.

Не могу я представить огромную,
Величайшую нашу страну
Без кудрявой берёзки скромной,
Что вошла по колено в Десну,

Без полей за деревней широких
(Им не надобно много слов),
Без колхозов, от центров далёких,
Без дремучих Брянских лесов.

Молча смотрят на нас обелиски
От Клетни и до Красной Горы...
Свято помним мы самых близких,
Тех, что Родину сберегли.

Ты у самого сердца России,
А кругом и поля, и леса...
Ах ты, Брянщина, свет мой синий,
Среднерусская полоса!

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Измятый, пожелтевший треугольник:
«Проверено цензурой», и печать.
Братишка мой, ещё вчерашний школьник,
Писал: «Привет, мои родные брат и мать...
Вы не волнуйтесь.
Был немного ранен.
Остался жив.
Уходим завтра в бой.
Привет огромный Комаровой Ане,
А как там Петька – одноклассник мой?»
Последнее письмо –
Щемяще больно
Читать и перечитывать его.
А смог бы я перед последним боем
Похожим быть
На брата моего?
А мать так часто, теребя косынку
И поднося к глазам её мысы,
Всё говорит:
— Хотя бы знать могилку
И посмотреть, где похоронен сын...

Николай Рыленков

* * *

Война переменит маршрут,
И вовремя, без опозданий
Сапёры придут, уберут
Обломки разрушенных зданий.

Ты будешь стоять и вокруг
В тиши озираться, волнуясь...
И вот под обломками вдруг
Сапёры найдут твою юность.

Ты помнишь — пропала она
Во время той первой бомбёжки,
Когда отцвела тишина
На жёлтой садовой дорожке.

Так пусть же разделит она
Солдатскую горькую славу
И будет погребена
По воинскому уставу.

* * *

Не тревожься, брось тоску, усталость,
Пусть не шепчет о разлуке мгла.
Ты со мной совсем не расставалась –
Где б я ни был, ты со мной была.

В дни, когда к привалу от привала
Шёл я мимо сёл и деревень,
Ты берёзкой на пути вставала,
В знойный полдень мне давала тень.

А когда на поле битвы жаркой
Вражьи пули ранили меня,
Ты ко мне спешила санитаркой,
Чтоб спасти меня из-под огня.

Наклонясь сиделкой к изголовью,
Ты бессонных не смежила глаз,
Как живой водой, своей любовью
Возвращала жизнь ты мне не раз.

И всегда, когда взгрустнётся малость,
Я шептал, в тревожный мрак ночной:
«Ты со мной совсем не расставалась –
Где б я ни был, ты была со мной»

* * *

Ире

Бой шёл всю ночь, а на рассвете
Вступил в село наш батальон.
Спешили женщины и дети
Навстречу к нам со всех сторон.

Я на околице приметил
Одну девчонку, лет пяти.
Она в тени столетних вётел
Стояла прямо на пути.

Пока прошли за ротой рота,
Она не опустила глаз
И взглядом пристальным кого-то
Разыскивала среди нас.

Дрожал росой рассвет погожий
В её ресницах золотых:
Она на дочь мою похожей
Мне показалась в этот миг.

Казалось, все дороги мира
Сошлись к седой ветле, и я,
Себя не помня, крикнул: «Ира,
Мой птенчик, ласточка моя!»

Девчонка вздрогнула и, глядя
Колонне уходящей вслед:
«Меня зовут Марусей, дядя», –
Сказала тихо мне в ответ.

«Марусей? Ах, какая жалость!» —
И поднял на руки её.
Она к груди моей прижалась,
Дыханье слушала моё.

Я сбросил груз дорожных тягот
(Ну что же, Ира, не ревнуй!),
Всю нежность, что скопилась за год,
Вложил в отцовский поцелуй.

И по дорогам пропылённым
Вновь от села и до села
Шагал я дальше с батальоном,
Туда, где дочь меня ждала.

СОЛДАТСКИЙ ТОСТ

Лес прозрачен. Ночью новогодней
Зажжены на ёлках свечи звёзд.
За кого ж, товарищи, сегодня
Первый мы провозглашаем тост?

За кого мы наполняем кружки,
По-солдатски навесу держа,
В час, когда серебряные стружки
Месяц ворошит у блиндажа?

Пусть, как клятва, что навеки свята,
Прозвучит нам, открывая год,
Первый тост за русского солдата,
Чьё в столетьях мужество живёт.

Тост второй за тех, кто бьётся рядом,
Кто в сраженьях порохом пропах,
Кто не спит с бессонным Ленинградом,
Кто громит врага под Сталинградом,
На Кавказе и в Донских степях.

Третий тост провозгласим по праву,
Звоном кружек огласив жильё, –
Мы за нашу боевую славу,
За оружье верное своё!

Чтоб глаза нам не застлало дымом,
Чтоб любой нам вынести поход,
Вновь наполним кружки и подымем
Мы за тех, кто нас с победой ждёт;

Слышит голос наш в железном громе,
В тьму и стужу устремляя взгляд...
А за нас сегодня в каждом доме,
В каждой хате тост провозгласят.

* * *

Мы снимем с плеч тяжёлые шинели
И станем вспоминать, удивлены,
Как пели птицы, как ручьи звенели,
Как зеленели рощи до войны,

Какие радуги свивало лето,
Какие звёзды падали в траву...
И, вспомнив, не поверим. Разве это
Мы знали не во сне, а наяву?

Ведь на войне, в дни гнева и печали,
Оставив дорогие берега,
Мы неба над собой не замечали,
Мы глаз не отводили от врага.

* * *

В суровый час раздумья нас не троньте
И ни о чём не спрашивайте нас.
Молчанью научила нас на фронте
Смерть, что в глаза глядела нам не раз.

Она иное измеренье чувствам
Нам подсказала на пути крутом.
Вот почему нам кажутся кощунством
Расспросы близких о пережитом.

Нам было всё отпущено сверх меры:
Любовь, и гнев, и мужество в бою.
Теряли мы друзей, родных, но веры
Не потеряли в Родину свою.

Не вспоминайте ж дней тоски, не раньте
Случайным словом, вздохом невпопад.
Вы помните, как молчалив стал Данте,
Лишь в сновиденье посетивший ад.

* * *

Как полынь, мне хлеб разлуки горек,
Долги ночи, беспокойны сны.
Может быть, стихи мои историк
Не запишет в летопись войны.

Может быть, во дни торжеств народных,
Где оркестров полыхает медь,
О привалах, о кострах походных
Будут строки не мои греметь.

Но, один оставшись, мой ровесник
Их откроет, словно свой дневник,
Про себя прочтёт и скажет — есть в них
Дым войны, что в душу мне проник...

Смолкнут хоры, отгремят оркестры,
И в часы раздумья нам опять
Боль, не занесённая в реестры,
Будет жажду сердца утолять.

ИЗ ДНЕВНИКА

Фронт приближался к Москве. В ту пору
Наш батальон стоял под Можайском.
И каждое утро всё ближе, ближе
Мы слышали пушечную канонаду.

А сводки газетные были скупы,
А письма друзей доходили редко.
И мы не знали, где наши семьи,
Бежавшие из городов сожжённых.

Мы видели только: по всем дорогам,
По всем колеям осенним, размытым
Тянулись подводы с утра до ночи,
Гружённые разным домашним скарбом.

На их перепутьях смолкали ветры,
Берёзы склонялись у перекрёстков.
И журавлей прощальные трубы
Гремели над ними в пустынном небе.

Но сухи были глаза у женщин:
Они за войну разучились плакать.
Им опалило ресницы горе,
Бледные губы сомкнуло плотно.

Я пристально вглядывался в их лица,
И сердце сжималось моё тревожно:
Может быть, встречу своих знакомых,
Может быть, близких своих увижу.

Мне в каждой девочке десятилетней
Виделась дочка моя Наташа.
Мне в каждой девочке пятилетней
Виделась дочка моя Ирина.

Но ни с Наташей моей, ни с Ириной
Не привелось мне тогда повстречаться:
Горькой рябиной, тоской журавлиной,
Казалось мне, в сердце они стучатся.

Казалось мне, я, как солдат, в ответе
За всё, что вынесут наши дети,
Лишённые крова, лишённые детства,
Бежавшие, еле успев одеться.

А рядом уверенно и деловито
Бойцы - белорусы и украинцы –
Противотанковые рвы копали,
Как погреба у себя в деревне.

Я видел: привыкшие к созиданью,
Люди за землю держатся крепко...
И снова мои расправлялись плечи,
И на душе становилось легче.

* * *

Прошедшим фронт, нам день зачтется за год,
В пыли дорог сочтется каждый след,
И корпией на наши раны лягут
Воспоминанья юношеских лет.

Рвы блиндажей трава зальет на склонах,
Нахлынув, как зеленая волна.
В тех блиндажах из юношей влюбленных
Мужчинами нас сделала война.

И синего вина, вина печали,
Она нам полной мерой поднесла,
Когда мы в первых схватках постигали
Законы боевого ремесла.

Но и тогда друг другу в промежутках
Меж двух боев рассказывали мы
О снах любви, и радостных, и жутких,
Прозрачных, словно первый день зимы.

Перед костром, сомкнувшись темным кругом,
Мы вновь клялись у роковой черты,
Что, возвратясь домой к своим подругам,
Мы будем в снах и помыслах чисты.

А на снегу, как гроздья горьких ягод,
Краснела кровь. И снег не спорил с ней!
За это все нам день зачтется за год,
Пережитое выступит ясней.

МАТЬ

В поле с ветром шепчется осина,
Хмурит ель в бору седые брови.
На войне у матери три сына,
Три невестки дома у свекрови,

Снег, как соль, рассыпан в звёздном блеске,
Каравай луны совсем не начат.
Соберутся у стола невестки,
Повздыхают, о мужьях поплачут.

Только мать не плакала ни разу,
Не вздыхала о разлуке горькой
С той поры, как верные приказу,
Сыновья простились с ней под горкой.

Ей недолго жить на белом свете,
Что ни день – её всё уже стёжка.
А посмотрит, у невесток дети,
Надо каждой пособить немножко.

Сядет потихоньку в уголочке,
Будто горя нет ни на копейку.
То для внука штопает чулочки,
То для внучки ладит душегрейку.

И не слышит вьюги-заварухи,
Что в полях катает перелески.
«Каменное сердце у старухи», –
Говорят, наплакавшись, невестки.

Что ж! Печаль у матери бесслёзна,
Улеглась под сердцем непогода:
Ей поплакать и потом не поздно,
Как сыны вернутся из похода.

* * *

Когда я рассматриваю в музеях
Картины прославленных живописцев, –
Мне вспоминается фронт под Москвою
И друг из сапёрного батальона.

Он был, как и я, командиром взвода,
Вставал до зари, надевал фуфайку
И говорил, обжигаясь чаем,
О рвах, эскарпах и контрэскарпах.

А до войны у себя в Смоленске
Писал он лирические пейзажи,
Поля в золотистом мареве зноя,
Луга, где купались в росе берёзы.

От этих пейзажей его осталась
Лишь горсточка пепла. Они сгорели
От зажигательных бомб немецких
Во время первой бомбардировки.

И горсточку пепла развеял ветер...
Но он не любил говорить об этом,
Молчал, потирая зябкие руки,
Привыкшие к кисти, а не к винтовке.

Мы были знакомы давно, лет десять.
На выставках и вечерах встречались,
Но лишь на войне, в батальоне встретясь,
По-настоящему подружились.

Завидев меня, он бежал навстречу,
Кричал, поблёскивая очками:
«Смотрите, смотрите, какое утро,
Какое пиршество красок в небе!

А лес? Что ни куст – то пятно цветное,
И пестрота их не режет глаза.
На полотне лишь большой художник
Такие мазки положить сумеет...»

Я трубку раскуривал. Мне казалось,
Что в Доме искусств мы сидим, листая
Альбомы картин мастеров любимых
В тиснёных кожаных переплётах.

А он продолжал: «Вот прогоним немцев,
И я непременно сюда приеду.
Хочу написать подмосковную осень
Во всём её русском великолепье.

Мне кажется: здесь я всего вернее
Чувствую душу природы русской...»
И вдруг чертежи блиндажей и дотов
Он доставал из своей планшетки.

Я знал, что ночами в сырой землянке
При свете мерцающего огарка
Он делал их тщательно и любовно,
Словно эскизы к своей картине.

А за оврагом гремели зенитки,
Спрятанные на опушке леса,
Ревели фашистские бомбовозы
В огне воздушного загражденья,

И в тесной землянке пред ним возникали
Картины Репина и Левитана,
Которым, как и его пейзажам,
Грозили фашистские зажигалки.

Он видел – ему вручена судьба их...
И он заслонил их собой в ту осень,
А сам навсегда под Москвой остался,
Не написав своей лучшей картины.

Вот почему в тишине музеев,
В гостях у прославленных живописцев
Мне вспоминается снова и снова
Мой друг из сапёрного батальона.

Нина Рылько

ПОЛИЦАЙ

Когда я брала классное руководство в 6-ом «б», меня предупредили: коллектив хороший, дружный, организованный, хотя есть в нем один… В общем, трудный.

Этого «трудного» я определила сразу. За последней партой сидел, потупившись, красивый мальчик, с каким-то болезненно нервным, можно сказать, затравленным выражением лица. Он не смеялся, когда смеялись другие, не торопился поднимать руку, когда все поднимали ее, не срывался с места после звонка на перемену. В общем, вел себя так, словно случайно попал в этот совершенно чужой, мало знакомый ему коллектив, с которым его ничего не связывало.

Нашему классу поручили привести в порядок цветник перед главным входом. В назначенное время все ребята дружно собрались у школы. Видно было, что класс не впервой трудится. Дежурные быстренько раздали рабочий инструмент. Кто схватил грабли, кто лопату, кто мотыги. Лишь у носилок получилась неувязка. Девочка Вера отбежала от них, как только с другой стороны за них взялся Ваня (так звали «трудного»).

— Вера! В чем дело? – спросила я.

— Не буду с ним работать! – резко ответила она.

— Почему?

Девочка молчала, отвернувшись, затем нехотя промолвила:

— Пусть другие с ним работают, а я не буду.

Я посмотрела на Ваню, и мне сразу стало жалко мальчишку, насколько расстроенный и убитый был у него вид. Причём, я уже успела заметить, с какой радостью и готовностью подбежал он к девочке, когда у носилок оказалась она одна.

— Вера, прошу тебя, – осторожно начала я, – посмотри, как дружно работают другие. Неужели ты хуже? – сделала я попытку немного задеть ее самолюбие.

— С ним работать не буду! – упрямо повторяла девочка.

— Но почему? – не отступала я.

— Потому что он полицай! – крикнула Вера и сильно покраснела.

— Какой полицай! – возмутилась я, – думай, что говоришь! Война давно закончилась. О каком полицае может идти речь!

— Отец его полицай, значит, и он полицай! – тупо повторяла девочка.

У бедного Вани на глазах появились слёзы, губы дрогнули, он махнул в отчаянье рукой и побрёл в сторону.

— Полицай! Полицай! – понеслось ему в спину.

— А ну, прекратите немедленно! – закричала я и подумала, насколько дети подчас могут быть несправедливыми и жестокими.

Мне все же удалось вернуть Ваню на участок, поставила его на прополку клумбы. Он работал один и старался изо всех сил. Время от времени я ловила на себе его благодарный взгляд.

На следующий день пробовала поговорить о нём с коллегами. Все в один голос твердили: трудный ребёнок, чего ему надо – не понятно.

— А почему его дразнят полицаем?

Никто не мог ответить на этот вопрос. Тем более, что никакого отца в личном деле не значилось. Решила разыскать Ванину маму. В школу, как утверждали учителя, она почти никогда не приходила. И вообще, как и сын, отличалась очень трудным, скандальным ха-

рактером, поэтому никто не хотел иметь с нею никаких дел. Жила семья замкнуто, гостей из школы не жаловали.

Я всё же разыскала маленький домик на самом краю посёлка. Дверь распахнула невысокая плохо одетая женщина, с невыразительным, бескровным, словно побывавшем в хорошей стирке, лицом и испуганным взглядом.

— Ну, что он там ещё натворил!? – истерично накинулась на меня она, не выслушав. – Надоело! Ходят и ходят тут! Покоя нет! Самый плохой на всю школу! Хуже нет!

И тут же повернулась, обращаясь к кому-то внутри дома:

— Выходи, Ванька! Опять мне за тебя краснеть надо! Выходи, архаровец чёртов! Надоел! Ох, как надоел! – она в отчаянье одернула на себе застиранный фартук.

Из-за её спины в глубине комнаты показался Ваня. В старой застиранной рубашонке, с испуганным лицом, он как-то нерешительно приблизился к дверям и, увидев меня, смутился, опуская глаза.

— Ну, что там ещё? – резко спросила мать, оглядывая меня злым взглядом, словно окатывая с головы до ног ушатом холодной воды.

— Я новый классный руководитель Вашего сына, – представилась я, стараясь совсем не обращать внимания на идущий от неё холод. – Хочу познакомиться с Вами, с условиями жизни мальчика.

— Многие тут ходили, всё жаловались. Надоели уже! – она стеной встала в дверях.

— Вы, может быть, всё же позволите пройти? – как можно спокойнее спросила я.

— Ну, проходите! – дрогнула стена, пропуская меня в дом. – Ванька! Стул неси!

Ваня выдвинул из угла стул:

— Садитесь, пожалуйста.

Я села, невольно огляделась. Очень скромненькая обстановка небольшой комнаты: кровать, диван, стол, тумбочка, невысокая этажерка с книгами. На окнах, за тюлевыми занавесками, обилие цветущей герани. Всё очень чисто, аккуратно. Похвалила цветы.

— А это Ванина забота, – ответила сразу немного подобревшая женщина. По её лицу пробежала сдержанная улыбка, – я ж целыми днями на работе горбачусь, а он и ухаживает за цветами.

— Да, – согласилась я, – уже на пришкольном участке убедилась, что он любит цветы.

— Вот! – обрадовалась довольная мать, – хоть Вы о нём хорошо сказали! А то все только и кричат: хулиган! Хулиган! – совсем заели бедного!

Ваня, который стоял тут же, в смущении переминаясь босыми ногами, сильно покраснел и, покосившись на мать, пробормотал:

— Ну, я пойду…

— Иди, иди, сынок, – подхватила женщина, – да к курям загляни, сегодня не кормлены…

— Помощник, – сказала с любовью, едва за сыном захлопнулась дверь, и, словно вспоминая что-то, опять запричитала:

— И чего придираются к бедному? Чем не угодил дитятко мой? И собой хорош, и книг вон сколько в дом натаскал. Я ему на завтрак даю, а он и малую копеечку не потратит. В конце месяца новую книжку в дом волокёт, радуется. Потом мне вычитывает. Я ведь почти неграмотная. И чем не угодил? А что делает иногда не так, так ведь доводят! Хоть бы Вы, новый человек, заступились за парнишку! – она быстро провела ладонью по щеке, утирая слезу.

Я невольно следила за спорыми движениями её небольших ловких рук. Знала, что работает на камвольном комбинате, числится в передовиках. Как бы между делом накрыла стол холщевой скатёркой, поставила чашки, сахар, сухари. Вот уже и электрочайник вскипел. Всё, казалось, располагало к неторопливой душевной беседе. Я понимала, что с этой простой, малограмотной, но, несомненно, умной женщиной надо быть предельно искренней и прямой.

— Как больно, обидно, – делилась она, – когда приходит из школы заплаканным. А никогда не жалуется. Парень – кремень. Я так, я этак. Молчит. Иногда и синяки приносит. Добиваюсь, откуда, кто, покажи мне! Пойду, в клочки разорву! «Сам»- говорит. Сам упал, сам ушибся, сам, получается, раз голову себе разбил. Ну, что с ним делать мне? Сил уже никаких нету. Посоветуйте! Вы ведь женщина

учёная. Вас в институтах учили. Вы знаете, как надо воспитывать-учить.

«Да, – невольно подумала я с горечью, – если бы этому можно было научить… Все, в основном, бредём чисто интуитивно, а подчас и в полной темноте. И действуем по велению сердца, по разуму, по долгу, совести. Хорошо, если они имеются… Ведь каждый ребёнок – это особая индивидуальность, со своей наследственностью, со своим характером, своей психикой, своими вкусами, пристрастиями, со своими привычками, со своим воспитанием или полным отсутствием оного, что довольно часто и встречается в наши дни. В последнее время утверждают, что и со своим знаком Зодиака. Это не твоя прядильная машина, поломки которой ты сама легко устраняешь за пять минут. Или, в крайнем случае, вызываешь мастера, человека со средним техническим образованием, который тоже очень легко устраняет их. Педагогика – это даже не наука, в которой есть строгая закономерность. Это – одно из сложнейших искусств, которое требует лишь индивидуального подхода к ученику. А если их в классе около тридцати?»

— А Вы пробовали сходить в школу, поговорить с учителями, с его товарищами?

— А кто со мной, тёмной женщиной, там по-хорошему говорить станет? Не успею на порог явиться, а ко мне сразу с ругней, с угрозами. Уже и не хожу туда, хватит с меня.

— И давно Вашему мальчику так трудно приходится?

— А с первого класса, считай, невзлюбили… Затравили совсем, дразнятся, обзываются по-всякому…

— А Вы не знаете, почему его полицаем называют? – прямо спросила я.

Женщина мгновенно побледнела. Потом по её белому лицу пошли красные пятна, рука с чайником дрогнула, в глазах снова появились слезы:

— Ой, горюшко мое! – воскликнула в отчаянье слабым голосом, опускаясь в изнеможении на стул. – Я виноватая мать! Не сумела защитить дитятко своё родное! На мне грех тяжкий лежит, а ребёнок страдает!

Она закрыла лицо ладонями, плечи вздрогнули от рыданий.

— Успокойтесь, прошу Вас, – уговаривала я её, поглаживая по плечу, – нет вины, которую невозможно было бы не простить. Надо только понять. Откройтесь. Давайте вместе подумаем, что можно сделать для мальчика. Ему надо помочь. У него жизнь впереди. Подумайте о сыне. Тринадцать лет с войны прошло! Какой тут может быть полицай!?

— А это правда! – вся в слезах снова вскинулась женщина. – Его отец и вправду полицаем был. Хотя сын ни разу не видел батю, слыхом не слыхивал его голоса. Что и обидно до слёз!

— Как же это было?

— Ой, – целая история!

Женщина вытерла концом вышитого полотенца слёзы, хлебнула из чашки, немного успокоилась. Помолчала.

…В августе 1943-го сожгли каратели несколько деревень в нашем районе. Обвиняли в связях с партизанами. Выгнали из хат людей, хаты пожгли, а всех нас гуртом погнали пешком на станцию. Говорили, чтоб рассадить по вагонам и отправить в Литву, где фашистские лагеря смерти имелись. Гонят полицаи нас, как стадо. Кто чуть зазевается, чуть отстанет, и прикладом долбанут. А мы в основном старики, женщины и дети. Бредём по пыли, по дождю, по грязи. Жратвы почти никакой. Все голодные, слабые, больные. Кое-как тащим старых, детей волокем. Те плачут, жалуются. Некоторые уже и идти не могли, валились прямо под ноги. Как только кто упадёт, тут же полицай пристреливает, потом за ноги хватают, в яму али в овраг какой сваливают. Рядом со мною женщина пожилая брела, потом упала. Тут же пристрелили. Потом пару стариков, мужа и жену. Говорили, учителя из другого села. Те долго всё за руки держались, что-то всё потихоньку один другому нашептывали. Вместе и упали. Сразу двоих и оттянули в овраг.

Страху, милая, натерпелись! На всю жизнь хватит! Даже больным и голодным, кому хочется подыхать? Я шла кое-как и всё спотыкалась: ноги в туфлях сильно натёрла. Думаю: вот-вот упаду! И тут вдруг замечаю, что один из полицаев, молоденький совсем паренёк, и красивый такой из себя, глаз с меня не спу-

скает, следит. А мы ж полицаев пуще немцев боялись и ненавидели. У меня маму и брата родного убили. «Что, думаю, уставился на меня, вражина?» Отворачиваюсь, а он отъедет немного (они все на конях верхами были), а потом снова подъезжает, глядит и навроде как жалеет.

Когда остановились на отдых, подходит и шепчет:

— Просись по нужде.

Я и попросилась. Его заставили конвойным быть. Рядом крутился. Отошли подале, в кусты, стаскивает он с себя сапоги, подает вместе с портянками.

— Надень.

Я было оттолкнула его руку, а он злится:

— Дура, свалишься ведь! Этого хочешь?

Переобулась.

— А ты как? – спрашиваю.

— У меня в обозе ботинки ещё имеются, – отвечает. И тут же говорит:

— Как на ночь остановимся, ложись с краю.

На ночь остановились у большого сарая. Видно, бывший колхозный склад. В нём и заночевали. Спали все впокат, один к одному. За день так ухандокались, что заснули сразу мёртвым сном. Одна я не спала. Лежала с самого края, у ворот. Сперва их закрыли, потом, когда совсем дышать стало нечем, сжалились полицаи, открыли, сторожа поставили. Гляжу: «мой»! Долго всё ходил выжидал чего-то, присматривался, прислушивался, потом подошёл, наклонился и шепчет:

— Беги, девонька, на Дивеево. Не доходя, найдёшь деревеньку Михеевку. Там спросишь Домну Филимоновну. Это моя мать. Скажешь: сын Фёдор прислал. Жена я ему. Мать у меня женщина строгая, но тебя обязательно примет, один я у неё. А ты жди… Приду – разберёмся. А теперя тихонько и быстренько беги по дороге налево до леса, а там всё прямо и прямо. Запомни: Дивеево, Михеевка, Домна Филимоновна и я – Фёдор. Ну, пошла!

Сунул мне в руки мешочек с хлебом и салом, я и дернула! А чего было ждать? На смерть же ведь гнали. Опосля иногда корила себя: с полицаем связалась… А потом думаю: нет, всё правильно делала. Поймите меня! В её голосе дрогнула слеза.

Худо-бедно добралась всё же до той Михеевки, нашла Филимоновну. Серьёзная такая женщина. Как глянула чёрными глазами из-под широких бровей, что тебе рентгеном прошила:

— Так, значит, говоришь, Федина жена? – спрашивает. – Сколько ж тебе лет, милая?

— Семнадцать, – отвечаю чуть слышно, а душа в пятках.

Посмотрела с сомнением, а я трушусь вся. Мне ж ещё шестнадцать было, но из-за голода больше четырнадцати никто не давал.

А она всё пытает:

— Вы как, в загсе были, али самокруткой как? Батюшка, знаю, не венчал…

Не знаю, что и ответить, совсем растерялась, а она:

— И сколько же дней была знакома с Федей моим?

— Да с неделю, наверное…

— Так-так, – говорит недовольно, – совсем немного, чтоб замуж идти, но что делать? Времена, – говорит, – такие антихристовы пошли… Ладно, – сжалилась, – так тому и быть. Оставайся. Воле сына перечить не буду. Один он у меня.

А сама всё присматривается, изучает. Потом стала работой испытывать. Чего только ни делала у неё! Хорошо, что мать родная, царствие ей небесное, всему обучила.

Через неделю совсем неожиданно Федя объявился. Обнял, поцеловал мать, потом ко мне кинулся, шепчет: «А как тебя зовут?» Мы ж и познакомиться как следует тогда не успели. «Маша», – шепчу. Обнял, а поцеловать не решается, мы ж тогда так воспитаны были, не то, что сейчас… А матка его так и зыркает, так и шьёт глазами:

— Ну, что, – пытает, – голуби, познакомились? Как кровать стелить будем? Вместе али порознь?

Я скраснела вся, а Федя не растерялся:

— Жарко! На сеновал пойдём!

Вот там, на сеновале, за одну короткую летнюю ночку всё и сладилось, на что у других людей годы уходят: и познакомились, и в любви признался, и посватался, и замуж за него выскочила, и распрощались с милым голубем моим на всю оставшуюся распостылую

жизнь мою, одинокую, без мужниной любви и ласки. А ведь как ране полицаев ненавидела, но, когда услыхала про судьбу его горькую, так и растаяла, так и люб стал он мне, так и жалок!

Женщина глубоко вздохнула:

— Ну, что рассказал про себя? А сделалось так. Дружили ещё со школы три друга. Когда война началась, им по семнадцать было. В армию не взяли. А тут вскоре и фашисты заявились. Куда деваться? Прослышали, что в лесу партизаны. Сразу решили подаваться туда. Да заместо партизан нарвались на полицейскую засаду. Схватили бедных:

— Будете у нас служить.

— Я комсомолец! – выступил один из них, Павлом звали, – гадам фашистским служить не собираюсь, и вам не советую, ребята.

Тут же один из полицаев, а было их пятеро, ни слова не говоря, и стрельнул его в грудь. Павел сразу упал, заливаясь кровью.

— Ну, что, – загоготали те и обратились к другим. – Вы тоже, как этот щенок, служить отказываетесь?

А сами уже пистолеты поднимают, прицеливаются…

— И тут, – сказал Федя, – мне вдруг так страшно стало! Так умирать не хотелось! Закричал:

— Погодите!

Окружили гады:

— Кишки из вас выпустим. Даже пуль тратить не станем. Умрёте мучительной смертью.

А сами пинают мёртвого сапогами:

— А ну, на колени!..

И рухнули мы на колени, даже не раздумывая. Такой страх напал! Необъяснимый и неподвластный воле, какой-то животный страх, который совсем не поддавался рассудку. Сжалились, убивать не стали, но увели с собой, вроде как пленных. А через два дня силком заставили надеть полицейскую форму:

— Теперь точно никуда не денетесь.

Но мы с Жорой всё ещё на что-то надеялись. Мечтали в первый же удобный случай убежать. За нами, особенно в первое время, очень строго следили, глаз не спускали, на подозрении, видишь ли, у них были. Но Жора всё ж через месяц как-то умудрился сбежать. А спустя несколько дней его нашли в одной из деревень повешенным партизанами. Не поверили те ему, приняли за вражеского лазутчика. Вот, девонька, какие трудные времена были! После этого я уже и не мечтал о побеге, хотя всегда старался как можно больше добра людям простым делать. Вот и тебе помог, от смерти спас. Хотя и рисковал очень. Не доверяют мне они. Так и кручусь меж двух жерновов, как то жалкое зёрнышко: то ли сегодня, то ли завтра, то ль сейчас, то ль позже, а раздавят, попаду под колесо этой нечеловеческой машины… Не живу, а маюсь…

Обняла я его, прижалась, а он трусится весь, колотится:

— Спасибо тебе, девонька, спасибо, Машенька, что не оттолкнула от себя предателя, врага собственного народа, палача. Спасибо за то, что хоть в конце жизни своей жалкой узнал, что такое поцелуй, объятия любимой женщины. А то бы так и подох, не узнав главной сладости жизни, любви, о которой когда-то так много читал. Я ведь в школе отличником был, литературу очень любил.

Жалко мне его было! Сама вместе с ним плакала. Пробовала утешать, говорила, что жизнь ещё не кончена, всё может измениться к лучшему.

— Нет, девонька, – ответил грустно, – дни мои, почитай, уже сочтены. Вон как быстро наступают наши. Они не пощадят, или полицаи кокнут. Давно у них на мушке. Нет мне, предателю, места на этой земле!

— А, может, покаешься? Простят? Пусть осудят, сошлют в Сибирь. Вместе поедем…

— Нет, милая, таким, как я, прощенья нет. Я и сам себя давно уже осудил. – Он заплакал:

— А как умирать не хочется, девонька моя! В такие годы молодые!

Я и не знала, как утешить его, жалко было, спасу нет! И целовала бедного, и обнимала.

— Так вот, – сказал вдруг окрепшим голосом, отстраняясь, – я решил, что не умру, хотя на этой земле меня уже и не будет…

— А как это? Разве так бывает?

— Бывает! – ответил твёрдо. – Я останусь жить в своём сыне, которого ты мне родишь. Ему я и передам всё своё. А ты береги его и знай, что это второй я. Роди ребёнка, милень-

кая, который весь пойдет в своего папку. Он же ведь будет жить совсем в другое время! В другой стране. Эх, как завидую я ему! Знаю, что это будет мальчик.

Он стал горячо целовать мои руки, что было потом, плохо помню, как шальная была.

Перед расставаньем сказал:

— Год поживи у матери. Она тебе поможет. А как только ребёнок встанет на ножки, окрепнет, беги отсюда подале, чтобы никто и не знал, куда. Тут не оставайся. На новом месте никто не должен знать, что отцом ребёнка был полицай. Наш брат столько навытворял, что век его ненавидеть будут. Беги, милая, из этих мест, чтобы даже и мать не знала, куда. Спасай нашего сына!

Наутро уехал сердечный и как в воду канул. Наверное, полицаи и убили, а потом за ноги куда-нибудь в овраг отволокли, не похож он был на них, не верили ему. Больше о нём ничего слышно не было. А ровно через девять месяцев я Ванюшку выкатала. Свекровь, как увидела ребёнка, так и ахнула: вылитый Феденька, все капельки отцовы подобрал, даже родинка отца на правой щеке передалась. Помогла мне выходить ребёнка. Мне ж тогда только семнадцать исполнилось. Но я всегда помнила наказ Феди и, как только ребенку исполнился годик, уехала. Помог случай: прочитала как-то в газете, что в этом городе камвольный комбинат строится, и кинулась в мир, как в пропасть. Думаю: будь, то будет, ребёнка спасать надо. И не ошиблась. Правда, свекровку жаль было: она ведь второго сына теряла, оставалась совсем одна, но я помнила наказ Феди.

На камвольном встретили хорошо, как матери-одиночке комнату в общежитии дали, ясельки для малыша, а потом и садик. Мне работу. Видно, отец хорошее здоровье мальчишке передал: совсем почти не болел. Жили, как все, от получки до получки, но на еду и простую одёжку хватало. Часто у меня и премиальные были, работала хорошо, портрет с доски почета не сходил. Премиальные откладывала, вот эту халупку купила. Своё жильё всё ж лучше, чем казённое. Хозяйство завела: курочек, поросёнка, цветы развела. Сынок хорошо помогал. Смотрела на него, и душа радовалась: жив Феденька! Пошел в школу, стал хорошо учиться. Но однажды вернулся весь в слезах: «Больше не пойду!» Долго добивалась, отчего. Все молчал. Крепкий орешек уродился. Потом всё ж расплакался и признался: «Меня полицаем обозвали. Обещали побить».

Поняла я, что нашлась какая-то зараза, выследила, выдала меня. С тех пор и пошло. И обзывали, и били. И он, случалось, в долгу не оставался, носы квасил. А чем бедный ребёнок виноват? Скажите! Он же и сам не понимал, отчего его обзывают…

…Через день я собрала классное собрание. Пришли все, кроме Вани, которого я попросила остаться дома. Говорила с ребятами откровенно почти два часа. Говорила так, как можно говорить только со взрослыми. Слушали очень внимательно, вопросов никто не задавал. И я ещё раз убедилась в том, насколько умны, проницательны и даже мудры могут быть наши дети, если говорить с ними, не сюсюкая, на полном серьезе.

Ваню никто больше не обижал…

Александр Саввин

ЗНАЧИТ, БУДЕМ ЖИТЬ

Отряд Абрикосова понес большие потери, оброс ранеными, израсходовал почти все боеприпасы и продукты, а враг все наступал. Порой казалось, что человеческие силы иссякли, что невозможно сдержать натиск гитлеровцев, что отряд обречен. Но стоило показаться врагу, как партизаны вставали и вновь дрались с яростью и ожесточением.

Кончался месяц блокады партизанского края. В этот день гитлеровцы совсем осатанели. Они крушили партизан бомбами, минами, снарядами, ходили в психические атаки, откатывались и снова наступали.

– Что-то сегодня фрицы взъярились, – проговорил Абрикосов и склонился к Косте-радисту, который шарил ручкой настройки по шкале радиостанции. – Как бы они нас в Десне не искупали?

Костя в наушниках, не поворачивая головы, продолжал свое занятие, бормотал ругательства. В конце концов он сорвал с головы наушники и со злобой бросил их в сторону.

– Все, рация накрылась!

Он сплюнул и ткнул радиостанцию кулаком. Не будь здесь командира и начальника штаба отряда, Костя, наверное, грохнул бы ее о земь.

– Плохому танцору все… печка мешает, – с убийственным сарказмом процедил начальник штаба и недовольно скривил обветренные и потрескавшиеся губы. Он понимал, что Костя не виноват, рацию ударило взрывной волной, но, очевидно, горькие чувства овладели майором Федоровым настолько сильно, что он забыл про это. – Где теперь прикажешь искать Ромашина и Дуку?! Ответь, где? Э-эх ты-ы, сапожник.

– Слушай, Федоров, ты что же его шпыняешь?! Он виноват? – заступился за Костю Абрикосов. – Или ты действуешь по принципу: «У сильного всегда бессильный виноват!» Так, друже, не годится.

Майор, не торопясь, вылез из ровика Кости-радиста, обтрусил штаны, выпрямился, подойдя к командиру отряда, сказал с досадой в голосе:

– Нагрянут немцы, тогда ищи правого-виноватого. А нам отмахнуться нечем, не то что вести бой. Где они, боеприпасы? Ну где?

Начальник штаба постоял, выжидательно поглядел на Абрикосова и, не получив ответа, отошел в сторонку, лег на траву, начал всматриваться в заросли на противоположном скате неглубокого оврага. Партизаны знали: гитлеровцы ищут их (об этом донесла разведка) и ждали неизбежной встречи.

Начштаба был в полной армейской форме, с двумя шпалами в петлицах. Бурую его шею, прокаленную солнцем, оттеняла белая полоска целлулоидного подворотничка. Лицо суровое и сосредоточенное. Меж круто изломленных кустистых бровей обозначалась глубокая складка. Николаю Яковлевичу нравился этот по-армейски подтянутый и мужественный человек, который и своим видом, и делами, и отвагой служил примером партизанам. Николай Яковлевич понимал, что у его начальника штаба нервы на пределе, решил подбодрить его в этот нелегкий момент, поддержать добрым словом. Он подошел к майору и лег рядом с ним.

– Что, Глеб Иванович, запечалился? Разве нам впервой? – проговорил Абрикосов и, сняв армейский картуз, провел рукою по глазам, окидывая майора теплым, дружеским взглядом. – Отыщутся и Дука, и Ромашин. И вообще, прорвемся.

– Сердце не на месте что-то… А тут эта рация… И разведка, как в воду, канула… – Федоров помолчал, пожевал прямыми твердыми губами, доверительно добавил:

– Сдаю, наверное, Николай Яковлевич, сдаю. А тут фрицы прижали – не вздохнуть, не охнуть.

– Не журись, Глеб Иваныч, не журись. «Лес не выдаст – фашист не съест», как говорят партизаны. До вечера продержимся. И опять же Дука и Ромашин вот-вот должны подойти. Ребята там на ветер слов не бросают. Ну, а если неустойка, не дай Бог, – махнем в Клетню, через Чертово болото. Мы ж с тобой об этом говорили. Прорвемся. Не журись. Вон какая благодать! Погибать в такую погоду совсем негоже.

Вокруг земное раздолье. Ни стрельбы, ни диких криков, наполненных звериной злобой и смертельной тоской, ни шума моторов, ни взрывов, ни бомбовых ударов. Тишина, от которой ломит в ушах и тяжелыми предчувствиями наполняется грудь, ибо враг рядом, враг не дремлет, враг ждет момента, чтобы прикончить партизан.

Над головою тревожное голубое море, лишь несколько белых барашков стоят в зените и никуда не торопятся.

– Благодать-то, благодать, но рама опять рыщет, как проклятая, – после минутного молчания отозвался майор, прислушался, поднял голову кверху. – Вон, вон, – оживился он и вроде даже обрадовался, что увидел воздушного разведчика.

«Фокке-вульф-189» кружил в стороне от расположения отряда, просматривая лес, и

командир с начальником штаба знали: «рама» разыскивает их.

– Воздух! Рама! – коротко и тихо прошелестело предупреждение, будто с самолета могли услышать человеческий голос; и все вокруг замерло.

Партизаны напряженно смотрели за виражами самолета, ничем не выдавая своего присутствия. «Фокке-вульф» не спеша ползал над лесом, закладывая то правый, то левый вираж, будто для того, чтоб глянуть на землю одним и другим глазом. Но держался он на почтительной высоте. Пэтэровцы отряда недавно завалили одну такую машину, после чего немецкие летчики прониклись уважением к лесу. Покружив над зеленым разливным морем, самолет ушел, а на смену ему явились бомбовозы. Они вынырнули из-за горизонта в строгом плотном строю. Возле тригонометрической вышки, сломав строй, завели адскую карусель, начали метать бомбы.

– Фу-у-у, черт, – Николай Яковлевич снял фуражку и вытер вспотевший лоб. – Клюнули-таки на нашу уловку.

– Кажется, да, – неуверенно подтвердил начштаба. – Молодец все же Митрофанов! Обманул фрицев. Ах, и молодчага, мужик! Молодчага!

– Митрофанов – фундаментальная фигура. Куда ни сунь – все не мимо. Лучший литейщик завода. Не зря с ним инженеры советовались. Голова.

Разговор лился неторопливо и сдержано, но за этой неторопливостью и сдержанностью таились тревожные чувства и великое нетерпение: «Припрутся или не припрутся немые сюда, к штабу?»

Абрикосов и Федоров неотрывно наблюдали за вражескими самолетами, прислушиваясь к разрывам бомб, посматривали на часы, поджидая возвращения роты Митрофанова. Теперь они были уверены, что их хитрость удалась. А заключалась она в том, чтобы направить преследователей по ложному следу.

…Как только отряд оторвался от противника, рота Митрофанова заняла оборону на обозначенном ей месте, возле тригонометрической вышки. По задумкам командования, рота должна была создать впечатление у вражеских лазутчиков, будто там, где засела рота Митрофанова, возводится отрядная база партизан. Вроде бы здесь и хотят укрыться абрикосовцы.

Митрофанов не стал валандаться и прохлаждаться. Как только прибыл в указанный район, он начал валить деревья, копать землю, делать завалы на дорогах, сновать по лагерю. Митрофанов боялся, как бы ребята не перестарались и не выдали себя.

– Ребята, знаете, почему дураков не следует заставлять молиться Богу? Делайте выводы и не расшибите лоб. Немцы хоть и немцы, но они не дурачки. Нет, нет. Они ж сразу глянут и поймут, что здесь Ваньку валяют, их хотят одурачить. Разбегаться надо, когда «рама», прятаться, прекращать работу, таиться!

И партизаны прятались и разбегались и в конце концов обманули врага. Это стало ясно уже тогда, когда над их головами закрутились бомбовозы и засвистели бомбы.

– Ну, что ж, ребята, дело мы свое сделали, теперь не грех возвратиться в отряд. За мной! – скомандовал он и бросился бежать от вышки. Командир отряда похвалил роту, но, отведя в сторону Митрофанова, заметил: «Боюсь, не все мы сделали чисто. Самолет вдоль опушки прошел, как бы нас не заметил. Час на отдых – и надо уходить!»

К Абрикосову подбежал посыльный из медчасти, со свистом выпалил:

– Товарищ командир, вас доктор просит: разведчики прибыли. Ногу Музыканту оторвало.

Музыкант, перепачканный в земле и крови, лежал на столе под дубами, стонал, корчился от боли и ругался. Увидев командира отряда, он смолк, попытался приподняться, но на него сердито зарычал доктор. Разведчик все же приподнял одно плечо, но Абрикосов бережно уложил его на место.

– Лежи, лежи, – предупредительно поднял он палец. Как же это ты.

– На мину налетел, – разведчик задохнулся и замолчал, лишь желваки да болезненный румянец играли на его заострившемся измученном лице.

Николай Яковлевич хотел, чтоб кто-то другой доложил о результатах разведки, но Музыкант запротестовал, напрягая последние силы, заговорил прерывающимся голосом.

– Дуку и Ромашина отыскал. К вечеру их отряды прибудут сюда.

Абрикосов видел, как у раненого расширяются и сужаются зрачки, понимал, что он не в силах справиться с болью и оттого кусает покрытые сукровицей губы. Над головой тихо и мягко шелестели ярко-зеленые листья дуба, за кустами деловито шумел примус, пахло керосином, слышалось позвякивание медицинских инструментов, приглушенный говор девчат, помощниц доктора Бакунина. Николай Яковлевич думал, что разведчик больше ничего не скажет, но Музыкант зашевелился, отыскал командира глазами, прерывисто произнес:

– В Хле-бо-дар-ковичах ш-ш-ш… штаб каа-рателей. Мы засекли. Да-а-нные у ребят.

Раненый смолк, но продолжал всхлипывать и скрипеть зубами. Николай Яковлевич, чувствуя, как к горлу подкатил комок жалости, отошел от страдальца, набил трубочку, закурил.

– Как он? – спросил вполголоса у Бакунина.

– Крови много потерял.

– Надо, чтоб жил.

– Я не фокусник… Попытаемся, – и Бакунин развел руками. – Одно тревожит – нет обезболивающих.

– Костя, – кликнул радиста командир отряда. – Отдай доктору мою фляжку спирта.

– Ты… ты что там, доктор, шепчешься? – очнулся и забеспокоился раненый. – Что, кранты? Ги-ги-тлер капут?.. Спаси, доктор. – Музыкант помолчал, вероятно, собирая силы, продолжил:

– Т-т-т-ам мать, огольцы. Как же они без меня?! Спаси…

Николай Яковлевич недослушал разведчика. В той стороне, где залегло боевое охранение, раздалась беспорядочная стрельба. Он круто повернулся на месте, бросил через плечо несколько слов Бакунину и побежал к месту, где располагался штаб. Иван Федорович вскинул взгляд на дубовый сук, на котором висел трофейный шмайсер, начал отдавать привычные распоряжения.

Наконец-то поступила и обещанная фляжка спирта.

– Вера, стакан раненому, – энергичным голосом распорядился он. – А вы – живо зажимы и тампоны… Пила обработана?..

При одном упоминании слова «пила» у всех побежали мурашки по телу. Раненый тоже уловил это слово, попросил:

– Доктор, при-в-вв-я-я-жи.

– Вяжи, – кивнул Бакунин санитару.

Здоровенный боец, зная свое дело, начал привязывать разведчика к столу. Но через минуту заревел, как дикий зверь, и замахнулся на Музыканта кулаком:

– Ах, ты, гнида! Еще кусаться! Да я тебя сейчас последней ноги решу!

Операции, казалось, не будет конца. Разведчик, так и не уснув от спирта, метался на операционном столе, ругался и пел рыдающим голосом: «Раскинулось море широко». Особенно он нажимал на слова: «Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут – она зарыдает». Дикие звуки вырывались из его глотки, наводили на окружающих ужас. А он тянул одни и те же слова, рыдал, и слезы ручьями катились по его щетинистым впалым щекам. В разгар операции Бакунину доложили, что немцы ворвались в лагерь, но он ни на миг не оторвался от операционного стола, лишь бросил привычный взгляд на свой автомат, который ему подарили партизаны в знак уважения.

Закончив операцию и уложив на носилки разведчика, потерявшего сознание, он присел на бугорок, чувствуя, как дрожат от напряжения и волнения руки.

– Решетова, Вера, – Иван Федорович поднял голову, посмотрел на Веруньку, приказал:

– От него ни на шаг. Останешься за меня. Что делать, знаешь. Я к командиру. Скоро вернусь.

Бакунин снял автомат с дерева, еще раз подошел к раненому, потрогал лоб, нащупал пульс и пошел навстречу бою. Теперь он хорошо слышал и понимал, что в районе штаба идет бой. Когда Бакунин добрался до опушки, где

залегли партизаны, густая цепь немцев спустилась с противоположного ската бугра и, прижимая к животам автоматы, открыла ураганный огонь. Партизаны не стреляли, выжидали. Когда до вражеской цели было рукой подать, прозвучала натянутая, как струна, команда:

– Бей психов! Огонь!

И тотчас там, где прозвучала команда, застучал станковый пулемет. За ним взахлеб ударили другие «максимы», автоматы, задолдонили трофейные крупнокалиберные пулеметы, защелкали винтовочные выстрелы. Партизанская полянка пугливо вздрогнула, наполнилась до краев гремучей трескотней выстрелов, зычными командами, надсадными чужими голосами. Немцы, бомбившие и обстреливавшие лес в районе тригонометрической вышки, в конце концов поняли, что их одурачили, и еще больше ожесточились и рассвирепели. Бросив на поиск отряда разведку, они обнаружили партизан.

…Иван Федорович, как загипнотизированный, глядел на стремительный бег вражеских солдат, не понимая и удивляясь, почему они бегут во весь рост, смело и нахально. «Пьяные. Психическая атака», – мелькнула догадка. «А ведь чего доброго – могут пройти», – подумал он и метнулся в ровик, из которого в тот же миг, словно подсолнечная лузга, полетели стреляные гильзы.

– Бей психов под корень, распро-так-так-так! – раздалось по соседству.

Этот выкрик бичом полоснул партизан, и сразу не стало слышно отдельных автоматных очередей и винтовочных выстрелов – все слилось в один протяжный режущий звук.

Фашистские солдаты пробежали еще шагов с десяток навстречу кинжальному огню, но остановились, замешкались и хватили что есть духу наутек.

– Р-рр-ребята, за Родину! Вперед! – прокатилось по опушке, и Бакунин увидел, как из окопа выскочил Николай Яковлевич и, взмахнув призывно рукой, побежал вслед за немцами, строча из «шмайсера».

– Вперед, ребята! Не давай им опомниться.

Иван Федорович тоже устремился туда, куда бежали все, рассеивая перед собой автоматные пули. Серо-зеленые фигурки суетливо уходили прочь, издавая испуганный клекот.

Неведомая сила толкала Ивана Бакунина вперед, окрыляла его, наполняла сердце необъяснимым чувством ликования. «Ура-аа!» – прокатилось по поляне и заходило по лесу, и Иван Бакунин во всю глотку тоже заорал «Ура» и прибавил шагу. Бежать было легко, лишь сторожкая жуть опаляла ледяным холодом все внутри и пронзала сердце ледяными иглами.

Доктор старался держаться подальше от командира, не желая попадаться ему на глаза. Но как ни прятался он, Абрикосов все же его обнаружил. В пылу атаки он ничего не сказал Бакунину, да и не было для этого времени. А вот когда немцы перешли в контратаку и возвратили отряд на исходные рубежи, и сами, не выдержав натиска партизан, вновь отступили, Абрикосов подозвал Бакунина к себе, выпалил высоким голосом, наполненным сдержанным гневом:

– Я запретил вам самовольничать! Немедленно отправляйтесь к раненым!

Бакунин хотел как-то оправдаться перед командиром, но подходящих слов не нашел, и сердце не позволило. Он уважал и любил этого доброго и справедливого человека.

Шло время. Командир то и дело посматривал на часы, но стрелки, казалось, не двигались. До восьми вечера еще было далеко. К этому времени обещали прибыть бригады Дуки и Ромашина. Кроме них пока поддержки ждать было неоткуда.

…Немцы опять зашевелились, показались из-за кустов. Сурово и молчаливо смотрел Николай Яковлевич на приближающегося противника. Темные глаза его еще больше потемнели и стали почти черными, светились твердой уверенностью. Партизаны посматривали на командира, восхищались его спокойствием и выдержкой и сами старались подтянуться и походить на него.

Вражеские солдаты с засученными рукавами быстро приближались, росли, ни на секунду не прекращая стрелять из автоматов и что-то выкрикивали по-своему.

Нет, наверное, чувства острее, чем желание открыть немедленно огонб по врагу, наступающему упрямо и неотвратимо. Тяжело, невероятно тяжело глядеть на тех, кто идет убивать тебя, глядеть и молчать.

Отряд молчал. Абрикосов Осторожно выглядывал из-за бугра, безмолвствовал, и лишь когда отчетливо стали видны выпученные глаза гитлеровцев, раскрасневшиеся и перекошенные от злобы и страха лица, вытащил изо рта свою любимую трубочку, крикнул:

– Огонь!

От дружного залпа вздрогнула набегающая цепь врага, споткнулась и рухнула, но на ее месте появились новые солдаты с такими же выпученными глазами, перекошенными лицами, одержимые яростью, страхом и злобой.

Командир лежал рядом с пулеметчиками, видел, как «максимки», будто иллюзионисты, проглатывали ленту за лентой с патронами.

– Товарищ командир, патроны все! – проговорил пожилой пулеметчик, продолжая тыркать короткими очередями.

Абрикосов вздрогнул.

– Старшину ко мне!

– Старшину к командиру… старшину к командиру, – заметалось по траншее.

– Анискина командир требует.

Старшина по-пластунски приполз к командиру отряда и, зная наперед причину его срочного вызова, подал Абрикосову сумочку с патронами.

– Все, под чистую выгреб! До единого патрона.

Абрикосов пересыпал патроны в свою фуражку и с непокрытой головой пошел вдоль траншеи, укрывшей партизан. Густые волосы его, перевитые серебряными прядями, легонько шевелил ветерок, а сверкающие лучи солнца золотили его фигуру, зажигали волшебным светом фуражку, которую он нес в руках и от которой невозможно было отвести взгляда в эту роковую минуту.

– Вот, ребята, патроны. Здесь все. Берите, – говорил он спокойным голосом и шел среди своих бойцов, вытянув вперед фуражку. – Здесь все, но мы должны устоять, пока стемнеет или придут на помощь Ромашин и Дука.

Никто не протянул к командирской шапке руку, никто не взял ни одного патрона, словно это были не патроны, которых они только что требовали, а человеческие сердца.

Очередная атака была отбита, но немцы не успокоились. По опушке пронесся глухой клекот, и тяжкие удары снарядов и мин опять качнули землю, пушки загудели грозно и устрашающе. Лес зароптал, начал вздрагивать, разнося свирепое эхо войны из края в край. И опять, как только смолк артиллерийский гром, немцы поднялись в атаку. И опять Николай Яковлевич, покуривая, зорко наблюдал за ними, а когда гитлеровцы чуть не ввалились в партизанские окопы, крикнул: «Гранаты!» Зазвучала карманная артиллерия, и еще не отзвенели осколки гранат, Абрикосов, отбросив беспатронный автомат, схватил винтовку, выскочил из окопа и, выставив вперед русский штык, бросился вперед, так и не выпустив изо рта трубочки.

Когда закончился бой, солнце, сделав свой дневной круг, опустилось на западе, и хотя еще между смолистыми стволами сосен кое-где пробивался косой луч, в лесу приутих дневной гомон, а снизу уже ложились мглистые сумерки. От земли тянуло пряным запахом разнотравья, смолистыми иглами сосен, лесной сыростью, прелью, чесночным запахом тротила. Немцы, измотанные беспрерывными атаками и контратаками, откатились, поубавили свой наступательный тыл.

– Ну, что, комиссар?

Комиссар отряда Матвеев, перепачканный в глине, со следами копоти на лице, прикладывал руку к уху, тряс головою, будто в ухо попала вода; на самом деле вражеский снаряд оглушил его, разорвавшись в нескольких десятках шагов от его окопа.

– Держись, старина! – подбодрил его Абрикосов.

Матвеев был на два года моложе Абрикосова, но его почему-то в отряде звали стариком. Видимо, потому, что ему все время приходилось заниматься не только боевыми делами, ему приходилось решать и житейские вопросы: «Товарищ комиссар, мы хотим рас-

писаться…», «А войдет ли партизанский стаж в трудовую книжку?», «Товарищ комиссар, а не заберет ли моя «изменщица» мою жилплощадь?», «А когда наших огольцов доставят на Большую землю?», «А почему…» И таких вопросов не счесть.

– Держись, Миша, – повторил Николай Яковлевич, – все проходит. Мы еще поживем и свое наверстаем. Какие наши годы, – скаламбурил Абрикосов и в порыве чувств улыбнулся Матвееву.

– Не потопят нас немцы в болоте? – перебил командира Матвеев.

– Нет. Разведка донесла, что с тыла и на том берегу противника нет. Но береженого Бог бережет – оставим в заслоне пару рот, да и сумерки нас прикроют. Во-на, минут через пятнадцать-двадцать станет совсем темно. А в жмурки фрицы играть не любят. По деревням околачиваются.

– Да-а, немец – барин, ему подай и канализацию, и машину, и черта рогатого.

В разговор вмешался старшина отряда. Он вырос вроде из-под земли.

– Я очень извиняюсь, товарищи командиры, что перебил вас. Но что делать с коровами?

– Заберем с собой. Не оставлять же их немцам.

– А не выдадут они отряд?

– Чтоб не выдали – палки в рот и морды завязать веревками. И не пикнут. Действуй, Анискин, и коров сбереги…

Командиры рот спешно готовили свои подразделения к походу. Никого не надо было подгонять, поторапливать. Несмотря на ночную мглу и нелюбовь немцев к ночным схваткам, они все же могли появиться в любое время. И тогда… но этого «тогда» допустить нельзя было ни в коем случае. И партизаны не допустили.

В считанные минуты отряд собрался у Чертова болота, готовый двинуться в рейд или вступить в последнюю схватку с противником. Другого пути у них не было.

Митрофанов и Дубнев оставались в прикрытии.

– Ну, хлопцы, задача ясна? Все патроны, все гранаты, что наскребем, поделим поровну. Вам надо продержаться до подхода Дуки и Ромашина. Они должны появиться с минуты на минуту. Мы идем через Чертово болото к Святому озеру. Ждем вас на той стороне прорвы. Надеемся на вас, ребята. Паче чаяния Дука и Ромашин почему-то не объявятся, двинетесь за нами через два часа, разумеется, если ничего не случится.

Николай Яковлевич пожал руку Митрофанову, а затем поцеловал Сергея Дубнева, по-отечески прижал его к груди.

– Бывайте. Мы ждем вас на том берегу.

Комиссар тоже обнял одного и другого, напомнил Митрофанову, который оставался за старшего, чтоб смотрел за молодежью и зря в трату не давал.

Отряд снялся с места с большими предосторожностями, двинулся по предусмотренному маршруту, готовый в любую минуту вступить в бой.

Лес окончился неожиданно. Боевое охранение спускалось с обрыва, куда не решились спуститься сосны, пропало в белесом, блуждающем тумане. За ним пошла головная рота, партизанский госпиталь, комендантский взвод. Здесь было самое дьявольское место, и пройти его нужно было как бесплотным теням – рядом сторожкий, коварный враг, и если он обнаружит партизан в этой зловещей зыби, где ни развернуться, ни постоять за себя, тогда… Всем было ясно, что случиться «тогда».

Болото дышало прелой холодной сыростью, мертвечиной. Впереди по трясине шел невысокий путаный кустарник, бродил туман…

Командир и комиссар чутко, с тревогой прислушивались к опасному безмолвию, пытаясь разгадать, что же делается на прежней линии их обороны. Это безмолвие будто загипнотизировало командира отряда, овладело всем его существом, и поэтому, когда перед ним возник заросший бородою партизан, не сразу сообразил, для чего он появился перед ним, и что ему надо.

– Товарищ командир… – раздался скрипучий и взволнованный голос.

– Что тебе? – очнулся Абрикосов.

– Так я и говорю: жена у меня…

– Эк, удивил – жена.

– Да родила же она, прошу извинения.

Абрикосов пристально поглядел на немолодого, заросшего человека, из-за спины которого робко выглядывала женщина с закутанным в какое-то тряпье ребенком.

– Поздравляю, но не ко времени родить вам приспичило, ей-Богу не ко времени. – Николай Яковлевич тяжело вздохнул, покачал досадно головой, опять посмотрел на партизана и перевел взгляд на болото, соображая, как же поступить в данной ситуации.

Бородач переступил с ноги на ногу и, поймав командирский взгляд, смущенно и виновато произнес:

– Я это к тому, Николай Яковлевич, что тут некоторые охламоны говорят того… как бы парнишка отряд не выдал… Заверещит не вовремя. В общем, рекомендуют вроде бы его аннулировать.

Николай Яковлевич бросил быстрый взгляд на бородача, погрозил ему кулаком, будто тот и собирался лишить мальца жизни.

– Я тебе аннулирую, – прошипел он. – Иди и плюнь тому мерзавцу в морду, у которого повернулся язык сказать эдакое. Ну, чего стоишь?! Шагом марш. И смотри, чтобы мальчишка был жив. Доложишь.

Женщина, окончательно осмелев, вышла из-за спины мужа, кусая губы и обливаясь благодарными слезами, попыталась стать на колени.

– Ну, ну, ну, без глупостей. Марш вперед, но мальчишка чтоб не пикнул.

Отряд осторожно втягивался в болотные заросли, и вместе с последней ротой спустился в трясину и командир. Комиссар же ушел ранее, с клубом. Белевый, липкий туман обступил замыкающую роту сплошной пеленой. Впереди, в мягкой зыбкой занавеси колыхались неясные, темные пятна спин партизан, и Абрикосов порадовался, что туман, как дымовая завеса, надежно укрывал его людей от врага. Тревожило одно: как бы немцы не встретили отряд при выходе из болота. От них всего можно ждать, несмотря на разведку и все предосторожности.

Отряд прошел! Прошел там, где, казалось, невозможно было даже ступить ногою. Засады, которой опасался командир, не было. Путь для маневра и в клетнянские леса открыт.

Выбравшись на лесной пригорок, куда вывела их из болота тропа, Абрикосов услышал недальнюю стрельбу, понял: подошли Дука и Ромашин. «Молодцы, ах, какие молодцы! Не подвели!» У Николая Яковлевича даже внезапно защекотало в носу и вроде бы навернулась слеза от нахлынувших чувств благодарности.

…Выставив посты и дозоры, разместив роты в лесу на ночевку, Абрикосов присел на мягкой кудрявой траве, приказал вызвать к нему командиров подразделений. Вверху что-то прошелестело, и сейчас же невдалеке, как и в довоенное время, кукушка принялась отсчитывать кому-то года. Николай Яковлевич стал считать, сбился со счета и начал заново, а кукушка куковала и куковала.

– Слышите, братцы, – обратился он к Матвееву и начальнику штаба, – слышите?! Значит, будем жить… А? Будем! Сто, двести, тысячу лет!..

Незатейливый покрик кукушки оборвался. Абрикосов замолчал. Лишь лес, обступив плотной ратью партизан, шумел ровным, протяжныи и торжественным звуком.

Когда командный состав собрался у штабной палатки, Николай Яковлевич распорядился выдать всем партизанам по сухарю, а раненым вдобавок и по кружке молока.

– Огонь не разжигать, не шуметь и нашу стоянку не демаскировать, – приказал он. – В полночь больных и раненых отправим на запасную базу, а мы вместе с Дукой и Ромашиным обрушимся на немчуру. Мы им зададим трепку! Неожиданно обрушимся, как снег на голову, с тылу. Ударим, пошуруем и уйдем!. А сейчас всем отдыхать. Впереди нелегкая работа.

Нина Савина

ВАМ ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ НЕДОЛГО

(Отрывок из романа «Цена выживания»)

Декабрь пожаловал в Ключи со своими снегопадами и морозами. Снегу намело со стороны огородов по самые заборы и крыши сараев. Он уплотнился и не проваливался.

Зима не застала жителей Ключей врасплох. Снегопады не нарушили привычного деревенского быта. Жители ближайших домов всё так же расчищали дорожку к ключу. По ней женщины ходили по воду и несли её в вёдрах на коромыслах. Воду черпали с мостков. На дорожке и у ключа женщины обменивались информацией.

— Роз, какие новости? — пытает невестку Ковалёвых Пашка Репкина.

— А я откуда знаю? — отвечает та, вешая вёдра с водой на коромысло.

— А что, Сергей ничего не говорит? — прищуривается Пашка.

— Его уже давно нет, не знаем, где он, – с тем и пошла, чтобы нельзя было прочесть в её глазах, что сказала неправду.

Второй раз по воду из дома Ковалёвых пошла Роза за следующей новостью от Сонечки Алексеевой:

— Роза, а где Катя? Что-то ты всё за водой ходишь?

— Дел много по дому, да и что-то простудилась наша Катерина.

— Тогда тебе сообщаю новость — партизаны в Навле повоевали. Говорят, дом навлинского бургомистра Калмыкова сожгли. Ночью партизаны подкрались к его дому и подожгли сразу с нескольких сторон. Все сгорели.

— А откуда тебе известно?

— Не спрашивай, сама догадываешься.

Пришла Роза от колодца, поставила ведра на лавку, дает знак Катерине выйти в сенцы.

— Новость тебе принесла: воюет твой Сергей. В Навле дом бургомистра сожгли. Говорят, все сгорели.

— Ой, это же опасно!

— Конечно, но и радость для нас: всё-таки воюют наши мужики с врагами. А ты не волнуйся только.

— Хоть какая-то надежда уже есть, что мы в своей стране и за нас постоять есть силы.

— Ты береги себя, пойдём в дом, а то замёрзнешь. Да, Сонечка спрашивала, почему ты всё время дома. Я ответила, что ты заболела. Не ходи к колодцу, никто не должен знать, что ты ребёночка носишь.

Зимой, когда дерево имеет наименьшее количество воды, традиционно заготавливали в Ключах дрова. Дерево пилили или срубали, чтобы оно ещё более высыхало в мороз. Потом распиливали на чурбачки, ожидающие превращения в поленья.

С началом войны лес перестали охранять, и женщины, которые остались в деревне, пилили и рубили всё, что было близко и им по силам. А сил было предостаточно: во многих дворах появились лошади, потерявшие своих прежних хозяев в круговерти военных событий. Вот только в лес сейчас не очень сунешься: снегу полно. Сани-то едут, да лошади тяжело.

Дед Тимоха и Роза едут на санях, сидя прямо на берёзовых брёвнах, из лесу за переправой по уже наезженной дороге из Ворошилова в Ключи. Дед Тимоха думает о том, что правильно выбрал на дрова именно берёзу — она даёт больше тепла, хоть и неподатлива в растопке, да и рубить её — попотеть надо. А годы уже не те. Сынов-помощников всех война разметала, а невестки — не мужики.

— Пап, смотри, – прервала мысли деда Тимохи невестка, показывая на санную колею, уходившую от дороги вглубь леса.

— Да кто же это? Вечером снежок сыпал, значит нынче поутру проехали.

— Может, партизаны, а то я сегодня слышала, что сожгли дом навлинского бургомистра.

— От кого слышала?

— От Сони.

— Ну, ей можно верить. Наверное, у неё были наши ребята, а поутру уехали лесом в сторону Майского.

— Что-то теперь будет...

— А война идёт, и война будет, только ещё больше схлестнутся в этой битве наши

силы с немцами и полицаями. Да, если уж брат на брата...

Умудренный опытом и имеющий интуицию дед Тимоха не мог описать вслух при невестке воображаемую картину.

Привезенные из лесу бревна свалили прямо перед домом. Дед Тимоха отвёл послушного коня, получившего кличку Найденыш, в опустевший сарай.

Не изменилась в войну привычка жителей убирать снег.

Мела крыльцо и прилегающую к нему территорию Варя.

Она же помогала бабе Любе вывозить на саночках снег со двора на огороды и в сад. Младшие представители мужского населения Ковалёвых катались на деревянных санках.

Их смастерил когда-то сам дед Тимоха. Мальчики поднимали санки чуть ли не на изгородь забора. Раскрасневшиеся от мороза внуки Ковалёвых в фуфаечках, пошитых Катериной из тёмного подкладочного сатина и ваты, в коричневых валенках-самовалках, с весёлыми криками летели до конца огорода. Возраст малышей, оберегая их, не давал проблемам взрослых свалиться на них.

Обитатели дома Ковалевых, натрудившись в очередной раз зимним днём, расположились спать. Бабушка Люба забралась на печку — начали мучить ноги, невестки на кроватях, а внуки пожелали спать с дедом на полатях. Сон одолел Варю сразу же, как она коснулась подушки. Сквозь сон послышался легкий стук в окно.

— Катя, открой, – негромкий голос Сергея.

Катерина вскочила. Накинула тулуп, висевший на вешалке между дверью и лавкой с ведрами, выскочила в сени открывать дверь с парадного крыльца. Варя чуток отодвинула занавеску на печке, чтобы хотя бы в полутьме рассмотреть пришедших.

Катерина зажгла керосиновую лампу, слегка вывернув фитиль. В полумраке Варя увидела своего отца, Алексеева Жору и ещё одного незнакомого человека, одетых в коричневые домашней выделки тулупы, валенки, мохнатые шапки.

— Раздевайтесь, – тихо сказала Катерина. — Будить родителей?

— Не тревожь, – шепчет Жора.

— Как это не тревожь, – подает с полатей голос дед Тимоха.

— Мы, отец, ненадолго, торопимся.

Дед Тимоха слез с полатей, пожал руку каждому.

— Ваша работа в Навле? — спрашивает у пришедших.

Мужчины переглянулись, но деду ни слова не сказали о своей причастности к событиям в Навле.

— Катя, собери, нам поесть. А ты, – обращается Сергей к уже вставшей Розе, – дай в дорогу что-нибудь.

— Отдай хлеб, завтра мать ещё поставит, да сала кусок заверни, – командует сборами Розы дед Тимоха.

Сам дед Тимоха идёт в кладовку, там из собственных запасов берёт припрятанные в старом сундуке пачки махорки.

— Пригодится и это, берите, – подает махорку Розе, собирающей все продукты в узел.

— Отец, я тут привёз сапоги, почини, а на днях заедем, заберем, – говорит Сергей, кидая мешок с обувью под вешалку, где расположились рабочие тулупы деда, бабки, невесток и внуков.

— А давайте мы носков навяжем, пряжа есть, – выступила с инициативой Роза.

— А успеете? Мы будем ехать со стороны Навли где-то перед Новым годом.

— Успеем.

Без слов мужчины съедают оставшийся от вечера суп, выпивают ещё не успевший остыть в самоваре чай на зверобое, быстро одеваются. Сергей подходит к полатям, смотрит на спящих мальчиков, затем заглядывает на полок, где притворяется спящей Варя, на печку. На ней спит уставшая мать. Сын тихо погладил её, спящую, по руке.

— Пора, едем в Журавку, скоро узнаете.

Поздние гости опять выходят через парадное крыльцо.

Там их ждет запряженная в сани лошадь. Варя на полке перебирается потихоньку на другую сторону, чтобы хоть что-то увидеть сквозь декабрьскую ночь. Луна помогла любопытной девочке рассмотреть, как на фоне белого снега удалялись сани по дороге из деревни.

Утром баба Люба возмущалась:

— Почему не разбудили?

Затем стала руководить невестками.

— Кать, замеси хлеба, да больше. Авось, ещё заглянут наши. В лесу не испечь хлеб так, как наша печка печёт. А ты, Роза, займись скотом. Лошадь надо покормить, коровку.

Невестки по очереди выполняли работу на улице или в доме. Кому что делать не спорили, работу распределяли свекор и свекровь, а невестки попались на редкость такие, что даже вмешиваться никогда не надо было в их всегда ровные отношения. Сама же баба Люба затапливала печку.

— Варя, лезь в подпол за картошкой! — дает она очередное поручение.

Дед Тимоха вышел на улицу замести следы ночных гостей. Наряду с большими следами, принадлежавшими ночным посетителям, дед Тимоха обнаружил и маленькие следы неизвестного. Они были даже на завалинке под окном. А уж не подслушивал ли кто? Или Варя вчера, когда мела около крыльца, побаловалась?

Сели завтракать.

— Варя, ты чего вчера на завалинку залезала? — начал выяснять дед Тимоха происхождение неизвестных следов.

— Да не залезала я на неё, – оправдывается Варя.

После завтрака дед Тимоха решил выяснить личность любителя лазить по чужим завалинкам. Он пошел по маленьким следам. Они его вели сначала на дорогу, а потом свернули к дому Репкиных. Подошел к дому и увидел увесистый замок. Такие замки в деревнях обычно вешают, когда хозяева надолго покидают дом. Если отлучка на незначительное расстояние, например к соседке или в поле, в лес, то дом закрывали на щеколду или на палочку. «Вроде бы не собиралась никуда? Где же она?» — задавал сам себе вопросы дед Тимоха.

— Куда это Пашка подалась? — сразу с порога спросил встревоженный дед Тимоха.

— Я её в окно сегодня поутру видела. Она шла в направлении Клюковников с узелочком, – ответила Катерина. — А что такое?

— Да ничего, – не поделился сомнениями дед Тимоха, чтобы зря не сеять панику среди женщин.

С приходом немцев большую часть скотины извели, ухаживать было не за кем, и днем появилось свободное время. Так что теперь женское население Ковалёвых, не дожидаясь вечера, вязало носки для партизан. Дед подправлял сбрую, уже не один год висевшую без дела в кладовке, – авось, в партизанском хозяйстве сгодится.

Однажды ближе к полудню к крыльцу подъехали сани. Возница привязал лошадь к плетню. Из саней выскочили четыре человека и сразу вбежали в дом. На одном мужчине — повязка на руке. Кровь просочилась через неё красным пятном.

— Постереги, отец, нам надо переговорить и обогреться.

Схватив тулуп и будничную заячью шапку, дед Тимоха вышел на улицу.

— Катя, перевяжи раненого, а ты, Роза, собери нам сейчас поесть и с собой что-нибудь дай.

Роза кинулась к печке, баба Люба стала доставать ложки, резать хлеб. Катерина вошла в горницу. Горница имела довольно приличные размеры. Два окна выходили на улицу, а глухая западная стена отделяла дом от леса. Из обстановки выделялись три сундука: свекрови, Розы и Катерины. Сундуки невесток — их приданое — были привезены в дни свадеб, да так и остались в доме свекра, расположившись вдоль стены, противоположной окнам. Широкая лавка заняла место между окнами. Ящики с припасами выстроились от входной двери в горницу по правую сторону.

Тут же была сооружена вешалка для более приличной зимней одежды, она завешана белым полотном. В горнице не было грубки – плиты, использовавшейся для обогрева жилого помещения или для приготовления пищи.

Катерина не понимала, почему свекор не сложит грубку, чтобы в горнице было тепло. И не надо бы было так тесниться всей большой семье в кухне и делить тесное жильё стелёнком под полком, если корова телилась рано, зимой.

Катерина вытащила из своего сундука простыню, оторвала от неё кусок, стала перевязывать молодого партизана.

— Больно?

— Не-е, заживёт. Вот только жалко, что не удалось нам из Навли всех гадов выкурить. Ну ничего, в следующий раз соберёмся с силами и им дадим! — пообещал партизан.

— Садитесь, деточки, обедать, – пригласила баба Люба к столу, на который Роза уже поставила большую миску горячих щей из кислой капусты и другую — с рассыпчатой пшенной кашей. Запах еды дошел до печи, где отогревалась ребятня. С ними в компании находилась и Варя.

Стоявший в дозоре дед Тимоха увидел вереницу саней с людьми, появившуюся из-за поворота деревни и быстро приближающуюся к ним.

— Каратели! — закричал дед Тимоха, вбегая в дом.

Схватив тулупы, партизаны выскочили на улицу, попрыгали в сани.

— Погоняй, Сашка! — кричит Сергей.

Сани с партизанами полетели по снегу в сторону леса.

И почти рядом с домом на раскате вываливаются из саней двое — Сергей и один из партизан. Остальные партизаны даже не успели заметить потери двух седоков и мчались во весь дух к спасительному лесу. Часть карателей кинулась к оказавшимся на снегу партизанам, а другая из винтовок стреляла вслед уходящим в лес саням.

Каратели схватили Сергея и партизана, приехавшего с ним. Сразу тут же, на снегу, били. Потом Сергея поволокли в дом. Следом зашёл Покровский, самый главный из навлинского оккупационного начальства.

Уже после окончания войны случайно произойдет встреча Катерины с младшим братом Покровского, когда она вновь окажется в Брянске.

Принявшая брата за того Покровского, который был организатором уничтожения семей партизан, самих партизан и её мужа в том числе, Катерина так схватила его за волосы, что еле оттащили от него бедную вдову.

Внешний вид Покровского — служителя новому порядку — мог бы располагать к себе: высокий, плотного телосложения, волосы светлые. Одет он был в летную куртку, а на рукаве — белая повязка с чёрным силуэтом Георгиевского креста. Если бы не сверлящие глаза да искаженное от злобы лицо, то никогда не подумаешь, что этот красивый средних лет мужчина способен на нечеловеческие поступки.

— Тащите его в горницу, – скомандовал он карателям и, не останавливаясь, прошел в неё сам.

— Всех сюда! — раздалась следующая его команда.

Быстро накинув на себя верхнюю одежду, семья Ковалёвых прошла в горницу и выстроилась вдоль стены. Перед ними на широкой лавке лежал полураздетый связанный Сергей. Родные смотрели на него: растерянный отец с опущенной головой, руки скрещены, мать с застывшим от ужаса лицом. Рядом стояли онемевшие от страха невестки. Они держали около себя малышей. К матери прижималась Варя. Лицо её окаменело, стало бледно-серым как мрамор. Маленьких Кирюшу и Вову укрыли в полах тулупов матери и зажали им рты. Матери интуитивно пытались спасти детей от того ужаса, который им приготовили каратели.

— Начали!

И пошли стегать плетьми молодое тело Сергея уже привыкшие выполнять свою работу каратели. Комнату наполнил визг плетки. Кровь разлеталась в разные стороны от ударов плетей.

— Ой, сынок, – только и произнесла баба Люба при первых ударах плетей, да так и поехала как подкошенная.

Её подхватил дед Тимоха и стоял так с ней, закрывая ей рот, но из её губ вырывался крик: «Сынок!»

Кровь отца, попавшая Варе на лицо, вывела её из оцепенения:

— Папа!

И снова ужасающая, не для детского сознания картина сковала сердечко.

Невестки не издали ни звука. Ужас застыл в глазах Розы, из них катились слезы. Мол-

чала скованная гневом и страхом Катерина, всё крепче прижимая к себе Кирюшу и Варю. Всплыло воспоминание об обыске в её семье в 1918 году. Она, семилетняя, не понимала, что надо вести себя тихо, когда взрослые дяди в чёрной не сельской одежде с неприветливыми лицами переворачивали содержимое дома отца. Катя боялась за свое сокровище — зеркальце, которое держала в руках, и на виду у всех побежала его прятать в своем уголке. Незнакомый дядька остановил её:

— Стой, куда! — и ощупал её худенькое тельце.

Страх чужих рук сохранился у неё на всю жизнь. После ухода незнакомых людей впервые отец её отшлепал и сказал, чтобы правильно вела себя. С того лихого времени она ещё ребёнком усвоила, что надо молчать. Но эти ворвались, как голодные звери, готовые рвать каждого, кто хоть как-то возразит им, а большевики, производившие обыск в доме её отца, не позволили никого бить в присутствии членов семьи.

— Хватит, – резкий голос озверевшего человека в куртке, снятой с советского летчика, разрушил оцепенение Ковалевых и прекратил избиение Сергея. — На сани его к первому.

Каратели поволокли окровавленного Сергея из горницы. Взрослые члены семьи Ковалёвых продолжали стоять и никак не могли выйти из оцепенения, провожая полными ужаса и слёз глазами избитое тело. Царило всеобщее молчание. Только баба Люба причитала: «Сынок, сынок...»

— Факты подтвердились, – чеканит обладатель лётной куртки. — Вы партизанская семья, поэтому вам жить осталось недолго.

— Я не Ковалёва, – опомнилась от страшной картины избиения Роза, пытаясь как-то спасти себя и своего сына. — Я покажу вам паспорт.

Роза подходит к своему сундуку, достает паспорт и показывает его Покровскому.

— Отпустить её с ребенком, – резко скомандовал Покровский, – а этих заприте и спалите.

Исполнитель воли Гитлера на навлинской земле с чувством удовлетворения от выполненной работы вышел из дома, разместился поудобнее на санях, прикрылся большим тулупом.

— Погоняй! — дал Покровский команду вознице.

Лошадь послушно направилась по уже готовому санному следу. За Покровским на следующих санях каратели повезли связанных Сергея и партизана.

Плачущая Роза обнимает свекра, свекровь, Варю и Кирюшу со словами «простите» и «прощайте».

— Вечером приеду, если что, вы ждите меня в ивняке за ручьем, – шепчет незаметно Кате, обнимая её.

Собрав небольшой узелок, вместе с Вовой она отправилась к своим родным в поселок Садовый. Оставшиеся в доме Ковалевы перешли из холодной горницы на кухню. Расплакался во весь голос Кирюша, дали волю слезам Варя и Катерина. Баба Люба потеряла всякий контроль над собой. В придачу к потере разума не слушались бабу Любу ноги. Её усадили на лавку около стола в кухне. Попросил пить Кирюша. Катерина как по сигналу свыше в момент прекратила плакать, интуитивно начала исполнять святые обязанности матери: напоила сына, погладила по голове плачущую Варю.

Вошёл полицай:

— Сейчас запалят дом, вы должны сгореть, – дальше полицай продолжал почти шепотом: — Я помню, дед, твоё добро. Когда-то ты заступился за моих родителей, не подписал ложный донос. Их хоть в Сибирь сослали, но не расстреляли. Я постараюсь отвлечь тех, кто на улице. Покровский уехал, а с ним уехали многие. Осталось вас сжигать четыре человека. Бегите через двор в лес.

Дед Тимоха выглянул в окно: там шла работа. Подносили солому из стога, стоявшего у края дома недалеко от тропинки к ключу. Ковалёвы приготовили его для подстилки скоту. Полицаи укладывали солому на завалинку вдоль стены дома. Поднесли факел. Сухая солома охватила дом красными косяками. Пламя заметалось вдоль окон.

Старший Ковалёв взял табуретку, подошел к окну, выходящему во внутренний двор, выбил раму. Холод хлынул в дом. Двери са-

рая были распахнуты — каратели, пока хозяева были свидетелями избиения их сына, увели скотину.

— Вылезайте!

Сначала в морозном дворе оказалась Катерина. С большими усилиями удалось деду Тимохе вместе с Варей вытащить из дома через окно упирающуюся бабу Любу. За ней последовал в руки матери Кирюша. Свой дом дед Тимоха покидал последним. Между пустым сараем с распахнутыми дверями и уже горящим домом Ковалевы выбежали через калитку из внутреннего двора в лес, а там спасение.

— Ползите за мной, – подал команду дед Тимоха и потащил за собой бабу Любу.

Ползли по снегу как могли. Немели от холода руки. Природа не баловала людей, лишившихся крова: лютый мороз до костей пронизывал их тела, сильный холодный ветер захватывал дыхание. Снежная крупчатка декабря слепила глаза, однако в её действиях была и помощь — она заметала следы беглецов.

Юрий Сальников

*** * ***

Цветы к огню – и память вечная!
По жилам – будто бы свинец.
Как в кадре: санинструктор девочка
И умирающий боец.

Бой вижу с «тиграми», с «пантерами».
Воронки поля посреди
Впились в меня глазами серыми,
И слышу: «Милый, потерпи...»

За передышкою короткою,
Вновь голос, ставший дорогим:
«Родимый город за высоткою,
Мы Брянск врагу не отдадим!»

Разрыв снаряда – сердце в пламени!
И гробовая тишина...
Сидит осколком в нашей памяти,
Став бесконечною, война.

СЕМНАДЦАТОЕ СЕНТЯБРЯ

Не умолкают рощи и дубравы,
Шумит еловый лес, сосновый бор.
Брянск – воинской и партизанской славы,
Врагу дал сокрушительный отпор!
Нам говорят об этом ветераны,
И сердцем невозможно позабыть, –
Войны той не затянутые раны
Мы никогда не сможем залечить.
Мы родились под чистым небосводом,
Но каждый боль утраты ощутил.
Почтим погибших память всем народом
Минутою молчанья у могил.
С улыбками на лицах, со слезами,
Сто граммами и чёрным сухарём,
Сентябрьский день с салютами, цветами! –
Был в этот день наш Брянск освобождён!

МОЕМУ ДЕДУ

Тех сражений краски:
Огненный закат, –
В плащ-накидке, в каске
Снишься мне, солдат.

Враг из пулемёта
Перекрыл весь фронт, –
Не погиб, пехота,
И не сдал высот!

Смерть – так смерть фашизму!
Сквозь заслон огня,
В бой ты за Отчизну
Шёл и за меня!

Холмики, ложбинки
Заросли травой...
Нет твоей могилки...
Значит – ты живой!

В дом ко мне без стука
Входишь в сладких снах,
Чтоб понянчить внука
На своих руках.

В ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Я молча разгадывал ребус
И бегло газету читал.
Но в полный народу троллейбус
Вошёл в орденах ветеран.

С боями крушить лиходея,
Отдав и здоровье, и жизнь,
Шли деды, себя не жалея.
Поднялся я: «Батя, садись…»

Но батя смотрел будто мимо,
Не слушая просьбу мою:
«Не ехать же мне до Берлина, –
Ответил, – Сынок, постою…»

К окну подошёл победитель
И твёрдо стоял на ногах.
А что, вспоминая, он видел? –
Повергнутый видел Рейхстаг.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Привлёк внимание прохожих
На главной площади трубач.
Трубит труба – мороз по коже.
Внук шепчет бабушке: «Не плачь...»

А ей припомнилось то лето...
Проулки, улочки, сады,
Как будто не было рассвета,
Вдруг почернели от беды.

Она бежит с краюшкой хлеба
Вослед отцу, кричит: «Возьми!..»
И глохнут люди, глохнет небо
От слёз, гармошек, толкотни.

Рёв паровозный – в плач девчонка.
Отец: «Да будет... не мала...»
Но очень скоро похоронка
Ей с фронта на отца пришла.

В сундук запрятаны наряды –
Стоит девчонка у станка,
И смертоносные снаряды
Идут на фронт крушить врага!

С морей захватчики и с суши
К столице нашей подошли, –
Но русские святые души
Прочнее вражеской брони!

И не за звонкие монеты
Трубит на площади трубач –
Сегодня, праздник – День Победы!
Внук шепчет бабушке: «Не плачь»...

ИЮНЬ – ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

По центру улицы – трибуна:
Пришел народ со всех дворов.
Но утро облачное хмуро,
И лес в окрестности суров.

Бесценно дó смерти родное! –
Нет неоплаканных здесь мест.
Июнь, число двадцать второе –
Рассвет, состаривший невест.

И в непокошенном бурьяне
Не счесть могил тех, кто погиб...
Но ордена на ветеране
Огнем горят под тенью лип!

Тряхнув фуражкою помятой,
Сжимая боль свою в кулак,
Махнул рукою, как гранатой,
Метнул он – в гитлеровский танк!

* * *

«Катюши» бравые куплеты,
И рюмка звонкая хмельна.
Спасибо, доблестные деды,
Что доброй выдалась весна.
За небосвод высокий синий,
За праздник – полный стол еды.
Спасибо, деды, что в России
Стоят цветущими сады.
Живём мы, так или иначе:
Хоть разный нам и труд, и быт –
Мы собрались все вместе, значит,
Никто из вас не позабыт! –
Те имена, что продолжают
Свой подвиг в мире и в труде,
И те, что золотом пылают
На чёрной памятной плите.

Владимир Селезнёв

РЕЧЕЧКА

Год рождения этой деревушки – 1929-й.
23 сентября 1943 года фашисты
сожгли Речечку вместе с жителями.
Погиб 71 человек – женщины, старики, дети…

1

За мемориалом –
Лесная опушка,
В речушке – живая вода…
Кукует кукушка,
Вещует кукушка,
Считает кукушка года.

Святая печаль
Неживого колодца
И боль перелесков пустых.
Как память, встает
Каждодневное солнце
Для нас – приходящих, живых.

У реченьки имя
Взяла деревушка,
Казалось тогда – навсегда…
Кукует кукушка,
Пророчит кукушка,
Считает кукушка года.

2

Четырнадцать лет
Для селения мало –
Мгновение, несколько дней.
Обрушилось небо,
Округа стонала
В решающей сшибке идей.

Звериная злоба
Вершила расправу
На гневном смертельном огне:
Обычная рота
Для вермахта славу
Добыть постаралась вполне.

Сквозь время
Бетонная Речечка встала
На пересеченьи дорог:
Четырнадцать лет
Для селения мало –
Мгновение, искорка, вздох.

3

Манящи
Бездонного неба глубины,
Приветствуют день соловьи.
На склоне столетия
Горько рябины
Соцветия клонят свои.

Распахнуты настежь
Сожженные двери.
Стою – и по коже мороз.
Россия, Россия,
Какие потери
Тебе понести довелось!..

Над Речечкой – синь.
Возвратились с чужбины,
Приветствуют день соловьи.
Над плитами вечно
Седые рябины
Соцветия клонят свои.

НАПОМИНАНИЕ

Александру Николаевичу Саввину

Траншея,
Незаметная почти,
У двух перехлестнувшихся дорог.
В часы,
Когда торопятся дожди,
Здесь чистый протекает ручеек.

Непуганые птицы
В синеве,
Что чист рассвет,
Оповещают вновь.
Но каждый год в июне по траве
Алеет земляника, будто кровь.

СЫНОВЬЯ

Торжественные, как приветствие,
В квартире смотрят со стены
Для многих вовсе не известные
Её погибшие сыны,
Что не вернулись с той войны.

Могилы где-то их разбросаны
От Сталинграда до Москвы.
Над ними ночь звенит берёзами,
Над ними боль плакун-травы.

Листки истлели похоронные
За этих сорок долгих лет.
Но на земле, где ливни звонные,
Остался их сыновний след.

Им жить на сотни лет завещано,
Их жизнь –
Волнующая быль…
В квартире старенькая женщина
С портретов смахивает пыль.

Лариса Семенищенкова

БРЯНСКИЙ ВОЛК
(из цикла сказов об Анюте-Узорнице)

Анюта-Узорница – покровительница рукодельниц, творчество которых издавна славилось на Руси. Способная творить чудеса, она помогает людям мастеровым, добрым, честным и наказывает тех, кто посягает на красоту и хочет разрушить наш мир. Анюта-Узорница оберегает природу, потому что в природе человек всегда находит образцы порядка, красоты и совершенства.

1

– Дедушка, а какой брянский волк?

– Ну… как тебе сказать? Волк – он и есть волк.

– А почему – брянский?

– Так потому, что в наших лесах водится.

– А ты сам его видел?

– Конечно. Я по молодости хороший охотник был.

– И волка застрелил?

– Что ты, внучек! Разве его застрелишь! Он охотникам не дается. Есть у него особенная сила.

– Какая сила?

– Ну что с тобой делать? Видимо, придется рассказать.

– Расскажи, дедушка, расскажи! Пожалуйста!

– Так это длинная история.

– А я буду слушать. Я ни за что не засну.

– Нет, внучек, так не пойдет. Ты глаза закрывай, а я буду рассказывать.

– Ладно. Только до конца расскажи.

– А как же. Тут все одно к одному, пропускать нельзя. Ну, слушай.

Было это еще в войну, когда напали на нашу страну фашисты. Помнишь, я тебе про это рассказывал?

– Конечно, помню, дедушка. Хотели они землю нашу захватить, чтоб командовать везде… А советские люди их победили.

– Хорошо знаешь. Так вот. Были они и в нашей деревне. Эти самые фашисты. А вокруг деревни лес стоял такой, что ни пройти его, ни обойти… Богатый лес! Грибов, ягод полно, а зверья всякого, птиц! Бывало, зайдешь подальше – обязательно лося встретишь, а то куропатка из-под куста с выводком вылетит… Зайцы, белки, лисицы! Кабаны водились… Еще красота какая! Особенно по осени. Осинки стоят красные, березки чистым золотом убраны… А между ними глядишь – пень старый, да весь в опенках! Набирай в корзинку! Были места и болотистые, глухие, непроходимые… Да наши деревенские все тропки знали, а вот враги этого леса боялись не зря. Прятались там в войну партизаны. Помнишь, кто такие партизаны?

– А как же. Они помогали нашей армии врагов побеждать. Ты про это тоже мне рассказывал.

– Вот-вот… Но к тому времени, про которое у нас с тобой разговор идет, партизаны из леса все ушли. Присоединились они к армии, к частям, которые уже приближались к соседней деревне, чтоб, значит, вместе гнать захват-

чиков из нашего края. И уже слышно было за лесом «Катюшу», а это означало, что идет там бой не на жизнь, а на смерть, до самой победы. Знаешь, внучек, что такое – «Катюша»?

– У наших солдат орудие такое было, которого враги боялись.

– Точно… Ну, слушай дальше.

Поняли фашисты, что конец им приходит. Не стали дожидаться, пока наши нагрянут, засуетились, собирают свои пожитки. И думают, какое напоследок людям зло сделать. Надумали-таки варвары. Когда уже все свое приготовили, чтоб убегать, решили они лес поджечь, чтоб, значит, огненная стена нашим бойцам путь преградила. Это им привычное дело – все доброе уничтожать. Когда бежали они из сел, деревень, то поджигали дома, уводили скот, а то и вовсе людей всех расстреливали… Много горя оставляли после себя супостаты. И так осмелели на нашей земле, что свой коварный умысел насчет леса даже скрывать не стали. Кого им было бояться в нашей деревне? Одни женщины да дети малые, мужчины-то все на фронте воевали. Переговариваются между собой люди, не знают, что делать. Леса жалко, и страшно, что огонь-то на деревню перекинется, сгорит все дотла. Что делать? Как быть?

В крайней избе жил тогда мальчонка с матерью, Васяткой звали. Лет шести, вот как и тебе. Отец его и старший брат в армии с врагами бились. Хотел было и он с ними идти на войну, да кто ж малолетку возьмет, он и ружье не подымет. Но Васятка, хоть и маленький, да смышленый был, смелый, как говорили весь в отца. При этом в лесу нашем все тропинки знал, все укромные места: где медвежья берлога, где лисья нора, а где сорока вывела птенцов… И что важно: никогда никого в лесу не обидит. Выпадет птенчик из гнезда – он его обратно положит. Увидит, что жук перевернуться не может, – поставит его на ножки. Даже лягушек на болоте уважит: постоит, послушает их звонкий хор. Его так и прозвали на деревне – Мужичок-Лесовичок. Посмеивались над ним, спрашивали: «Эй, Васятка! Вот как кончится война, ты каким делом будешь заниматься?» Он и отвечал: «Учиться пойду, чтоб лесовиком стать». Это значит – лесником. Чтоб лес охранять. Кто ж поспорит? – Дело важное. Лесное богатство без присмотра оставлять нельзя.

Как узнал Васятка про фашистский план, долго не думал. Решил скорей бежать к нашим бойцам через лес, чтоб рассказать про вражескую затею да поторопить их с победой. И то правда: кратким путем в один бы миг добежал. Он и через болото знал ход.

Да не тут-то было. Враги следили за людьми строго. Всем приказали в домах сидеть, никуда не выходить. Патрульные обход делали по деревне. Знали, что у нас и дети смышленее их бывают.

А ждать никак нельзя. Решил Васятка огородами проскочить наудачу. И уже до леса, до первой березки добежал. Да заметил-таки патрульный мальчонку и закричал: «Стой! Застрелю! Партизан!» Других призвал. Прибежали, лопочут по-своему, ружья нацелили. Понял Васятка, что не убежать ему. И не то страшно, что убьют, а то, что никто тогда нашим воинам про беду не скажет. Остановился он, думает, как бы перехитрить врагов, да ничего придумать не может. А они окружили мальчонку и свое решают: сразу его застрелить или лучше сначала про партизан выведать – не иначе как он к ним пробирался.

Так и решили. Поставили Васятку к березе и стали требовать: рассказывай, мол, куда бежал, где партизаны, сколько их, что замышляют для защиты своей земли. И тут мальчонка придумал, как ответить. Вспомнил он, как однажды привели злодеи в деревню нашего солдата, мучили его, допытывались своего. А он все время им отвечал: «Знаю, а ничего вам не скажу». И пока придумывали они, как его испугать, ночью пробрались в деревню партизаны, освободили бойца и увели с собой в лес. Набрался смелости Васятка и говорит фашистам: «Знаю, а не скажу». Сообразил, что не станут его теперь убивать, пока не допытаются, значит, еще есть у него немножко времени. Может, как раз и подоспеют наши воины, а с ними его отец и брат. И так хочется Васятке, чтоб они успели, что как будто слышит он близко-близко звуки победного боя… Вспоминает он, что отец обещал побить врагов и защитить Васятку и других людей. Разве может он нарушить свое слово?

А фашисты пугают. Подняли ружья, и старший говорит: «Сейчас считать буду до десяти. Если не скажешь – стреляем без промаха, нашу меткость с трех шагов ты знаешь». И начал считать: «Айн, цвай, драй…» По-немецки это. Вот тут и вышел из-за куста волк… Внучек, спишь что ли?

– Нет, дедушка, не сплю. Ты рассказывай.

– Слушай, слушай. Тут самое интересное начинается.

Стоит волк обыкновенный, не особенно большой, хвост опустил, уши поджал, но – странное дело! – глядит как будто без страха, а только сильно сердито. И стоит совсем близко, шагах в десяти всего от воителей. В глазах его – зеленые огни: вспыхнут – погаснут, вспыхнут – погаснут… Будто предупреждает он злодеев. Один фашист не выдержал да и пальнул из ружья. Что за чудо? Рассеялся дым, а волк-то стоит по-прежнему. Цел и невредим. Но стал как будто больше ростом; шерсть его ощетинилась, сделалась чисто стального цвета. Не сговариваясь, вскинули враги свои ружья и пальнули все разом. Чудеса! Летят пули прямо в зверя, от щетины его отскакивают, как шарики, и летят во все стороны. А волк осторожно шагнул вперед да и еще вырос прямо на глазах. С кустом сравнялся, а куст-то выше человека! Засверкали в глазах у него огни красные, оскалил он пасть, и видно, что шерсть его еще гуще сделалась. Прижался Васятка к дереву, а фашисты и забыли про него. От страха слова не молвят. Опять ружья подняли и пустились стрелять куда попало. Волку хоть бы что! Медленно, осторожно так лапами переступает и все ближе к врагам. А с каждым шагом становится больше, и вот уже идет на врагов огромный зверь, какого свет не видывал, а только что в сказках бывает. Поднял он огромную лапу, подставил под пули, будто отбивается, и полетели они обратно… Фашисты от своих же выстрелов замертво падают…

Кто не упал, побросали от страха ружья, побежали с криками прочь, до самой деревни, не оглядываясь. Что уж они рассказали там, неизвестно, только бежали из нашей деревни срочно. И когда пришли наши солдаты – их уже тут ни одного не было. То-то было радости на деревне!

– Дедушка, а волк фашистов догонял?

– Нет, внучек, из леса он не выходит, только в лесу, говорят, его сила.

– А Васятка что?

Васятка остался цел и невредим, он про это и рассказывал. Говорил, что, когда враги побежали, волк будто обернулся к нему. Отряхнулся и сделался совсем обыкновенным. Потом быстро-быстро побежал прочь. Только послышалось Васятке, как прошумели ветки в кустах… И сорока протрещала звонко, будто от радости. Тут у мальчонки и страх пропал. Говорят, что в том месте, где чудо такое случилось, до сих пор пули находят в стволах деревьев. Памятки. А лес уцелел. Теперь он вечно будет жить, потому что Василий Степанович, Васятка то есть, там порядок наводит. После войны лесником стал. Браконьерам спуску не дает. Однако надо сказать, браконьеры наших лесов побаиваются. Про брянского волка тоже слыхали. Молва ведь быстрее пули летит… Эй, внучек, никак спишь?... Ну, ну… Вот это и хорошо. Мама придет, а у нас с тобой все правильно. Не успел я тебе еще про Василия Степановича важное сказать. Он ведь у нас сказки для детей мастер придумывать. Лесные. О разных лесных чудесах. Ну, это теперь в другой раз.

2

– Дедушка, расскажи еще лесную сказку.

– Не знаю, про что тебе, внучек, рассказать, все уже сказки ты мои переслушал. Проси у бабушки, она про Узорницу много знает.

– Это которая мастерица чудесная?

– Так точно.

– А я хочу еще про брянского волка.

– Твоя правда. Про Анюту-Узорницу больше женщины интересуются. Особенно те, кто рукодельем занимается: вяжут, вышивают… Да… Но одну сказку про Узорницу и я знаю. И про волка. В прошлый раз не досказал тебе. Ведь брянский волк еще раз показывался Василию Степановичу.

Было это дело уже после войны, в самый разгар лета. Делал Василий Степанович свой обход лесной. То есть проверял: все ли дере-

вья на месте, не нужно ли какое деревце подлечить, не наведывались ли браконьеры заезжие, кто наших порядков не знает, не остался ли где костер… У лесника дел всегда много. Ходит, присматривается, заодно грибы собирает. Как раз грибная пора наступила.

Незаметно далеко зашел и слышит, будто голос девичий. То ли смеется, то ли зовет кого. Любопытно стало Василию. Не заблудился ли кто? Крикнул он громко: «Э-э-й!» Прислушался – нет ответа. Постоял и опять как будто услыхал голоса… Решил пройти немного в глубь леса. И все ему что-то слышно… Решил дойти до ближней лощины, а дальше уже нельзя, потому что за лощиной непроходимая чаща начинается… Идет он осторожно, и чем дальше, тем кусты выше да гуще. Остановился. И тут почти рядом, чуть-чуть вперед, услышал девичий смех. Раздвинул он ветки и просто онемел. Глядит – глазам не верит.

Сидит на поваленном дереве девица красоты чудесной. Сарафан у нее зеленый, узором переливчатым разукрашен, на голове венец радужный, лента ясная в косе, она и есть по всем приметам – Узорница. Где ж ей еще и бывать, как не в наших лесах. Тут для нее столько чудесных узоров природа надумала, что человеку за всю жизнь не сочинить. Сидит она и перебирает будто клубочки ниток. На зеленый полюбуется, примерит к сарафану. Потом желтый повертит, к косе приложит… Голубой перекинет с руки на руку… А рядом – огромный волчище, ростом почти с человека, и смешно вертит головой, как будто тоже клубочками интересуется. Тут она подбросила один вверх, а волчище подпрыгнул да и отбил клубочек, словно мячик, и прямо в руки девицы. Смеется она, заливается. Так играют: она подкидывает, а он обратно ей отдает, но при этом с каждым прыжком как будто меньше делается. Вот уже прямо на глазах стал похож на большую собаку, а потом и вовсе щенком игривым прикинулся. Подбежал к девице, потрепала она его за ухо, погладила по голове… И показалось леснику нашему, что как будто поглядел на него волчонок, будто заметил и хочет сказать: «Видишь, я совсем даже не страшный…»

Пошевелился Иван, хрустнула ветка под ногой, и вся картина эта враз пропала. Как будто ни девицы не было, ни волка…

Потом кому ни рассказывал Василий Степанович про это, никто не поверил. Решили, что это у него от жары такое видение случилось.

– А я хочу поверить, дедушка.

– Вот-вот. Поэтому Василий Степанович детям и рассказывает свои лесные истории.

– Дедушка, а почему волк маленьким становился?

– Как почему? Зачем же ему хороших людей пугать? Это для врагов он страшный. Теперь в лесу только грибники ходят. Он очень умный, брянский волк…

3

– Дедушка, а если нам встретится брянский волк, что тогда?

– Нет, внучек, это вряд ли. Видишь, мы с тобой грибы собираем. Зачем ему нам показываться, человека пугать? Мы же в лес с добром идем? Вот паучка не обидели, не тронули его паутинку, гнездышко в траве не разорили… Так?

– Да, правда.

– Стало быть, мы лесу друзья.

– А я слышал, как веточка хрустнула. Как будто побежал кто-то. Вон за теми кустами.

– Не бойся, внучек. Кто побежал, тот нас испугался. Может, заяц, может, лосенок – у нас они водятся. В лесу много зверюшек. Может, и птица взлетела. Я тут раньше тетеревов встречал. Совят на ветке как-то видел… Гляди-ка, внучек, какой гриб сидит!

– Где, где, дедушка?

– А ты внимательно оглядись. Ну-ка, сам найди.

– Вижу, вижу, дедушка! Какой большой! Под той березой!

– Беги, срезай, ты пошустрей меня. Хороший боровик, ох какой важный! И как шляпа его подрумянилась на солнце! Точно пирог… Теперь в корзинку его… Вот так… Давай-ка тут рядом поищем. Вряд ли такой красавец один вырос…

– Дедушка, я лисички нашел!

– Молодец, внучек. Хорошим грибником будешь… Я это место еще прошлым годом приметил. Тут, видишь, дерево поваленное, сухое. И травка негустая. Солнце пригревает полянку. Тут лисички всегда растут. Только срезай осторожно, чтобы корешки в земле остались… Так… Мы с тобой сейчас и посидим на этой полянке. Отдохнем немножко, а потом и к дому станем двигаться.

– А грибы еще будем собирать?

– Да у нас ведь корзинка полная уже! Пусть подрастут, мы их и найдем в другой раз. Садись-ка рядом; в ногах, старые люди говорят, правды нет. Вот… Послушаем, как лес говорит.

– Разве он говорит?

– А ты прислушайся. Ну-ка, что слышно?

– Птичку слышу. Там, далеко… И другую.

– Вот это и есть их разговор. Одна другой что-то сообщает. У них свой язык.

– И никто-никто не знает, про что их разговор?

– Почему? Есть умные люди, ученые, которые изучают птиц. Они понимают.

– Я тоже хочу понимать.

– Учиться много надо, внучек. Присматриваться, наблюдать… Кто природу изучает, тот самый умный человек.

– Почему?

– Как тебе сказать… Природа многому учит человека, подсказки дает… Вот, например, смотри: растет травка. Мы на нее наступили нечаянно, она и припала к земле. Трудно ей. А пока сидели, она уж и распрямилась, стебельки расправила. Где только силы взяла. Вот и нам пример. Как будто говорит: «Бывает и трудно, а ты найди силы. Я совсем маленькая, а ты – человек, значит ты много сильнее меня…»

– Дедушка, а я вчера упал и не заплакал. Мне больно было. А сегодня уже не больно.

– Вот. Про это я и говорю. Послушай, как березка шумит. Слышишь?

– Слышу.

– Это листочки переговариваются. Их ветер там вверху шевелит, они и шелестят. Радуются, что выросли, что тепло им… Что нет никакой войны… Опять нам пример: жизни всегда радоваться нужно…

– Почему ты знаешь, дедушка?

– Как не знать, я больше тебя живу. Вот придем сюда по осени, совсем другой разговор услышим… А теперь пора нам с тобой к дому… Мама, наверное, ждет нас.

– Дедушка, а может, мы в другой раз и волка увидим?

– Что ж, внучек, все может быть. То в лесу и интересно, что всегда что-нибудь новое увидишь или услышишь… И все же с волком лучше нам с тобой не встречаться.

– Почему, дедушка? Он же добрый!

– То, внучек, в сказках… А волк – он и есть волк…

– Дедушка, а я знаю, какой брянский лес.

– И какой же, по-твоему?

– Он волшебный!

– Ишь ты… Догадался. Но я тебе другое скажу. Вся Земля наша такая, внучек, – волшебная. Хорошо, если бы все люди это понимали. Тогда никогда не было бы войны.

Станислав Сеньков

БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ

Уже давно пожары не пылают,
И не горят походные костры,
Но тысячи бойцов не забывают
Заботливые руки медсестры.

Им не забыть походных медсанбатов
И тех врачей, за жизнь вступавших в бой
В простреленных брезентовых палатках
В двух километрах от передовой.

Когда составы в тыл страны спешили,
Ты вспоминаешь – лишь прикрой лицо –
Берёзы опалённые России
Плывут в глазах у раненых бойцов.

Уже давно пожары не пылают,
Но и теперь ты на своём посту,
И тысячи людей не забывают
Души твоей большую красоту.

ФРОНТОВИК

Живёт, как все. И тем доволен,
Вот в гости правнуки пришли.
Как те траншеи в чистом поле,
На лбу морщины залегли.

Уже сто лет, наверно, деду.
Когда сто лет – какой там вид.
И только орден за Победу
Всё так же молодо горит.

ВЕСНОЙ СОРОК ПЯТОГО ГОДА

Она взлетела над вечернем лугом, –
Был песней мой отцовский край богат,
И голосистей не было в округе
Курмановских да глазовских девчат.

Весна!
Цвела над речкою черешня,
Да так цвела, что мимо не пройти.
И всколыхнула край деснянский песня,
Что всю войну сидела взаперти.

Она ждала – теперь пора настала,
Она ждала, чтоб возродиться вновь,
И белой птицей в песне той взлетала
Нетронутая девичья любовь.

А ей в ответ – гармошки переборы,
Вернувшиеся только что с войны
Шли в сапогах четыре ухажёра,
Да пятками сверкали пацаны.

Девчата поутихли в ожиданье,
А с ними вместе слушало село,
Когда родное русское страданье
Над рожью и над лугом поплыло.

Вновь слышались в ночи и смех и шутки
На пятачке заросшем у реки.
И вспыхивали ярко самокрутки,
И смахивали слёзы старики.

ПОБЕДА

Памяти отца

Победа! – неслось по весенней земле,
И мы к поездам ходили.
Сначала услышал я скрип костылей,
Взглянул – и отца увидел.

В крестьянскую хату соседи пришли,
Про новость мальчишки кричали.
Я трогал руками его костыли,
Я трогал его медали.

От радости с братом уснуть не могли,
В руке берегли по конфетке.
Победа! – скрипели в ночи костыли,
И плакала наша соседка.

КРАСНЫЕ ЗВЁЗДЫ

Памяти партизан

На пожелтевшей траве, на кустах
Медленно тает осенняя роздымь.
Листья опали в клетнянских лесах,
И обнажились красные звезды.

Уходит дорога за горизонт,
В село, где давно уже не был.
Как много в краю нашем брянском звёзд,
Как будто здесь рухнуло небо.

Геннадий Соболев

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Мы к маю увеличивали фото
Своих родных, кто был на той войне.
И воскресали умершие роты,
Давая силы новые стране.

По всей земле – от края до столицы –
Портрет к портрету – бесконечен ряд.
Ты посмотри – вокруг родные лица –
Бессмертный полк идёт на свой парад!

Не объяснить небесные законы:
Кем и когда запущен скрытый код?

Как будто не портреты, а иконы
Несёт страна на новый Крестный ход…

Тем майским утром с музыкой, цветами
Особой стала русская весна,
Ведь поднялась у нас над головами
Святая, Победившая страна!

В ней до сих пор источник нашей силы…
С надеждой и молитвой на устах
Идёт в строю та, дедова, Россия,
Идёт вперёд, у внуков на руках!

ВОЕННЫЙ ТРИПТИХ

1. НА ПИКУРИНСКОМ

В начале сентябре 1941 года у Трубчевска развернулось крупное многодневное встречное танковое сражение, надолго задержавшее продвижение гитлеровцев. 6 сентября в трубчевском небе, над театром боевых действий был совершён воздушный таран.

Неизвестному русскому лётчику, танкистам 108-й танковой дивизии 141-й танковой бригады, всем воинам группы генерала Ермакова посвящается

Кровавый сентябрь в сорок первом
Лёг шрамом на сердце страны.
В трубчевские рвался деревни
Пожар самой страшной войны.
И в сводках названья посёлков
Остались звучать до сих пор:
Бобовня, Ужа, Калачёвка,
Карбовка, Брусничный, Магорь…

Здесь танки горели, как свечи,
Десятые сутки подряд.
И сердце прикрыть было нечем:
«Умри, но ни шагу назад!»
Летали железные птицы,
Земля содрогалась от ран...
Вновь в памяти вспыхнет зарницей
Смертельный воздушный таран!

На Пикуринском сегодня тишина,
Спит любимая огромная страна,
На солдатскую могилу уронил листву свою
Старый дуб, снарядом раненый в бою…

Здесь обычно речи строги и просты,
И у танка снова свежие цветы...
Растворяют в трелях птичьих те далёкие бои
За Десною у Трубчевска соловьи.

Соловьи, соловьи…
за Десною – соловьи!

2. СЕНТЯБРЬ 41-ГО. НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

(На основе письма солдата 282-й стрелковой дивизии 13-й армии Брянского фронта)

Здравствуйте, милые матушка,
Дочка, отец и жена.
Эх, прикоснуться б хоть краешком
К вам, да мешает война.
Я из тринадцатой армии
Это письмо к вам пишу.
Здесь, среди адского пламени,
Вашей любовью дышу.

Между Трубчевском и Почепом
Мне воевать довелось,
Чтобы тебе, моя доченька,
В мире и счастье жилось.
Драться пришлось врукопашную
В полдень вчерашнего дня.
Пуля горячая, страшная
В сердце сразила меня.

Будет письмо похоронное
Птицею биться в окно.
Нам под домашними клёнами
Свидеться не суждено.
Память слезою горючею
Вспыхнет не раз в тишине.
Доченька, внукам… при случае…
Ты
расскажи
обо мне...

3. ГИМН БРЯНСКОМУ ФРОНТУ

Какие слова нам найти,
Чтоб знали и помнили люди,

Как встала страна наша грудью
Под выстрелы вражьих орудий,
И что предстояло пройти?..
Какие слова нам найти?

Вот если бы все имена
Солдат, умиравших под Севском,
Карачевом, Брянском, Трубчевском,
Унечей, Погаром и Мценском
Звучали во все времена –
Святые для нас имена.

Как сделать, чтоб внуки детей,
Героев войны величая,
Вставали в минуте молчанья
И помнить вовек обещали?
И не было б клятвы святей,
Чтоб знали и внуки детей!

Такие слова нам нужны,
Чтоб золотом были отлиты
В сердцах – это твёрже гранита:
«Никто и ничто не забыто!»
Такие слова нам нужны!
Чтоб не было больше войны!

СТАРЫЙ ФЛАГ

На старом чердаке, среди вещей забытых,
Я в царство паутин вошёл, как в мир иной.
Не помню, что искал среди шкафов разбитых,
Но вот из сундука предстал передо мной

В рулоне из газет и стареньких обоев,
Которые пришлось снимать за шагом шаг,
С рассохшимся древком,
пролаченым в два слоя,
Знакомый с детства мне
победный красный флаг.

И будто кто включил немую киноленту:
Мне меньше десяти, я с дедушкой вдвоём…
К особому для нас готовимся моменту –
На День Победы мы в колонне с ним пойдём!

Я к деду приставал с расспросами о прошлом,
Медалями звенел его большой пиджак,
Он начинал рассказ, совсем немногосложный,
А ветер развевал чуть выгоревший флаг…

Его он не снимал и после Дня Победы,
Покуда в белый цвет раскрашены сады…
Уж много лет прошло, давно нет рядом деда,
В каких мирах сейчас те майские цветы?..

Я флаг возьму с собой, хоть выгорели краски,
И обветшала ткань – пусть даже это так…
Не стану покупать материи атласной –
Дороже этот мне бесценный дедов флаг.

9 МАЯ 2015 ГОДА. ТРУБЧЕВСК

В который раз Победный День встречаем,
Наш город обновил свой праздничный наряд.
И в небесах Победу величают –
Два белых аиста над площадью кружат.

Весна кругом!.. А я представил осень…
Трубчевск. Окраина. И яблоневый сад…
Шёл сорок первый, было их сто восемь –
Расстрелянных фашистами солдат.

…Уж в наши дни, в две тысячи десятом,
Весной, когда ещё деревья не цвели,
За старым садом, на холме измятом
Четыре ямы те – расстрельные – нашли.

Средь черепов, раздробленных прикладом,
Колючей проволокой связанных людей
Лежали гильзы, сапоги и рядом
Косички девочки… с остатками костей.

Их хоронить почти весь город вышел.
Служил священник,
тихо пел церковный хор…
Куда-то мой сосед смотрел всё выше…
И поднял вместе с ним наверх и я свой взор.

Там, в небесах, неведомо откуда,
Из песни Френкеля, а может, из полей?
Особый знак то был, а может, чудо? –
Летели семь усталых журавлей.

Зачем кружили, снова возвращаясь?
Что разглядеть пытались с высоты?

В глазах моих всё больше превращаясь
В летящие небесные кресты…

Всё… Улетели в синий мир бездонный,
Оборвалась в душе ещё одна струна.
А на могиле братской у иконы
Остались каски, свечи, крест и тишина…

Появятся из мрамора таблички…
Но ты мне, память, в сердце сбереги
Те неистлевшие девчоночьи косички
И стаи журавлей печальные круги…

ГОРЯЩИЙ ТАНК

Цвет неба сегодня такой голубой,
Взят Врицен. И после обеда
Наш танковый полк вновь готовится в бой.
Осталось чуть-чуть до Победы.

Откуда немецкий возник самолёт
На бреющем дерзком полёте?
И даже был виден стрелявший пилот,
И знаки на чёрном капоте.

Секунды… он скрылся в небесный проём,
А тут, прямо в скопище танков,
Одну из машин охватило огнём,
Как будто пустую жестянку.

Ну, кто прозевал этот чёртов полёт?
Ведь танки стоят слишком тесно…
А боекомплект, если только рванёт,
Замесит кровавое тесто…

Что делать?.. Подкинул задачу фашист,
Решения нет и в помине…
Но вдруг подбежал худощавый танкист
К горящей железной машине.

Он с места рванул огнедышащий танк,
Мелькнуло: «Что будет – то будет…»
Стучала в висках кровь горячая так,
Что впору молиться о чуде.

А чудо – отсюда далёко оно…
Там – Болхов. И детство. И воля.
Там мама и дом, где в любое окно
Глядит частокол колоколен…

А танк разгорался сильней и сильней,
Несясь сквозь колючий шиповник.
«Ты что же творишь,
бесшабашный старлей?», –
Вдруг выдохнул тихо полковник, –

«У нас этот парень воюет давно,
Осталась на сердце зарубка»…
И перед глазами, как в старом кино,
Под Прохоровкой – мясорубка…

Там, в Болхове, городе многих церквей,
Вдруг ставшая старенькой мама
Тихонько вздохнёт и рукою своей
Погладит портрет в старой раме…

А танк к перелеску уже подлетал,
В завесе из дыма и гари…
Полковник беззвучно кому-то шептал:
«Неужто не выскочит парень?..»

Сумел. Перед взрывом успел… Отбежал.
Броня – в огневом ореоле.
И только в глазах у танкиста дрожал
Цвет неба над болховским полем…

Я знаю себя, я бы так не сумел,
У каждого – личная доля.
А этот танкист был удачлив и смел,
То был мой родной дядя Коля.

Владимир Соколов

ПАРТИЗАНСКАЯ МАХОРОЧКА

Воевал в одном из наших отрядов партизан по фамилии Мохов. Многого были лишены люди в партизанстве, но, пожалуй, сильнее всего тосковали они по детям. Вот Мохов както и говорит командиру:

— Деревня наша совсем недалече. Отпусти семью повидать. Командир – «нет», а он свое: отпусти да отпусти. Уступил все-таки ему командир и в напутствие сказал;

— Полицаи везде как волки рыщут. Гляди в оба. Дома побудь и сведения кое-какие собери.

Мохов кивал головой, но все его мысли в то время были о детях и о жене. Много нежности к родной семье скопилось в его сердце, а потому, не успело еще смеркнуться, как он уже в путь. В лесу чувствовал себя как дома. Потом полз оврагом, зорко приглядывался, прислушивался, – тихо все, только иногда в заброшенных ригах ухали совы. В полночь подкрался к деревне. Вот и взгорье, и хата родная. Чуть-чуть огонек светится. Постучал – выбежали жена, старший сын, – то-то радости! Не знают, куда посадить. Только было расположился он поужинать, вот тебе и полицаи. Один – маленький, рыжий, другой – долговязый, как жердь.

— Кто такой? Партизан?!

— Самый главный! – на случай подготовил ответ Мохов. – Явился к вам на расправу ни за что ни про что. Здрасте, вот, мол, я, берите меня за рупь двадцать.

— Не трепись, говори, откуда взялся?

— Эх вы! Своего не разглядели. В экономии у немцев служу. С разрешения начальства жену и детишек повидать пришел.

— А чего по ночам бродишь?

— Днем-то дел по горло. Сами знаете.

Полицаи обыскали Мохова, но ничего подозрительного не нашли.

— Может, и правда, у немцев служит, – сказал рыжий.

— Повезем в стан, там выясним, что за птица. Неси веревку, свяжем. Ночь... мотнет в кусты — ищи ветра в поле, – распоряжался долговязый.

Скрутили Мохова вожжой. Уже связанный, поцеловал он жену, детей малых, а когда к старшему сыну подошел, тот не выдержал — и вон из хаты. Жена заплакала.

— Не горюй, Аксинья, не может так зря безвинный человек пропасть, скоро увидимся, – утешал он жену и, не желая видеть ее слез, обратился к полицаям:

— Ну, ехать так ехать! Чего время терять!

Полицаи переглянулись и повели его к двери.

Только порог переступили— старший сын к ним бросился:

— Куда отца ведете? Не дам! — обнимает, а сам ему что-то тяжелое в карман сует. «Пистолет, – сразу определил Мохов.— Молодец — добыл где-то». Полицаи оттащили парня, дали ему затрещину, а Мохова вытолкнули на улицу.

Тихо кругом. Партизаны далеко, ни о чем не знают... . Сели в телегу. Рыжий лошадьми правит, а долговязый за Моховым следит, глаз с него не спускает.

— А что, – обратился к долговязому Мохов, – здорово досаждают вам партизаны. Обожглись вы на молоке, теперь на воду дуете. Мирных хватаете. Я и на партизана-то не похож совсем!

— А ты бы поменьше гавкал, а то тресну по башке, и отдашь богу душу.

— Моя-то душа за правду к богу пойдет, а твоя разве что дьяволу достанется. Ну, чего вы ко мне прицепились? Оно, конечно, в стане разберутся, да опоздаю на место явиться, начальство осерчает... Ох и дорожка, все печенки отбило.

— Ничего, скоро уложат тебя в сосновую постель под дерновое одеяльце. Там мягко будет, – подтрунивал долговязый.

В это время подъехали к тому месту, где дорога расходилась: одна шла по деревне, другая — мимо леса.

Рыжий приостановил лошадей.

— Где поедем? — спросил он долговязого, который был за старшего.

Не успел тот ответить, как вмешался Мохов. Он горячо убеждал ехать по поселку, доказывал, что эта дорога и лучше, и короче, и безопасней. Так оно и было, но долговязый заподозрил в словах Мохова какую-то хитрость и приказал сворачивать на ту, что мимо леса.

— Эх вы — гвардия!— зло сказал Мохов и стал жаловаться на боль в боках и все советовал вернуться на большую дорогу. Долговязый, убежденный, что расстроил планы подозрительного типа, как-то повеселел и добродушно стал посмеиваться:

— Спрячь свои советы в карман.

— Рад бы спрятать, да вот руки связаны, до кисета не дотянуться. Курить охота. Дайте, что ль, на цыгарочку, – попросил Мохов.

— А ты свою достань и нас угости, – продолжал издеваться долговязый.

— А что? У меня махорочка хороша, на славу.

— А ты достань попробуй, – вмешался в разговор рыжий. Долговязый захохотал.

— Ну что ж, – отвечает Мохов, – можно и попробовать. Только пусть не в обиде будут ваши хозяева, если я их в расход введу. Веревочка-то, кажись, трухлявая, того гляди, порвется.

— Из наших веревок еще никто не вырывался. А ты...

Закряхтел Мохов, повел плечами, а мужик он был крепкий, широкоплечий. Узлы подались.

— Силён парень, – дивятся полицаи, – так и быть, заслужил цигарку. Тащи свой кисет, угощай волостную гвардию.

— Пожалуй, – говорит Мохов, – с охотой. — Вырвал одну руку, да в карман, выхватил пистолет и на них:

— А ну-ка, пошевелись теперь который, понюхает тогда партизанской махорочки.

Полицаи опешили.

— Сворачивай вправо, – кричит Мохов.

Делать нечего, свернули. Через некоторое время снова команда:

— Влево держи, потом прямо!

Так до самого партизанского лагеря полицаи кучерами у Мохова служили. Окружили партизаны телегу и ну хохотать; вот так штука. Мохов слез, разминая затекшие ноги, – и к командиру:

— Боялись отпустить, говорили, полицаи лютуют, а вон видите, какие они деликатные, даже в лагерь, как барина, на пролетке доставили. Везде нас, партизан, уважают.

— Чего ж они тебя веревками скрутили? — смеется тот.

— А это, чтобы я от ихних любезностей по дороге не утек. В волостное управление везли, начальнику представить собирались, Поговорить там со мной по душам хотели. Да вот не вышло!

— У них не вышло, у нас выйдет, послушаем, что они петь будут, – сказал командир и направился в землянку, куда повели полицаев.

Кругом одобрительно посмеивались:

— Молодец, Мохов, сразу три дела сделал: жинку повидал да еще двух зайцев убил.

Один из «зайцев» оказался матерым волком. Много он наших людей загрыз, но на Мохове зубы сломал.

АИСТЫ ПРИЛЕТЕЛИ

Старый Трофим обычно поднимался раньше всех, но сегодня его опередил маленький Алешка, Аркашкин сын. Вместе со старшим братом он ночевал в сарае на сеновале и проснулся от какого-то шума на крыше дома. Тихонько подполз к стенке и стал смотреть в щелочку, чтобы выяснить, кто шумит. Увидев аистов, кубарем скатился вниз, ворвался в дом и изо всех сил начал тормошить Трофима:

– Деда, дед, аисты прилетели... Вставай же, дед, аисты...

– Где они? – спросил сразу проснувшийся Трофим.

– У нас на крыше. Скорей одевайся. Пойдем смотреть, – предложил Алешка и, не дожидаясь Трофима, бросился к двери.

Дед поспешно натянул штаны, сунул ноги в валенки, схватил фуфайку и, забыв про свои годы и болезни, вслед за внуком выскочил во двор. Не сделав и десяти шагов, остановился, поражённый увиденным: на фоне громадных густо зазеленевших тополей, растущих около дома, ярко выделялось белоснежное оперение аистов.

Трофим вдыхал нежный запах молодой листвы, принесенный легким ветерком из сада, еще покрытого прозрачной дымкой тумана, любовался гордыми птицами, которые напомнили ему о другом времени. Страшное было время. Тогда над домом тоже летали аисты...

Много лет прошло с тех пор, но Трофим ничего не забыл. Нет, такое не забывается.

Осень 1942 года. Выгоревшее поле, опустевшее село. Люди ушли в лес. В деревне остался только он, Трофим, да колхозный сторож Влас. Оба старые. Влас так прямо на четвереньках ползал. Кто мог подумать, что через них с партизанами связь держалась!

...Вот точно так же, как сейчас, сидел Трофим на скамеечке и смотрел в ту сторону, где за озером из леса ниточкой поднимался к небу дымок. Вековые сосны, мохнатые ели, ветвистые дубы укрыли там партизанские землянки. К нему подошел Влас, примостился рядом на камень, потер шершавыми ладонями колосья, собранные на поле и начал жевать зерна. Аистиха, сидевшая в гнезде на крыше Трофи-

мова дома, беспокойными глазами наблюдала за ним. Укрыв птенцов, она ждала возвращения отца пернатого семейства.

Трофим взял у Власа несколько зерен и, закопав их недалеко от сарая, сказал задумчиво: «На всхожесть надо проверить». Вернулся на место, пыхтя самосадом, Влас тоже свернул козью ножку. Перед ними раскинулось село, повернутое к озеру. Как сказочный град Китеж, оно словно выросло из воды. Может быть, потому здесь и гнездились аисты: вода близко, и зелени много кругом.

Подул ветерок и принес отдаленный гул моторов буксующих машин. Трофим и Влас переглянулись. Гул усилился.

...Машины подкатили все разом. Влас насчитал их десять. Грозные машины с бронированными бортами и кабинами. Громким охрипшим голосом кто-то скомандовал. Машины остановились. Из первой выскочил офицер и быстрым шагом направился к старикам;

– Русь, бандит... Люди... Люди... – Он, очевидно, хотел узнать, где жители села.

– Хальт, хальт! – закричал в ответ Влас, потом он показал ему глазами на озеро, на хату и на гнездо аистов.

– Где люди? – спросил по-русски подбежавший солдат.

– Хальт, хальт! – твердил Влас, глядя на него круглыми, как у младенца, глазами.

– И-ди-од!.. – зло процедил сквозь зубы офицер и сильно толкнул Власа в грудь. Влас не упал. Он только качнулся, потом сел на землю и обхватил голову руками.

– Где люди? – наседал на него офицер.

Трофим пробовал защитить Власа, усовестить расходившегося фашиста, но тяжелый удар в висок сбил его с ног. Трофим потерял сознание. Сколько пролежал, не помнит. Очнулся от едкого запаха дыма. Село горело. Пожар шумел, как буран. Трофим тяжело поднялся и глянул на свой дом. По его стенам плясали огненные галки. Аист улетел, а аистиха, распластав крылья, подняла свой длинный клюв к небу, словно грозила невидимому врагу. «Укрыла детей», – подумал старик.

Среди шума пожара прозвучало несколько автоматных очередей, но и этот треск не испугал аистиху. Тогда Трофим стал кричать, бросать палки, чтоб спугнуть птицу, сунулся было на крышу, но пламя широким полотном опоясало гнездо. Когда снопы искр поднялись к небу и рухнула крыша, над хатой появился аист. Старик смотрел в небо. Аист медленно и долго парил на малых кругах. Он то опускался вниз, где огненные языки вылизывали кладку дров, что возвышалась вровень с избой, то поднимался в посеревшее от гари небо, потом стал резко набирать высоту. Вот он уже поднялся так высоко, что стал едва заметной белой точкой.

«Пусть улетает, вольная птица», – подумал Трофим. Но вдруг аист сложил крылья и тяжёлым камнем понёсся к земле. Через несколько секунд рядом с пепелищем Трофимова дома лежал ком окровавленных перьев...

Где-то за селом завыла собака. Треснула короткая очередь автомата, и собака замолкла.

Несколько взрывов сотрясли землю. Потом затрещали длинные пулеметные и автоматные очереди. «Бог вам на помощь, родные! – прошептал Трофим, узнав своих по «голосу» пулемета. – Аркашкина рука. Твердо выводит строчку...» Это был девяносто пятый бой партизанского отряда. Девяносто пятый раз его Аркашка строчил из пулемета. При мысли о внуке в сердце старика затеплилась радость. Он напряженно прислушался.

Бой длился около часа. Когда стало тихо, старик закрыл глаза. Послышались чьи-то быстрые шаги. Трофим догадался, что к нему спешит Аркашка. Парень действительно торопился к старику. Он остановился перед ним, не смея ни поздороваться как следует, ни заговорить.

– Ну как там? – спросил старик. – Всех побили?

– Три машины удрали, дед, – словно извиняясь, ответил Аркашка.

Старик на минуту задумался. Все-таки это большая и тяжелая работа. Семь из десяти!

Внук стоял перед дедом, он был выше его на голову.

– Аркашенька, жив, значит, – прошептал дед.

– Ты не горюй, дед, мы построим новый дом, посадим новый сад. – И, невесело глянув на погибшую птицу, Аркашка твердо сказал: – К тебе на крышу прилетят аисты, уж это я знаю... Прилетят.

– Жаль, упустили гадов, посмотри, что они тут наделали, – сказал дед, показывая на сгоревшее село. – Матреновку тоже спалили. Все сёла около леса, окаянные, пожгли.

Аркашка услышал слезы в голосе деда, неловко погладил его голову и тихо сказал:

– За людей наших, за наши сёла отомстим, крепко отомстим гадам.

Дед верил, что прогонят фашистов, село отстроят, и к нему, Трофиму, прилетят аисты, и ждал их. Очень ждал, и вот они прилетели.

Яков Соколов

ГОРОД ДЯТЬКОВО НАЗВАЛИ ПАРТИЗАНСКИМ

(из книги «Партизаны Брянских лесов»)

В четвертом томе «Истории Великой Отечественной войны» сказано: «14 февраля 1942 года партизаны заняли город Дятьково и во всём Дятьковском районе восстановили Советскую власть».

Как это было? В январе 1942 года части 10-й армии западного фронта освободили Людиново и Киров в соседней Калужской области. Партизаны с армейской разведкой попытались захватить Дятьково, но силы были неравны. Подоспело немцам и подкрепление из Брянска. Включилась в борьбу вражеская авиация.

Но партизаны Дятьковского района во взаимодействии с подразделениями 330-й стрелковой дивизии пробили «окно» в немецкой обороне. Оно получило название «Кировский коридор». Проникая по нему, армейские подразделения совместно с партизанами, проводили рейды в тылу врага. Было занято несколько посёлков и сёл. Потом партизаны вошли и в Дятьково, потеснив вражеский гарнизон. Почти четыре месяца над районом реяло Красное знамя.

«Рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, служащие и интеллигенция, приступайте к восстановлению всего хозяйства, разрушенного фашистскими бандитами, восстанавливайте нашу счастливую жизнь», – говорилось в обращении районного Совета депутатов трудящихся и райкома ВКП(б), напечатанном в первом номере возрождённой газеты «Фокинский рабочий».

Все партизанские отряды объединились под началом штаба по обороне Дятьковского района. Было объявлено военное положение. Во всех рабочих посёлках, сёлах, деревнях созданы вооруженные отряды самообороны, комендатуры. Минные поля, завалы и сторожевые посты прикрывали дальние и ближние подступы. На узкоколейке курсировал отремонтированный бронепоезд.

Восстановленные районные органы управления наладили работу радиоузла, телефонной связи с сельскими советами. Типография выпускала газету. Открылась больница, сберкасса, почта, заработал колбасный цех и пекарня. Был оборудован и аэродром для приёма самолётов с Большой земли.

В Дятьково прилетели журналисты из «Красной звезды» и «Правды». Специальный корреспондент» М.А. Сиволобов писал в газете «Правда» за 21 мая 1942 года: «Мы ходим по улицам города, который расположен далеко за линией фронта в тылу врага. В городе живёт несколько тысяч советских людей и нет ни одного немца. Фашисты хозяйничали тут четыре месяца. Потом пришли партизаны и с треском вышибли их из города. По понятным причинам мы не можем назвать настоящего имени города. В уличных боях партизан с бандами фашистов город получил боевое крещёние. Мостовые улиц обильно политы партизанской кровью – назовём этот город Партизанск».

М.А. Сиволобов опубликовал в сорок втором году более десяти очерков о героической борьбе дятьковцев.

На Большую землю специальный корреспондент газеты «Правда» Михаил Сиволобов увёз письмо на имя И.В. Сталина. Под ними стояло 18852 подписи партизан, рабочих, колхозников Дятьковского района. Они рассказывали о своей борьбе с врагом, о верности Родине.

«Всё, что требуется партизанам, – хлеб, картофель, мясо и другие продукты, – говорилось в письме, – мы обеспечиваем… Будем

проводить сев на колхозных полях и завоюем богатый урожай».

Для немецкого командования Партизанск был хуже кости в горле. И оно 6 июня 1942 года предприняло наступление. На партизан были брошены регулярные 393-я и 391-я дивизии при поддержке танков, артиллерии и авиации. Против такой силы народные мстители устоять не могли и ушли в лес.

«Первый метод уничтожения партизан, так называемые «прочески» леса, гитлеровскому командованию не удался и обошелся очень дорого», – пишет в сообщении командующему и военному совету Западного фронта командир сводного партизанского отряда майор Орлов и батальонный комиссар Козлюк.

Далее говорится, что немцы предприняли второй их излюбленный варварский метод уничтожения партизан – уничтожение материальной базы партизан. Заняв населённый пункт, сжигали постройки, уничтожали все продукты и имущество колхозников, забирали их скот, жителей сгоняли в свои гарнизоны. Колодцы, подвалы, землянки взрывали. В сообщении отмечается, что каратели уничтожили все населённые пункты от Десны до Болвы, за исключением Дятьково и – частично – поселков Старь, Бытошь, Любохна, Ивот, где немцы держат большие гарнизоны.

Десятки и сотни семей партизан были зверски замучены и расстреляны, многие мирные жители увезены в Украину, Прибалтику, Германию.

Партизанское движение, несмотря на это не только не ослабло, а наоборот – усилилось.

Родина по достоинству оценила героизм партизан и населения. Город Дятьково награждён орденом Отечественной войны первой степени.

ПОД ОТКОС ЛЕТЕЛИ ЭШЕЛОНЫ

На основе архивных документов, дневников и воспоминаний партизан дана здесь основная хроника действий народных мстителей на железных дорогах.

12-15 сентября 1941 года недалеко от посёлка Мизиричи Клинцовского района группой партизан из 12 человек под командованием Кузиченко уничтожена штабная машина. Убито пять немцев, захвачено два «Парабеллума», два «Вальтера» и одна винтовка.

20 сентября 1941 года около разъезда Коробыбнич группа партизан в 16 человек под командованием Матюхина и при содействии группы железнодорожников во главе с жителем Унечи Арефьевым минировала полотно железной дороги, в результате чего сброшен под откос бронепоезд (4 бронеплощадки и бронепаровоз). Убито много немцев (количество не установлено).

28-29 августа 1941 года в Клетне партизанский отряд под командованием Глебова уничтожил 3 бронемашины противника. Особо активно действует партизан-железнодорожник Катамин Иван Иваныч, который три раза подорвал полотно железной дороги и железнодорожный мост.

Из оперативно разведывательной сводки штаба 13-й армии Брянского фронта:

Февраль 1942 года. Партизанский отряд под командованием Филиппа Стрельца успешно разгромил вражеский гарнизон на станции Палужье. В бою были сожжены вагоны с грузом, убито свыше 50 гитлеровцев. В этом бою погиб и командир.

Из Книги Памяти Брянской области Т.12

27 марта 1942 года во время засады у железнодорожного моста через реку Кукоренка между железнодорожными станциями Синезёрки – Стяжное убито 10 немцев из железнодорожного транспортного батальона

Из донесения командира партизанского отряда «Смерть немецким оккупантам» Навлинскому районному штабу о боевых операциях с 27.12.1941 по 22.8.1942

30 апреля 1942 года получены данные из штаба объединённых партизанских отрядов под командованием товарища Емлютина.

28 апреля южной группой отрядов проведена крупная операция, в результате которой партизанами заняты крупные населённые пункты. Разгромлены 46, 51 и 32 венгерские батальоны. Захвачены трофеи.

На железнодорожном участке Пигаревка – Хутор Михайловский партизанами взорван железнодорожный мост и сожжено 10 вагонов. Дорога контролируется партизанами

Из сообщения Орловского обкома ВКП (б) в ЦК ВКП (б)

Май 1942 года. Замечательные люди в отрядах борются с врагом, не щадя своих сил и жизни. Несколько примеров.

В конце марта боец Навлинского отряда – мастер по диверсиям товарищ Ижукин заминировал железнодорожное полотно в районе станции Палужье. Шедший поезд в 47 вагонов пошёл под откос.

Тот же Ижукин (Навлинский отряд) 5 мая положил в лодку 250 кг тола и снаряженную таким образом лодку направил по течению к мосту на станцию Синезёрки через реку Ревну. Расчет был таков, что только лодка подойдет к мосту, содержимое в ней взорвется и выведет мост из строя. Но лодка, не дойдя несколько метров до моста, натолкнулась на ледокольные сооружения и взрыв произошел в 10-12 метрах от моста. От взрыва моста немецкая охрана полетела в воздух…

Из доклада начальника 4-го отдела политуправления Брянского фронта начальнику политического управления фронта А.П. Пигурнову о героизме партизан

Май 1942 года. В ночь на 23 мая на магистрали Гомель – Брянск (участок Выгоничи – Красный Рог) партизаны Трубчевского, Выгоничского и некоторых других районов уничтожили 7,5 км железнодорожных путей. В операции участвовало 920 партизан.

Из Книги Памяти Брянской области Т.12

За период с 1 по 7 июня 1942 года партизанскими отрядами, действующими в районе Брянска, уничтожено три воинских эшелона противника: первый – в составе 44 вагонов, одной цистерны с авиабензином и живой силой противника. Второй – в составе трёх класных вагонов с карательным отрядом. Третий – в составе трёх паровозов и 54 вагонов с войсками.

Из оперативной сводки Центрального штаба партизанского движения о боевых действиях партизан Брянского фронта 17 июня 1942 г.

Партизанским отрядом Орлова, действующим в 45 км. северо-западнее Брянска за май пущено под откос 8 эшелонов (232 вагона) с авиамашинами, танками, боеприпасами и живой силой противника.

Из оперативной сводки Центрального штаба партизанского движения о боевых действиях партизан Западного фронта 29 июня 1942 г.

29 июня 1942 года группой партизан из отряда «Смерть немецким оккупантам» под руководством политрука товарища Береснева на участке Выгоничи – Почеп был пущен под откос воинский эшелон с живой силой, техникой и боеприпасами.

Паровоз опрокинулся и завалил оба пути. 16 классных вагонов разлетелись в щепки, убито до 200 человек немцев.

29 июня 1942 года группой партизан в 23-30 человек под руководством товарища Бляхмана на участке Брянск – ст. Палужье был пущен под откос воинский эшелон с танками, бронемашинами и живой силой. Состав обстрелян из двух пулемётов. Два вагона загорелись.

29 июня 1942 г. группа из отряда имени Чапаева обстреляла воинский эшелон в районе Колигаевка – Клюковники и подорвала полотно в шести местах.

Из оперативной сводки командования партизанских отрядов Навлинского района о боевых действиях партизан 30 июня 1942 г.

Июнь 1942 года. По данным командира партизанского отряда Воронцова на железной дороге Гомель – Брянск усилено движение паровозов – ежедневно проходит до 50 составов, ранее на этой дороге отмечалось движение 15-20 составов.

Дорога усиленно охраняется немцами. Через каждые 200 метров поставлены часовые, между которыми курсируют велосипедисты с автоматами, вдоль дороги построены дзоты.

Двумя подрывными группами, высланными отрядом (Ромашина и Дуки), 15.6.1942 г. на участке железной дороги Брянск – Гомель пущен под откос воинский состав, груженый танками и автомашинами; 19.6.1942 г. пущен под откос второй состав с живой силой противника, оба состава сгОрёли.

Из оперативной сводки Центрального штаба партизанского движения о боевых действиях партизан Брянского фронта25 июня 1942 г.

Июль 1942 года. В результате разведывательных данных партизанских отрядов наша авиация успешно бомбила отмеченные ими объекты. Так, например, 11-12.07.1942 года наша авиация успешно бомбардировала важные объекты на станции Брянск – I и Брянск – II.

В одном из Московских архивов хранится донесение Брянского штаба партизанского движения при Военном совете Брянского фронта Центральному штабу партизанского движения. В документе сообщается об итогах боевой деятельности партизан за июнь-июль 1942 года. Приведу из него лишь некоторые данные:

В ночь на 9 июля 1942 года на Орловской железной дороге в районе Белых Берегов взорван и уничтожен воинский эшелон из 28 платформ с танками, 10 платформ с артиллерией, 4 вагона с живой силой.

В ночь на 14 июля по железной дороге Брянск – Москва на перегоне Козёлкино пущен под откос эшелон, состоящий из 40 вагонов.

15 июля в 3.00 на железной дороге Брянск – Орёл на перегоне Белобережская пустынь взорван воинский эшелон, шедший из Брянска на Карачев. Эшелон состоял из 45 вагонов с боеприпасами. От детонации взрывы продолжались в течение 40 минут.

22 июля на участке железной дороги Брянск – Зикеево пущен под откос воинский эшелон, состоящий из 40 платформ-вагонов с танками, автомашинами, транспортом, тракторами и живой силой.

24 июля на железной дороге Брянск – Орёл взорван паровоз и два вагона с живой силой.

Учитывая стратегическую важность Брянска и его разветвленную железнодорожную сеть, сюда для рельсовой войны перебрасывали и другие партизанские отряды, засылали диверсионные группы. С лета 1942 года возле Брянска вела разведывательную и диверсионную работу группа, переросшая в партизанский отряд имени Дзержинского. В сборнике «Ты помнишь, товарищ?», выпущенном Приокским книжным издательством в 1966 году, опубликован дневник его командира полковника запаса Л.М. Корчагина.

Сошлюсь на те места, где речь идёт о диверсиях на железной дороге.

18 августа 1942 года. Ночью заминировали и подорвали на железной дороге около разъезда Стяжное телеграфную и телефонную связь, заминировали железную дорогу на этом же участке.

На нашу мину наскочил бронепоезд противника, идущий из Брянска на Навлю.

19 августа. Сарычев и Долгих вернулись с операции на участке Брянск – Гомель. Они ходили вместе с группой Морозова Н.А. и заминировали железнодорожное полотно.

21 августа. Получил сведения, что группа при участии Сарычева и Долгих, которая 19 августа заминировала участок Гомельской железнодорожной дороги, подорвала воинский эшелон.

26-28 августа. Петров, Сарычев и Долгих на линии железной дороги Брянск – Гомель в двух местах заминировали дорогу. На одной из мин подорвался контрольный поезд, который немцы обычно пускают впереди эшелона. Кроме того, наши партизаны подорвали техническую связь на железной дороге. Я с ударной группой вышел на посёлок Торфяной, что около разъезда Свень.

4 сентября. Вышли к линии железной дороги, остановились от неё метрах в 200. Наблюдаю за поведением немецкой охраны.

Прошло несколько минут с тех пор, как мы установили мину. И вдруг тишину прорезала пулемётная очередь. Оказывается, Васю Долгих заметили с паровоза идущего поезда в тот момент, когда он взбирался на насыпь.

Скупые строки донесений, краткие записи дневника. За ними подвиг тысяч партизан. Ни днём, ни ночью нет покоя врагу. Битва на магистралях перерастала в рельсовую войну.

Галина Солонова

ПАМЯТНИКИ ИЗ СЕНА

Июль тысяча девятьсот шестьдесят третьего года выдался жарким, без дождей. Скошенная трава, несколько раз переворошённая конными граблями, была готова к стогованию.

Андрей Иванович, бывший брянский партизан бригады имени Щорса, работал в своём родном колхозе «Свобода» со дня окончания войны. Не чурался никакой тяжёлой работы. А пора стогования для него все эти послевоенные годы – это особая ответственная пора…

Мужики стоят поодаль, курят самокрутки, молча наблюдая, как Андрей сам выбирает место для первого стога. Он озирает луг, потом долго всматривается в лесной массив за рекой Десной, и, наконец, взгляд его устремляется в сторону Голубого моста. Все колхозники знают, что Андрею сейчас мешать нельзя. Он сам устанавливает одонок, сам наворачивает на него, никому не доверяя, первые пласты сена. С любовью и прилежностью, как скульптор ваяет своё любимое детище, так и Андрей начинает создавать двухметровое сооружение, называя его постаментом. Он обходит вокруг, заботясь о том, чтобы оно было строго округлым, любовно приглаживая и счёсывая граблями лишнюю сухую траву…

Наконец кто-то из мужиков подставляет лестницу, и Андрей, стараясь аккуратно ставить свою изуродованную ранением ногу на ступеньку, взбирается наверх. Уже с этой двухметровой высоты ему хорошо видны на мощных опорах три тёмно-голубые громадных размеров серебристые фермы моста, которые полудугами смыкают берега Десны.

Стоя в центре будущего стога, Андрей принимает ворохи сена, которые подают ему на вилах трое мужиков. Он аккуратно распределяет их по всей площади, утрамбовывая своим весом, прессует, следя за строгостью формы и красотой линий. Все знают, что Андрей не стог складывает, а строит памятник одному из своих товарищей – партизану, погибшему в районе Голубого моста.

Руки, ноги Андрея делают свою работу, а мысли утекают назад, в двадцатилетнюю давность. Он помнит, с какой тщательностью немцы охраняли этот наш захваченный мост в начале октября тысяча девятьсот сорок первого года. По нему день и ночь шли вражеские эшелоны с живой силой и техникой для подкрепления частей. Мост был особенно важен для обеспечения снабжения второй танковой армии генерала Гудериана и быстрого продвижения Вермахта вглубь советской территории.

Андрей никогда не забудет, как впервые в составе группы он со своим закадычным другом детства Серёгой пробирался в район, прилегающий к мосту, около станции Выгоничи. Было это восьмого марта тысяча девятьсот сорок второго года. Вооружённые, в том числе и тяжёлым пулемётом, партизаны тогда потерпели неудачу. Подгоняемый густым мартовским ветром, тащил Андрей на себе своего раненого друга назад, в лес.

Как партизаны радовались и надеялись на бомбардировки моста нашей авиацией! И как огорчались известию об их безрезультатности. Целый год подпольщики действовали в лесах к югу от Брянска. Много фашистов и немецкой техники было уничтожено, но разрешения начальства вновь атаковать Голубой мост не было целый год, так как новая атака могла бы принести неоправданные огромные потери людей…

Раскладывает Андрей сено, определяя своим точным глазомером, с какой стороны больше, с какой меньше уложить. А сам будто заново переживает события начала марта сорок третьего, когда партизаны усиленно готовились к предстоящему нападению на охрану моста…

Партизанские группы в пургу и ветер пробирались на плацдарм, занимавший болотистую местность к северу от железнодорожного моста. Под нависшими над Десной тучами другие партизаны пересекали замёрзшую реку, чтобы атаковать мост с запада. Тре-

тья часть партизан совершала нападение с северо-восточной части. Все тащили на себе морозной ночью килограммов по двадцать пять-тридцать взрывчатки по обледенелой насыпи. О том, что невыносимо тяжело, даже подумать было стыдно: ведь рядом Тоня Карзыкина, хрупкая семнадцатилетняя девушка, тоже несла на своих плечах двадцать килограммов тола…

Поднимает голову Андрей, опять смотрит на мост, который поражает своей неприступностью. Все эти двадцать лет часто слышались ему звуки пулемётов и миномётов. Тогда на его юго-западной оконечности вёлся поддерживаюший наступление огонь. «Ура– а–а», – кричали партизаны, подхватывая снова и снова это спасительное слово. Вооружённые пистолетами-пулемётами, неожиданно для немцев атаковали мост. Приблизились вплотную к охране и сбили с ног немецких солдат, находившихся на железнодорожной насыпи….

Добротный получился стог: плотный – никакой ветер и ливень не смогут его повредить. Любуются мужики его идеально правильной формой, его величием – семиметровая макушка торжественно возвышается над полем, рекой.

— В том бою получил смертельное ранение командир немецкой роты капитан Пампус – туда ему дорога: в гости я его не звал, – печально говорит Андрей, опираясь на грабли. – Но в том бою погиб мой друг Серёга. Как сейчас, помню взмах его рук и стремительное падение навзничь. Его тело скатилось вниз с насыпи, – глаза Андрея увлажняются, голос дрожит. – Этот памятник из сена я посвящаю ему – Серёге.

Андрей Иванович склоняет голову. И все мужики, как по команде, снимают свои выцветшие от солнца и дождя кепки и замирают на минуту в молчании, отдавая дань памяти другу Андрея…

За полторы последующие недели Андрей со своими товарищами-колхозниками кладут остальные стога-памятники. Каждому присваивается имя одного из пятнадцати погибших и троих пропавших без вести в бою за Голубой мост.

Последний стог располагается совсем близко у моста. Андрей обычно посвящает его женщине – Татьяне Савченковой, которая после допроса немцами, умерла вечером восьмого марта сорок третьего года…

Работа почти закончена: осталось только завершить стог. Устали мужики. Решили передохнуть. Подложив под головы свои кепки, улеглись на душистую траву, давая отдых уставшему телу. Андрей, не спускаясь со стога, зажав в руках грабли, расположился на его вершине, устремив свой взгляд в голубую бесконечность. Солнце спускалось за горизонт. Кругом тишина, только прилетевшая невесть откуда сорока, села поодаль на куст орешника и торопливо застрекотала. Все задремали…

Неожиданно подул ветер. Небо потемнело, раздались раскаты грома. Андрею сквозь дремоту почудилось, что немцы наступают. Он вскочил, выставил, как автомат, перед собой грабли, с криками «Ура-а-а, ура-а-а!» ринулся вперед…

Мужчины, приподняв тело своего товарища, осторожно прислонили его к стогу. Андрей, приоткрыв глаза, едва слышно прошептал:

— Ребята, я помню вас. Я иду к вам.

Выстроились все восемнадцать стогов-памятников вдоль берега реки, как солдаты в строю, охраняя мир и покой на Брянской земле! Стояли они непоколебимо в летнюю жару, осеннее ненастье и зимнюю стужу до самого марта. И все в округе знали, что это не просто стога, это – стога-памятники погибшим героям.

С той поры прошло немало времени. Возле железнодорожного Голубого моста установлен гранитный монумент, достойный подвига партизан. Открылся он в канун Дня партизан и подпольщиков, который Брянщина и вся Россия впервые отметила двадцать девятого июня две тысячи десятого года.

Иван Сорокин

* * *

Война грохотала, катилась,
И вот он – решающий бой!
Второе дыханье открылось
У наших солдат под Москвой.
Они в эти дни огневые
В жестоком, кровавом бою
Со всей глубиною впервые
Поверили в силу свою.
И знали – она не угаснет!
И с этою верой народ
Одержит победу,
и праздник
На улицу нашу придет.

* * *

Год сорок первый был таков:
Надежды и сомнения,
И колебание верхов,
Слепые заблуждения.
И в том году переплелись
Большой войны явления:
Трагедия и героизм,
И горечь отступления.
Не станет легче оттого,
Найдут коль виноватого.
Тот год погиб….
Но без него
Не было б сорок пятого.

* * *

В кабинетной тиши написали немало
О войне, поднимая архивную пыль.
Этот так, этот сяк,
аж бумага роптала,
А какая правдива военная быль?
Вы спросите о ней у простого солдата
(их сегодня все меньше и меньше в живых),
Как ходил он в атаку с саперной лопатой,
Потому что винтовка была на двоих.
Тот, кто насмерть стоял,
под Москвой, Сталинградом,
Где нельзя было выжить
в том адском огне,
Кто ходил напролом,
значит так было надо,
Тот лишь знает всю правду
о страшной войне.

* * *

Война свалилась, словно снег.
Час нападения – проспали.
Врагу сопутствовал успех,
Мы отступать не успевали.
Он был коварен и жесток,
Судьба решалась: или - или,
На запад повернул восток,
Мы, умирая, победили.
Не всё написано пером.
Уходит время – кто напишет?
Высок победы нашей гром,
Но гром потерь намного выше.

Владимир Сорочкин

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Всё дальше от нас день победной весны,
Навек озарённой немеркнущей славой,
Но снятся, как прежде, военные сны
Бойцам – победителям в битве кровавой.

Улыбки вокруг и букеты цветов.
Мы помним о ныне живущих и павших.
Их подвиг во имя грядущих веков
Набатом в сердцах отзывается наших.

Пусть светится май и плывёт синева
Над новою жизнью, над радостным миром.
С тобою, Россия, твои сыновья,
Вознёсшие знамя своё над Берлином.

Пред Вечным огнём преклонённый стою.
Спасибо героям за мирные наши рассветы!
Уходят в бессмертье, оставшись в строю,
Солдаты Великой Победы.

МАТЬ

Старушка пыль устала протирать,
Предметы поднимать, перебирать,
Присела, онемев от тишины.
И вдруг упала рама со стены.

Стекольным звоном кончено пике,
И распростёрся на половике
Её сынов желтеющий портрет
Из фотографий довоенных лет.

И ею с плачем поднят из руин
Осколком рассечённый старший сын,
И, вытирая слёзы кулачком,
Берёт других, положенных ничком.

Всех собирает вместе за столом,
И выправляет каждый перелом,
И гладит раны глянцевые тел,
Глядит, как шнур на раме перетлел.

Сметает бой к остуженной печи,
Скрипит калиткой в пасмурной ночи,
Стучит впотьмах в соседское окно,
Чтоб ей мужчина вырезал стекло.

* * *

Воздушный бой суров и грозен.
Уходят «мессеры» в пике.
И снова: «В воздухе Камозин!» –
Звучит на вражьем языке.

И вновь – не думая о славе,
Он ищет цель и сеет страх,
И нету асам из люфтваффе
Пощады в русских небесах.

Леонид Сошин

9 МАЯ

Праздник русского духа
Праздник русских знамён,
Многозвучное эхо
До последних времён.
Этот праздник нетленен
Навсегда, на века.
В нем судьба поколений,
Бед и славы река.
Он для русского слуха,
Как молитва в ночи.
В нём бессмертье эпохи,
Не смолкая, звучит.
Через муки и скорби,
Через боли потерь.
Ко Всевышнему в небе –
Нам открытая дверь!
От забвенья порукой
В русском сердце живут,
Наши Сталин и Жуков,
И Победы салют!

Григорий Стафеев

МЫ ТЕРЯЛИ ДРУЗЕЙ

Вы теряли друзей в тяжкий час? Никогда
И ни с чем не сравнится такая беда.
Небо рвалось в куски, и горячий металл
Землю с грохотом яростным рвал и метал.
Захлебнулась атака... Опять залегли,
Чтоб, момент переждав,
вновь взметнуться с земли.
Только друг мой, чуть-чуть от меня поотстав,
Странно сунулся в рожь,
руки врозь разбросав.
Солнце, дрогнув, померкло, стемнело вокруг,
Жаркий полдень обдал
тяжким холодом вдруг...
Как же буду я жить без тебя, дорогой?
Все делить пополам мы поклялись с тобой,
До победы дойти сговорились вдвоем...
А теперь – за двоих, за двоих день за днем,
В зной и холод тяжелым я шагом иду,
Не делю пополам нашу злую беду.
Мы теряли друзей в тяжкий час... Никогда
И ни с чем не сравнится такая беда.

Дмитрий Стахорский

Матерям детей войны посвящаю

ОБОЖЖЁННАЯ ПАМЯТЬ

Бомба упала во дворе. Это был не просто гром, это потрясение было, дом зашатался, посыпалось что-то на пол, показалось – потолок падает, и мама метнулась к Гошкиной кроватке, закрыла Гошку собой. Шевелился дом огромный – падать, не падать? – устоял, не упал. Я, трёхлетний, сидел в углу оглушенный, молчал, не плакал, а Гошка, как выяснилось потом, успел испугаться. Даже, наверное, не испугаться – что он понимал, годовалый! Сотрясён был грохотом, что-то сместилось в организме, не было еще закалки жизненной. Сломался малыш. Припадок...

Врач был знакомый, хороший врач. Тоже ведь собирался в эвакуацию, на баулах сидел, на чемоданах, а позвала – прибежал, торопясь, она понимала – не до того ему, но позвала всё-таки, а он – не прибежать не смог: друг семьи, обоих нас с Гошкой в роддоме принимал. У них тоже там бомбили уже, на Клочковской упала бомба в тот самый, наш с Гошкой, роддом, мало кто остался в живых, и семья его, кажется, уже на вокзале была, вот-вот поезд уйдёт, но он прибежал.

— Тронешь, – сказал он, – точно умрёт. Младенческое это. Родимчик. Объяснять долго, одно скажу: тронешь – умрёт. Два, три дня покоя. Минимум. Если больше бомбить не станут – может выжить. Но никакой дороги не выдержит. Решай сама.

И она решила. Когда подъехала машина с театральным реквизитом и батя, взмыленный, взбежал на этот третий этаж (о, как он запомнился мне потом, этот третий этаж!) и кричал: «Давай быстренько, ничего не бери, только детей! Они уже на Холодной Горе!» она сказала: «Нет. Никуда не поеду. Мы остаёмся здесь».

Он не понял. Он долго ещё не мог понять, что это – бесповоротно. Впрочем – как долго? Секунды были, даже не минуты, чтобы схватить всё, что под рукой, детей в охапку и бегом, бегом, полуторка у подъезда, он сказал шофёру: «Не глуши, я сейчас!», а она – «Не поеду!». На нём – эвакуация театра, с него, помрежа, весь спрос, время суровое, расстреляют, если не успеет вывезти театральное это хозяйство, достанется немцам, а она – «Не поеду»!

— Ну, Димку хотя бы! Димку возьму!

— Нет.

Он не смог за эти минуты ни понять до конца, ни убедить. Он спасал театр, людей, ему доверенных, он долг выполнял.

Он уехал без нас.

Немцы окончательно заняли город через два дня.

* * *

Гошка выжил. Он слабенький был, часто потом болел, но этот «родимчик» больше никогда не повторялся. Нам предстояло пережить войну, и нам это удалось – вопреки всему, благодаря маме.

Детская память – избирательна. Что-то помнится долго, даже не так уж важное, что-то забывается легко, а что-то врезается навеки, не изъять из сознания…

Третий этаж…Он запомнился мне первой в жизни болезненной взбучкой, полученной от мамы в самое голодное время харьковской оккупации.

Мама уходила в город за едой, и мы целыми днями были одни в этой квартире на третьем этаже. У соседей тоже были дети, и была та же проблема – их накормить, и их тоже матери оставляли надолго одних. Мы подружились с этими ребятишками, собирались вместе у нас или у них, и занимали себя как могли.

В тот день играли у нас, и кто-то из гостей, любопытствуя в чужой для него квартире, наткнулся на семейный наш старинный сундучок, в котором мама хранила…муку. Эта серая невкусная мука была последней надеждой, она выручала нас, когда не было другой еды – мама пекла из неё лепёшки, и мы хоть как-то были сыты. В этот раз кто-то из соседских малышей придумал забаву – сыпать муку с балкона и смотреть, как летит она вниз, на нижний балкон, на тротуар, на головы про-

хожих. Всем понравилось такое занятие, и мы горстями черпали эту муку, бежали на балкон и сыпали, сыпали её вниз, пока она не кончилась в сундучке…

Мама порола меня ремнем и рыдала в голос. Я визжал от боли, Гошка ревел за компанию, и тогда, как я сейчас понимаю, впервые явственно обозначилась перед нами перспектива голодной смерти…

* * *

Уходя на поиски еды, мама иногда брала меня с собой, оставляя Гошку у соседей. В этот раз мы уже возвращались домой, и я знал, что мы идём не пустые, мама несёт в кастрюльке какую-то еду, и хотелось поскорее попасть домой. Но мама сказала, что нужно зайти к тёте Лёке, проведать её. Это была какая-то двоюродная родственница, жила одна, и мама опекала её, подкармливая, как я сейчас понимаю, по возможности.

Мы опоздали. Тётя Лёка сидела в старом ободранном кресле – мёртвая. Мама потрогала, сказала: «Ну всё. Тёти Лёки нету уже».

– Как нету? – спросил я.

– Умерла. Кушать хотела, – сказала мама.

– Так у нас же есть, – я указал на кастрюльку. – Дай ей, пусть покушает.

– Ей уже это не нужно, – сказала мама. – Пошли домой.

И мы пошли домой. Там Гошка был голодный, и я был голодный, и мама, как я сейчас понимаю, тоже. Её принесли однажды соседи, без сознания, совсем мёртвую почти, и ругали, помню:

– Дура! Они же подохнут, если тебя не будет. Ты должна есть хоть что-то, иначе ни тебе, ни им не выжить!

И она пыталась. Она делила на три части, что удалось добыть из еды, раскладывала нам и уходила на балкон, чтобы свою долю без свидетелей съесть. Но – не успевала. Мы съедали мгновенно своё и упирались носами в стекло, и она уже не могла доедать, что осталось, нам отдавала. И опять приносили её соседи в голодном обмороке, и ругали, и она соглашалась: «Да, да. Я понимаю. Я постараюсь. Я больше не буду»…

* * *

Гошка – маленький, совсем тогда маленький, рахитом болел, и животик пух, ножки кривились, мама говорила мне: «Ты большой, а он маленький, ты – старший брат».

Я так и остался до последних дней его жизни – старшим братом. Он, младший, умер, не дожив до шестидесяти. Я ещё живу. Возможно, это несправедливо. Впрочем, не мы определяем на этой земле, что справедливо, что нет. Не мы – кому жить до ста, а кому и в тридцать, а то и раньше, навеки уходить в другое измерение. Но память… Память остаётся здесь. И она беспощадна…

В эту квартиру на третьем этаже мама какой-то суп принесла. И ушла, новую еду добывать. А я, старший, четырёхлетний, оставлен был за младшим, Гошкой, блюсти.. Он проснулся, кушать просил, я дал ему похлебать этот суп, и косточка была там, и даже с мясом чуть-чуть, и он просил её, эту косточку, обглодать, а я сказал: «Это маме». И Гошка не стал больше просить, и уснул. А я… обглодал её сам. Я и вправду хотел тогда оставить эту косточку маме, я слышал, как ругали ее соседи за то, что она всё нам отдаёт, и хотел ей оставить, хотел, но не удержался. Гошке не дал, а сам…

Если это так жгуче запомнилось, значит уже тогда, в четыре года от роду, я понимал, что это – подлость. И лежит пудовым булыжником в душе моей эта давняя вина перед братом, вина, которую я пытался потом загладить всю жизнь. Я очень хотел в полной мере оправдать перед Гошкой высокое это звание – старший брат. Мама всегда была занята на нескольких работах, чтобы нас прокормить, мы оставались вдвоём, и это было не только в войну, но и потом, в мирной жизни уже. Я заступался за него в детских потасовках, пытался примером своим привлечь его в спорт, в чтение книг, в романтику дальних странствий… Что-то удалось, что-то нет, но я старался.

В послевоенном голодном Харькове во главе ватаги местных огольцов я стрелял из воздушки воробьёв во дворах. На берегу городской речушки по имени Лопань, общипав

и проткнув тушки палочками, мы жарили их на костре и с аппетитом съедали. При этом я всегда поровну на всех делил добычу, и только Гошке неизменно оставлял двойную порцию. Никто не возражал. Гошка был самым маленьким и часто болел. А главное – он был моим братом…

* * *

Кто пережил в Харькове оккупацию, тот знает: были «первые немцы» и «вторые немцы» – дважды занимали они город, и дважды их оттуда вышибали. Первые немцы были долго, полтора года почти, и тогда, именно тогда было трудней всего – и тётя Лёка умерла тогда, и мы выжили чудом, маме это как-то удалось.

Разве можно коротким словом рассказать всё, что осталось в детской памяти от страшного этого времени? Всё – нельзя. Фрагменты только…

Вот – добыла мама где-то кусок макухи, нам принесла. Мы сосали, растягивая удовольствие, эту макуху и говорили, этого не забыть:

– Кончится война, и макухи будет – завались. Вот тогда наедимся!

Макуха – это жмых. Ею кормят скот. Но для нас тогда это было высшим пределом мечтаний – вволю макухи…

И всё-таки не только еда была главным условием жизни в это время. Не только. Мы лежали с Гошкой, укутанные, зимою 43-го, не топилось, конечно, в домах, было холодно, пар от дыхания. Однако кто-то подсказал маме, что без движения нельзя, ещё хуже будет, и она заставила нас, максимально одев, выйти во двор. Мы в голос ревели, не хотели двигаться, слабые были очень. Но она санки вынесла, катала нас сначала сама, а потом мы уж и разохотились, забирались на снежные горки и съезжали оттуда, и было уже интересно, уже не через силу. Может быть, и в этот день мы не умерли только поэтому…

* * *

Летом было полегче, но проблема добычи еды всегда оставалась главной. Особенно ярко помню один из таких походов за едой: мы идём с мамой по Сумской, это главная улица Харькова, и нам нужно пройти какой-то отрезок по ней, чтобы свернуть потом на свою, где живём, и это самый короткий путь. Доходим до большого белого дома, балконы на нём, и с балконов этих люди висят – головы набок, верёвки от затылков вверх, к перилам. Мама за руку торопливо тянет меня, я едва поспеваю ноги переставлять, бегу за ней. Впереди, по нашей же стороне – собака рыжая трусит деловито, и это мне интересно, хочется догнать её, погладить. Но мама вдруг дёргает меня в сторону, в ближайшую подворотню, и сразу же – бах, бах! – стреляют. По собаке стреляют с этих балконов люди в черной одежде, это я успеваю увидеть, и попадают, собака визжит – это я слышу, но уже не вижу, мама закрыла меня телом своим, лежим в подворотне на земле, и мне душно, но – интересно: и этих людей увидеть с пистолетами, и собаку…

Мне показалось – долго лежали так, и потом уже перестала скулить собака, а чёрные эти люди смеялись, громко и по-чужому, непонятно, выкрикивали что-то, а потом ушли с балкона внутрь, только те, с верёвками на шеях, висели в тишине. И тогда мы вскочили и побежали – не вперёд, как раньше хотели, а назад, откуда до этого шли, и обидно было, что собаку эту рыжую я уже больше так и не увидел.

Я не знаю, убили её тогда эти черные немцы или нет, но этот смех и язык их, чужой и страшный, на всю жизнь остался мне ненавистен. Потом, взрослым, я понимал конечно же, что язык не виноват, это великий язык Гёте, Цвейга, Гофмана и Ремарка, но уже с собою поделать ничего не мог. И даже через много лет, в сознательной уже взрослости, будучи мастером спорта по пулевой стрельбе, я брезгливо не любил безобидный профессиональный термин «шнеллер» (ускоритель спуска курка). Ну никак не хотелось мне слова такие иметь в обиходе…

Однако и другое было. Тогда же в Харькове стояла немецкая воинская часть, и полевая кухня была – высокая такая, на колёсах с бочкой, конструкция. И огромный рыжий немец в грязно-белом, рукава закатаны, мохнатые рыжие руки с большим черпаком, и мы, пацаны, за углом – ждём, когда очередь немцев в пилотках с зелёными котелками закончится, и тогда – наше время. Рыжий немец машет нам, кричит заветное слово «ком!», и мы бежим к этой бочке, к этому доброму немцу в белом колпаке, и он черпаком своим в наши кастрюльки плещет сказочную похлёбку. У меня был голубой кувшинчик, и я, как сейчас понимаю, какое-то время кормил семью – маму и Гошку. Но, конечно, этого недостаточно было, и однажды мама Гошку взяла на руки и пошла со мной, и так же, как все пацаны, ждала момента из-за угла, и по очереди среди детворы подошла к немцу этому с черпаком, и на меня, на Гошку указав, говорила: « Цвай киндер, цвай киндер»! И этот добрый немец вдруг недобрым стал, злым, и замахнувшись на неё поварёшкой, кричал «Вэк! Вэк!» и прогнал из очереди. На всю жизнь запомнил я униженный мамин голос: «Цвай киндер, цвай киндер», и, наверное, ещё и поэтому языка этого не люблю. Пусть простят меня немцы. Пусть простят.

Много лет спустя, очень много лет спустя, я был руководителем туристической группы воркутинских шахтёров в Болгарии. Нам отвели на пляже в «Слынчев Бряге» пять «грибков», под номерами, как принято было в то время (не знаю, как сейчас). Я привёл группу, под четырьмя грибками расположились мои и уже купаться пошли, а под пятым лежала толстая фрау и наглый её кавалер, который не собирался извиняться и уступать и твердил «нихт фэрштэйн, нихт фэрштэйн». Вот тогда опять проснулась во мне эта детская ещё, упрятанная годами ненависть к языку, который ни в чём не виноват. Подошли шахтёры мои, воркутинские ребята могучие, и только ждали команды эту фрау вместе с этим фраером выбросить в море – как можно дальше. Этот фриц не виноват ни в чём, кроме наглости своей, он был моложе меня, и не знал, разумеется, сколько сто́ит между нами глубочайших жизненных несоответствий. Корни их были там – в Харькове, в сорок втором, в детстве моём, в этих повешенных людях на Сумской, в этой рыжей собаке, расстрелянной из парабеллумов – просто так, ради развлечения, со смехом азартным.

Какое поколение способно всё это осудить или простить? Я не знаю…

* * *

А когда выбили первых немцев из Харькова, мама собрала нас и увезла в Лебедин – там жили родственники, очень дальние, но всё же люди не вовсе чужие. Этот городок в Сумской области – родина её, она родилась и выросла на берегах маленькой речки Псёл в селе по имени Кулики.

Этим родственникам мы, два лишних детских рта, были обузой, но мама хотя бы могла нас оставить у них, пока ходила по деревням, меняя оставшиеся вещи на еду. Было очень плохо без неё, чужие были мы этой родне, и помню, как плакал я от счастья, когда увидел маму, вернувшуюся с этих многодневных менок. Загорелая до черноты, исхудавшая, с потрескавшимися губами, но такая родная – мама!

Этот Лебедин много раз бомбили – то наши, то немцы, смотря кто занимал город. И не только с воздуха. Немецкая батарея, очень крупнокалиберная, стояла где-то недалеко (говорили – «на Озацких горах», хотя какие там горы, холмы какие-то за городом, видимо, так называли). Немцы долбили по городу этими своими калибрами, и однажды попали в дом, где мы жили в комнатке у этих дальних родственников.

Начался этот обстрел, когда мама доваривала что-то в большой кастрюле. Еда в кастрюле всё никак не закипала, а уже рвались кругом снаряды, и она тянула, тянула время, но потом всё-таки побежали мы через двор в какой-то подвал, мама с этой кастрюлей и маленьким Гошкой под мышкой, а я следом, но замешкался, отстал, и они – мама и какие-то люди из входа в этот подвал кричали и звали меня, а я всё никак не решался проскочить от угла дома, где затаился, к ним туда, к подвальному входу, потому что гремело

вокруг и свистели осколки. Потом решился, проскочил, не задело.

А когда всё кончилось и мы вернулись – нашей комнаты уже не было. Снаряд попал в угол дома и разорвал его. Это и была как раз та комната, где мы жили, и гошкина кроватка торчала, раздавленная, из-под тяжёлого обломка кирпичной стены…

А потом уже не рвалось нигде, мы шли по городу с мамой, не знаю уж, куда и зачем, и у городской площади на перекрёстке лежала женщина. Кровь у головы и авоська чуть в стороне с двумя капустными кочанами. И люди вокруг неё, знакомые или соседи, говорили – дети остались дома, вышла на рынок еды купить, не повезло. Осколком убило в голову.

Она лежала, и кровь из-под головы на земле, на снегу, сгустилась уже. И эти капустные кочаны… Один выкатился из авоськи, лежал рядом. Я не мог отвести от него глаз, это была еда, которая уже как бы ничья, но всё равно недоступна, потому что это же её, мёртвой женщины, капуста…

Так и стоит перед глазами по сей день. В коричневом пальто, на боку, и ноги раскинуты в грубых серых чулках…

* * *

В сентябре 43-го мне было уже шесть лет, а Гошке – три с половиной. Он окреп, ножки выправились, хорошо говорил.

Мы играли с ребятишками во дворе и вдруг увидели людей во всём белом с автоматами на груди. Мы не успели понять, кто эти люди, как услышали вдруг истошно-радостный женский крик:

– На-а-аши!!!

И даже до конца не понимая, что случилось, по этому счастливому крику я почувствовал – радость пришла великая, эти мужики в белом – спасение.

Наши!

И мама, никогда до этого не видел её такой счастливой, выскочила во двор – в халате, в тапочках на босу ногу, подхватила нас с Гошкой в охапку и плакала, плакала, и целовала нас, и снова плакала, плакала…

И уже больше немцев не было никогда в моей жизни, до самой Болгарии в 78-м. Но то уже были другие немцы…

И война тоже для нас закончилась. То есть она всё ещё шла, целых полтора года шла, пока не победили, но нас уже не коснулась…

* * *

От отца из Чарджоу пришло письмо. Ему удалось тогда, в 41-м, проскочить со своим театральным грузовиком мимо немцев, он вывез реквизит и часть труппы, и в конце концов оказался в Средней Азии. Он просил нас приехать, но мама всё не решалась – через всю страну с двумя детьми на руках! Однако жить было не на что, и мы поехали. И жили там какое-то время, и я там в школу пошёл, и успел закончить первый класс с похвальной грамотой на туркменском языке.

И сюда, в этот городок, как тогда в украинский Лебедин, пришла великая радость – женщины, туркменские женщины выбегали во двор, и обнимались, и плакали, и кричали по-своему: Йенис! Йенис! Победа! И это была уже окончательная ПОБЕДА, это был май 45-го года…

Казалось, что кончилось время, когда каждый день нашей жизни маме приходилось отвоёвывать у судьбы. Но это только казалось. Послевоенное полуголодное детство нашего с Гошкой поколения всё ещё требовало от матерей огромного напряжения сил, и это понимаешь только сейчас.

И только теперь, когда я уже сам отец, и дед, и прадед, только теперь становится мучительно стыдно, что, скитаясь по тайге и тундре со своей профессией геолога, я подолгу не удосуживался отправить маме весточку о том, что жив-здоров, а она, как мне потом говорили соседи, не сводила глаз с почтового ящика и ждала, ждала этой весточки, как праздника…

* * *

… Я опоздал. Мама умерла в шесть утра, а я из своей Воркуты прилетел в восемь. Она лежала ещё в палате, на койке казённой, с заострённым, каким-то незнакомым лицом, и

я вместе с санитарами поднимал её, уже неживую, переносил на носилки, сопровождал в морг. Маму – в морг. Как во сне. В нереальности.

И нужно было осознать, что мамы больше нет, и уже никогда не будет.

И жить дальше…

Борис Файбисович

МОЙ ГОРОД

Мой юный друг!
Пройдем по площадям.
По улицам и кручам придеснянским.
Растёт он не по дням, а по часам
И вширь, и ввысь,
Наш город партизанский.
Лучится орден на его груди,
Он сплавлен прочно нашей общей славой.
Нам нечего делить — у нас одна держава.
Смотри, мой друг,
Смотри и примечай:
В его судьбе рабочей многотрудной.
Как в зеркале, увидишь отчий край,
Завидной доли праздники и будни.
Веками исчисляется наш стаж,
По нраву нам грядущего безбрежность.
Встал над Десной Российской чести страж,
Навеки присягнувший ей на верность.

Тамара Харитонова

СУББОТКА

Моему деду, павшему смертью храбрых

Тёлочка родилась в ночь на субботу, так и назвали её без особых раздумий – Субботка. Была она цвета топлёного молока, и по тёплой её шкурке шли рыжие пятна, как пенки на молоке в крынке, только что вынутой из печи. «Молочной коровой будет», – подумалось хозяйке. Так оно и вышло. Выросла тёлочка и стала справной коровой – статной, спокойной, ласковой и на диво удойной.

Она всё понимала, её никогда не приходилось подгонять хворостиной в стадо или вечером – домой. Шла сама, гордо неся полное вымя. А дома было кого поить парным молоком, кормить творогом, сметаной, маслом. Семья была по деревенским меркам не слишком велика, но всё же – семь Я – хозяин, хозяйка, пятеро детей. Была, конечно, в хозяйстве и другая живность – свиньи, овцы, гуси, куры. Но корова понятно, первое дело. Детей без коровы не вырастишь. И на Субботкином молоке дети наливались, что горошины в стручке – все крепенькие и ядреные, спокойные и трудолюбивые. Четыре девчонки и средний – мальчишка, наследник, будущий хозяин. Тот, как мужик, покушать любил, а особо любил парное молоко, и по этой причине на первом году жизни имел две складочки на животе, почему казалось, что не одно у него пузико, а целых три. Оттого и прозвали его – Трипузастик.

И всё было бы хорошо, но пришла беда. И сразу без стука вломилась в уютный крепкий дом. Нагрянул враг. Хозяину было поручено угнать на восток, подальше от фронта, колхозное стадо. Он и погнал с двумя подручными. Но коровы бредут медленно, а война катится быстро – обогнала она хозяина, и оказался он с колхозными коровами в окружении. По законам того времени оказаться в окружении – значило предать Родину. Но делать было нечего, кроме как вернуться домой. Вернулось стадо под вечер, как в те времена, когда возвращалось оно с пастбища. Освещённые закатным солнцем коровы медленно брели в клубах пыли вдоль деревенской улицы, утомленно опустив рогатые головы. Но не было в этой картине возвращения ни спокойствия, ни радости. Хозяйка, завидев вернувшегося мужа, вместо того, чтобы обрадоваться, заплакала, хотя была сдержанна до суровости, – деревенская жизнь не располагала к сантиментам.

«Что ж ты делаешь, отец? У тебя ж пятеро! Теперь на них позор ляжет!» — воскликнула она, одной рукой краем фартука утирая ненужные слезы, а другой держа за верёвку вернувшуюся с луга Субботку. «Я домой пришёл! Ну, что ж мне теперь – повеситься?» — в отчаянии

ответил хозяин. Субботка тоже не понимала, почему хозяин не мог вернуться в родной дом, если дорогу перегородил враг, но у людей свои представления о жизни. И отправили хозяина в штрафной батальон за предательство Родины и подведение колхозного стада под убой от руки вражеских снабженцев.

Так и осталась хозяйка одна с пятью детьми в оккупации. Это был постоянный страх и постоянная забота – как выжить? Хозяйскую живность постепенно «оприходовали» немцы, стоявшие постоем в избе – офицер со своим денщиком. Осталась Субботка. Корову не забирали, потому как немецкий обер-лейтенант молоко также любил. Хозяйка с детьми питались «гопиками» – лепёшками из мёрзлого картофеля, грибами, по весне собирали и варили сныть, крапиву, а то порой дети наловят в речке мелкой рыбки «плятухой» – большой корзиной из ивовых прутьев. Ну и ещё молоком. Подросший Трипузастик, оставшись одним мужиком в семье, «пошел на заработки». Как и что можно было заработать в то время? Наберёт в роще вязанку хвороста, идет к немцам: «Пан, гольц на кухню». За это давали какие-нибудь остатки от довольствия – чаще всего полкастрюли горохового супа.

Хозяйка, никогда не учившаяся языкам, сумела как-то договориться с денщиком – по хозяйству приходилось объясняться. Тот показывал ей фотографию своей семьи и рассказывал – наполовину жестами: «Их хабе фюнф киндер – у меня пятеро детей, а я на фронте, и у тебя фюнф киндер, и муж на фронте. За что мне с вами воевать?» – и порой совал банку с остатками топлёного масла, или угощал детей круглыми, похожими на таблетки, конфетами. Хозяйка не отказывалась – детей надо было вытаскивать. Получилось так, что денщик тот и спас Субботку, а с ней и всю семью.

Пришедши как-то вечером, тихо сказал в сенях хозяйке: «Прячьте корову – завтра по деревне последний скот забирать будут!». Субботку отвели в дальний лог и наказали вести себя тихо и никуда не уходить. Субботка понятливо наклонила голову. Одной было страшно, но так было надо. Хозяйка приходила под вечер – доить, отводила к ручью – напиться. Субботкиного молока хватало не только на семью, но и на соседей, у которых коров отобрали. Ночью всё надо было выпить до капли, потом хозяйка споласкивала ведро – и кто скажет, что где-то есть корова? Благо, стояло лето.

Было это уже перед самым освобождением. Начинался сентябрь месяц, когда немцы выгнали из хат всю деревню, сбили в колонну и повели, куда – никто из жителей не знал. По дороге возникла у конвоя какая-то свара – то ли не знали, куда вести людей, то ли им уже было всё равно. Пропетляв по окрестным дорогам, сопровождавшие колонну вдруг куда-то исчезли, а сельчане, понимая, что в деревню возвращаться нельзя, со скарбом, что успели захватить, спрятались в логу. Хозяйка привела Субботку, и та была рада, что они снова все вместе, хоть и не дома.

Наши войска подходили, начинался артиллерийский обстрел, и снаряды, пролетая над головами с одной и другой стороны, рвались по обоим краям лога. В минуту затишья кое-кто из деревенских выбрался на высокий край оврага и смотрел издали, как перебегают по улице от хаты к хате чёрные фигурки немцев и суют под стрехи зажженные факелы, и соломенные крыши мгновенно вспыхивают. Женщины и дети стояли и молча смотрели, как горят родные дома. Потом опять начиналась канонада, и все приникали к земле, закрывали руками голову. Хозяйка младшую дочку взяла «в полушки» – прижала к груди и запахнула полы кацавейки – чтоб, если попадут – то сразу двоих: дети постарше без неё выживут, а маленькая не сможет…

Как они остались живы в этой круговерти – и сами потом не могли понять. Один из передовых отрядов красноармейцев наткнулся на перепуганных жителей с детьми, живностью, скарбом. И командир указал направление – выходить логом не к своей деревне, а к соседнему хутору – там уже наши. И все пошли, пригибаясь под хлещущими очередями, вздрагивая и бросаясь на землю от взрывов снарядов. Дошли, кое-как разместились по пустым избам, и дети, впервые за долгие и страшные три года почувствовав себя в безопасности, спокойно заснули.

А потом была послевоенный голод и напряжённый труд. Первое время жили в уце-

левшем погребе, а потом богатырёнок Трипузастик срубил избу, благо лес был под боком. Тут и Субботке было много работы – на ней и землю пахали под огород, и брёвна на избу из лесу волочили. Субботка уставала страшно, но так было надо, она это понимала. Несентиментальная хозяйка жалела её, как женщина жалеет подругу, с которой делит невзгоды и непосильный труд: «Господи, тебя ж ещё и доить!».

А потом война кончилась, и кто-то из вернувшихся домой красноармейцев сказал хозяйке, чтоб не ждала мужа. Видел, мол, как прямехонько в окоп, где был хозяин с другими штрафниками, угодила авиабомба. «Их там на молекулы расщепило!» – добавил очевидец, и хозяйка склонила голову: «Ну, что ж, так тому и быть». Это называлось – кровью смыть свой позор, и хозяйка почувствовала, что с её детей снято клеймо «детей изменника Родины». Но пенсии или иного пособия ей, как вдове погибшего в штрафбате, не полагалось. Опять надо было надеяться только на себя. И на Субботку. Но Субботка уже постарела, и молочный источник иссяк. Надо было доставать новую корову, молодую, а если старую сдать на мясокомбинат, то и семье что-нибудь перепадёт.

И вот ещё погожим осенним утром по пыльной пустынной дороге брели двое – до времени постаревшая женщина и старая корова. Субботка всё понимала. Её не надо было подгонять хворостиной, она шла сама. И по щекам и у неё, и у хозяйки катились медленные тяжёлые слезы. Так было надо. Так брели пустынной дорогой женщина и корова, на своем горбу протащившие через пепелище войны всех детей и всю страну…

Трипузастик стал лётчиком, что, как известно, возможно только при наличии отменного здоровья. И все остальные дети выросли, и прожили долгие полновесные жизни. И только хозяйка, единственная в этом роду долгожителей, недобрала свой век. Надорвалась, видно…

Виктор Холин

НА КУРГАНЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Здесь до неба близко-близко,
И огонь – душа живая,
Рвётся к плитам обелиска,
До багровых звёзд взлетая.

И не молкнут птичьи стоны,
И горит неугасимо
Свет, над миром вознесённый,
Как страны спасённой имя.

Солдатская служба
У обелиска ступени
В вечность ведут… Тишина…
Но и в ином измереньи
Служба не завершена.

В скверах, на кладбищах братских
Возле ветвистых ракит,
На монументах солдатских
Небо России лежит.

Русская летопись
В поле туман закурился,
Бронзово вспыхнул гранит:
В лето тревоги – родился,
В лето печали – убит.

До облаков обелиски
Памятью скорбной взошли,
Вот они вечные списки –
Летопись Русской земли.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Свободна Русская Земля,
Неудержима и крылата,
Но над могилою солдата
Шумят тревожно тополя,
Кричат о чём-то журавли,
Кроваво пламенеют зори.
И в этом бесконечном хоре
Надежда, вера, боль и горе
Всех тех, что прахом здесь легли…
Кричат над Русью журавли.

НА 63-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ

Ни слова о Войне,
И о судьбе ни звука.
Под грузом лет вдвойне
Трагичней скорбь земли,
Где прославлять богов –
Обычная наука,
Где жертвовать сынов –
Удел любой семьи.

Ни слова о Стране,
И о вождях не надо –
Для всех дельцов в цене
Гоморра и Содом…
Ну кто же знал тогда,
Что будет нам наградой
Не вечный мир труда,
А вечный бой со злом.

РУССКАЯ ПРАВДА

В годы бед и насилий,
В годы смертных боёв
Были правдой России
Причитания вдов.

Но сгорали закаты,
А рассветы цвели,
И шагали солдаты
По просторам земли.

И когда мы вершили
Справедливую месть,
Были правдой России
Наша совесть и честь.

Ольга Шаблакова

РАТЬ СВЯТАЯ, ИЛИ 70 ЛЕТ СПУСТЯ...

Внука дед повстречал в раю:
Изменился, окреп пострел.
Тот, идя средь других в строю,
Тоже дедушку усмотрел.
Хоть пока еще новичок,
Все же сделал навстречу шаг.
И обнял его старичок,
И спросил его: «Как же так?

Я слыхал про Донбасс: опять
Убивают, идет война.
Что взрывают за пядью пядь,
Словно и не своя страна.
Вот и вышло, ты – здесь. Пойдем!
Наше дело – живых беречь.
Рать святую мы поведем
Ради Родины, сквозь картечь...

Где, безумствуя, бьют ребят,
Где в руинах аэропорт.
Снова кровушкою кропят,
Будто люди там третий сорт.
Город рушат, в него палят,
Мирных жителей не щадя.
Не волнуйся, внучок. Солдат
Я и семьдесят лет спустя.

Наша совесть с тобой чиста,
Время Божьему быть суду.
Те «герои» – не нам чета
(вечно корчиться им в аду).
Мы в Отечественной войне
Победили не просто так.
Были фрицы сильней вдвойне,
Но на нашей земле был враг.

Встанем молча – плечом к плечу,
Нас погибло немало здесь.
Мы нацистскому палачу
Непременно убавим спесь.
Мы возьмем его на излом,
Наша вера в себя сильней.
За величье добра над злом
Рать святая и иже с ней».

Так беседовал с внуком дед.
Внук в пятнадцатом был убит...
Исходил от обоих свет,
Словно из-за спины софит.

В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ

Смерть не смотрит на возраст, мораль не зови.
У погибших бойцов, не познавших любви,
С той минуты разорвана с будущим связь.
Их бокал опрокинут, их кровь пролилась.

Кто портрет пронесет их в Бессмертном полку?
Безымянно в Победу вписали строку
Или числятся на монументах войны
Нашей многоязыкой великой страны

Защитившие землю свою и народ.
Но никто не продлит, не продолжит их род.
Внуков, правнуков нет, он до них не дожил –
За свободу Отчизны он жизнь положил.

Сын, несешь на параде ты деда портрет.
Грудь его в орденах, места голого нет.
Он – счастливец, спокойно дожил до седин.
Он в Бессмертном полку, он такой не один.

Но плечом о плечо с ним незримо идут
Те, кого и портретов уже не найдут –
Время выбрало всех, кто их помнил и знал,
Для кого был с горчинкой победный финал.

Здесь они вместе с дедом пришли на Парад
Победившие смерть, не дождавшись наград.
Маршируют на Вечный огонь сквозь века,
Потому мы и непобедимы пока.

ЧТОБ МЫ СЕЙЧАС СПОКОЙНО ЖИТЬ МОГЛИ...

Чтоб мы сейчас спокойно жить могли,
За нас сплошной шеренгой в вечность шли
Живые люди, чьи-то сыновья.
Средь них, наверно, мог бы быть и я,

Когда б родился раньше лет на сто.
Но века двадцать первого росток,
Теперь я знаю больше, чем они,
И не спокойны мне достались дни...

Все думали, покончено с войной.
Ошиблись, ходим, согбенны виной:
Как будто недотушенный пожар,
То там, то здесь земной пылает шар.

И новых жертв богам приносят в дар.
Одни из них кричат «Аллах акбар!»,
Сжигают несогласных, бьют в лицо.
У разных вер и наций подлецов
Увы, хватало раньше и сейчас...
И снова хрупкий мир в руках у нас.

Но сколько мы его продержим дней?
Нам, честным людям, нужно быть сильней.
И сжать себя в один большой кулак,
И постоять за справедливость так,
Как защищали Родины сыны
Отечество во дни Святой войны.

МЫ ПАМЯТЬЮ И СОВЕСТЬЮ ВЕРНЫ

Мы дети мира. День большой Победы
В календарях отмечен навсегда.
Нам также дорог каждый день победы,
Когда освобождали города.

Волоколамск, Нарофоминск, Калуга...
Солдаты, наступление начав,
Идя на смерть, вставали друг за другом,
«За Родину! За Сталина!» – крича.

За дедов наших, прадедов гордимся.
За бабушек, прабабушек – вдвойне.
И быть на них похожими стремимся –
Полезными и нужными стране.
В каких они бывали мясорубках –
В Смоленске, в Сталинграде ли, – всегда,
Сколь ни было бы страшно, больно, жутко,
Они освобождали города.

Москва дала салюты из орудий,
Когда вернули Белгород, Орел.
И в том, что враг разбит, конечно, будет,
Тогда народ уверенность обрел.

Теряя лучших, прятались в туманы,
В леса-болота Брянск, и Минск,и Псков.
Сражались за Победу партизаны
По-своему под носом у врагов.

Взрывали поезда и переправы.
На амбразуры шли и на таран.
И смертью смерть поправ, ложились в травы,
В снега и в землю, рыхлую от ран.

Потерян счет погибшим и пропавшим –
Мы до сих пор хороним с той войны.
Всем людям, за победу жизнь отдавшим,
Мы памятью и совестью верны.

Они нам отстояли право это
На пядь земли, деревню и село,
От маленьких и скромных дней Победы
К большой Победе, всем врагам назло!

ИМ ОПРАВДАНИЙ НЕ БЫЛО И НЕТ

Четыре года длилась та война,
которая убила миллионы.
И все ж пришла победная весна,
Хоть шли еще конверты похоронок,
и раны огнестрельные лечить
Продолжили военные врачи.

Но все, от генерала до солдата,
артиллеристы, летчики, морфлот,
все виды войск для славного парада
отправились в обратный свой поход.

И дядя Ваня развернул свой танк
и прокатил веселую пехоту,
что всю себя поставила ва-банк,
и в бой ходила, словно на работу –
за будущее детям и жене,
свободу, теплый хлеб и белый снег.

Война ведь не щадила никого,
когтистые вытягивала лапы,
сгребала, словно мусор, в свой совок...
но кончено. Гремят салюта залпы.
Нацизм низвержен был и побежден,
стомиллионно проклят, осужден.

Тому минуло семьдесят почти –
тяжелых, трудных – всякое случалось.
И вновь нацизм нас хочет довести,
чтобы война повсюду развязалась.

Но если грянуть Третьей мировой,
то больше победителей не будет:
никто не покачает головой,
никто ее последствий не осудит.
Поскольку за командой раз-два-пли
последует крушение Земли,
и если кто-то выживет с трудом,
то очень пожалеет он о том...

Ни наций, ни религий выше нет,
чем очень нужный всем нам белый свет,
и чтобы на планете мирно жить,
нацистов мы должны разоружить.
Им оправданий не было и нет –
так в сорок пятом говорил мой дед.

Илья Швец

НАШ БРЯНСК

Нашим городом можно гордиться –
красотою его и судьбой.
Он по паспорту старше столицы,
а по виду совсем молодой.
А когда полыхала планета,
город вышел на битву с врагом, –
Партизанская площадь согрета
и цветами, и Вечным огнем.

Милый город наш, витязь России!
После боя, скорбя и любя,
мы из пепла тебя воскресили,
из развалин подняли тебя.
Город Брянск – золотые рассветы
и Десна в голубых берегах.
Удивительны улицы летом,
корпуса городские в садах.

Будет город расти, разрастаться,
и красивее будет, чем есть, –
здесь рабочею честью гордятся,
умножают рабочую честь.
Знают здесь, как даётся победа,
и здесь помнят всегда о былом.
Партизанская площадь согрета
и цветами, и Вечным огнем.

* * *

Всё дальше от войны уходим,
но в памяти она всегда,
но снятся выжженные годы
и выжженные города.

И снятся пареньки в шинелях –
дружки, товарищи мои:
я с ними вновь иду в сраженья,
в кровопролитные бои.

И снится бой у переправы
и лучший друг, погибший там:
я с ним опять на берег правый
плыву по огненным волнам.

...И тучи наклонились низко,
и встали в караул леса.
Глядят, глядят на обелиски
России синие глаза.

* * *

У Волги, на ветрах смертей,
держали трудный мы экзамен
перед страной,
планетой всей,
перед грядущими веками.

И выдержали.
И неплохо.
И больше сделаем ещё.
И опирается эпоха
на наше крепкое плечо.

* * *

Брянский лес – не тайга и не джунгли,
не повсюду деревьями густ,
но солдатами были не тут ли
и дубок и ракитовый куст!
И не тут ли окопы, траншеи
до сих пор, как от оспы следы!
Видишь шрам у осины на шее!
Это след той далекой беды.
Огибая густую дубраву,
корни дуба ласкает река
и несет партизанскую славу
новым людям и новым векам.

ВЕЛИКИЙ ПУТЬ

(Отрывки из поэмы)

Но что случилось на земле?
В безлюдных сёлах кровь и пепел,
Лежат развалины во мгле,
Рыдания разносит ветер…
Землетрясение? Чума?
О нет! Чума не так жестока,
Она щадит сады, дома,
Минует пьедестал высокий,
Не трогает картин и книг.
Землетрясенье жертвы любит,
Но и оно всего на миг,
Без виселиц и душегубок…
Чума, последний день Помпеи,
Хранимый памятью веков,
как сон пред явью, всё бледнеет
Пред этим варварством врагов.
И если бы с земного шара
Загнать зверей по городам
И дать им волю – и тогда
Ужасней не было б кошмара!
Скажите, чья не стыла кровь
При вести, как они под Керчью
Семь тысяч стариков и женщин
Свинцом подкашивали в ров?
Скажите, кто не цепенел,
Когда людей живьём сжигали
И палачи, как кони, ржали
Над жертвой, стонущей в огне?
Им этот вид забавой был,
Как спорт, как признак благородства…
Будь проклят мир, что породил
Такое страшное уродство!

Не предки древние, не деды, –
С полей недавней той войны
Мы сами принесли победу
Для всех народов, для страны.
Теперь и близким и далёким
Нам кажется тот трудный год,
Когда война была у Волги
И там, где Терек камни рвёт.
…К вершинам гор ползла орда,
И бомбы скалы разбивали,
И наши воины тогда
Гранит сердцами укрепляли.
Но где же взять такие силы,

Чтоб сердце стало твёрже скал?
Мы очень Родину любили,
В которой вольным каждый стал.
К земле прижатые огнём,
Сквозь наблюдательные щели
Мы в наступавший день глядели –
И счастье видели мы в нём.
Когда бросались мы в атаки,
Под пулемётные дожди,
Стремленье к миру, будто факел,
Горело у солдат в груди,
И было ясно на душе
У всех у нас, вперёд идущих,
Воюющих на рубеже
Веков прошедших и грядущих.
Мы шли на Запад и Восток,
Людей из рабства выручая.
Бессмертный подвиг наш помог
Родиться новому Китаю.
Победа правды, наша слава
Зажгли в сердцах огонь надежд, –
И цепи сбросили Варшава,
София, Прага, Будапешт,
В Тиране нет уже тиранов,
И Бухарест вздохнул легко,
В других – больших и малых – странах
Народы рвутся из оков.

Великий путь! Безмерный путь!
Его не вымерить на мили!
Чтоб вспять фашистов повернуть,
Мы за день вечность проходили.
Мы за день старились подчас,
Когда рвались кругом снаряды,
А очень многие из нас
И с жизнью расставались за день.
Священный путь! Он кровью полит, –
В знамёнах эта кровь горит,
Горит в цветах лугов и поля,
В кипеньи утренней зари;
Он весь из подвигов народа,
Из храбрых, золотых сердец,
И всем, кто бьётся за свободу,
Он самый верный образец.
Наш путь – вперёд, всегда вперёд,
В заманчивую даль столетий,
Где будет счастлив весь народ –
Во всех краях, на всей планете!

* * *

Н.П. Ермакову

От реки уводят в лес
тихие тропинки-тропы.
Слева,
справа –
всюду здесь
позаросшие окопы.
Вот где
вправду
каждый метр
кровью, жизнями оплачен.
Не с того ль так много лет
над Десною ива плачет?..

НАД ДЕСНОЮ И НАД СОЖЕМ

Над Десною и над Сожем
смертью паханы поля,
и забыть войну не может
до сих пор сама земля.
Враг был сломлен и разгромлен,
и сметён с земли родной, –
и воскрес над Сожем – Гомель,
Брянск, Чернигов – над Десной.

На границе между нами
ни застав и ни солдат, –
над густыми ячменями
лишь подсолнухи стоят;
да играет спозаранку
на границе областей
то ли птаха-гомельчанка,
то ли брянский соловей.

Мы гордимся нашим краем,
партизанской стороной –
и пшеничным караваем,
и картошкой молодой.
Мы хотим, чтоб в каждой хате
жили песни и цветы,
чтоб побольше было свадеб –
и простых, и золотых.

Александр Шелгунов

ПИСЬМА ИЗ НЕИЗВЕСТНОСТИ

Хоронили солдата старого
Просто, буднично, без поспешности.
Хлопья снега летели талого,
Будто письма из неизвестности.
Собирали вчерашним вечером
На поминки копейки-денежки.
«Умер кто?»
— Да войною меченый, – отвечали, –
Ты знаешь…
Венюшка.
В одночасье травой преставился… –
А глаза у соседок усталые.
И вздыхают соседки. – Отмаялся… –
Добавляя: «Уходят старые».
Незаметно уходят старые.
Что-то в этом от неизбежности.
Только хлопья летели талые,
Будто письма из неизвестности.

* * *

Ивану Абрамову

Солдат пришёл с большой войны.
Бурьяном поросло подворье.
Забытый запах бузины.
Воздетыми руками – колья.
Подслеповатое окно
распято досками гнилыми.
Распотрошённое гумно
торчит клоками неживыми.
И костылём, как палашом
Сухие он сшибал цубылки,
как будто в бой последний шёл,
мстя за родимые могилки.
Он жить хотел – хромой солдат,
и, как больничные повязки,
срывал с глазниц оконных смрад,
всем горем сытый под завязку.
Горяч и сух безумный взгляд.
И топора вонзилось жало...
Какой же жизни жил заряд,
коль хата, охнув, оживала...

* * *

Когда это было?
Давным-давно.
Всплывает за дымкой лет
Петровская горка, «Октябрь» –
В кино
Отец покупает билет.
И вот засветился, ожил экран:
Атака, воздушный бой,
И лётчик наш идёт на таран
С закушенной в кровь губой.
Отец наклонился, прижал:
«Сынок!..»
Молчу, со всхлипом дыша:
«Ведь наш!»
«Успокойся», – а голос строг.
«Ведь наш!» – и звенит в ушах.
«Смотри, сынок, на экран, смотри.
А плакать, сынок, не смей. –
Платок протянул. –
На, лицо утри.
Мы так принимали смерть…»
Когда это было?.. Не помню уже.
Но только давным-давно.
Я всё запомнил, отец,
В «Октябре» –
Бессмертное шло кино.

Устин Шереметьев

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Земля в дыму, в пожарищах.
Над ней свинцовый душ
Неистово карающих
Орудий и «катюш».
И «илов» отражения
Плывут в Десне-реке.
И катит вал сражения.
И Брянск невдалеке.
И свастика распорота
Стремительной бронёй.

Чтоб реять серпу с молотом
Над мирной стороной.
Сентябрь спешит по городу
В улыбке и в слезах.
И кто-то бреет бороду,
Что отрастил в лесах.
И кто-то машет каскою,
Спеша в ряду друзей.
И кто-то партизанскую
Папаху
сдал в музей.

* * *

Весна дышала яро, зло.
Полки на запад шли.
В освобожденное село
Буренку привели.

Её от пули сотни дней
Скрывал дремучий лес.
Впились в Бурёнку сто очей,
Как в чудо из чудес.

Но что могла она одна,
Одна на все село!
Была Бурёнка голодна,
Живот ей подвело.

Вот чья-то добрая рука
Погладила ребро
Коровье.
Струйки молока
Ударили в ведро.

Запахла музыка ведра
Прогретою травой.
Склонилась жадно детвора
Над прелестью парной.

Сухие губы сорванцов
Не в счёт на этот раз.
«Накормим раненых бойцов», –
Был совести приказ.

И три стакана молока
В землянку отнесли.
По небу плыли облака.
Полки на запад шли.

Бурёнку звал весенний луг.
Но властен зов земли –
Отрыли молча ржавый плуг,
Буренку в плуг впрягли.

Был жалок той Буренки вид,
Неловкий и худой.
И вдовы плакали навзрыд,
Следя за бороздой.

Наталья Шестакова

РАЗГОВОР, СЛУЧАЙНО УСЛЫШАННЫЙ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«Привет, Михалыч! Мир стал на год старше!
С Победою тебя! Здоровья! Сил!» –
Под гром салютов праздничных и маршей
Приятель деда бодро пробасил.

И просто так, в процессе разговора
(Ведь прошлое назад не повернёшь),
Легко спросил у бывшего сапёра:
«А если – надо? Что, отец, пойдёшь?»

Играют в небе отблески салюта,
Танцуют пары в городском саду…
И, не промедлив ни одной минуты,
Старик ответил твёрдо: «Да. Пойду!»

БРЯНСК. 9 МАЯ 2015 г.

Набатом памяти народной время
Тревожит мир семидесятый раз.
Брянск. Площадь Партизан. Здесь поколенья
В одну колонну собрались сейчас.

Под флейты юбилейного парада
Военные чеканят звонкий шаг,
На их груди пульсируют награды
За героизм, проявленный в боях.

Струятся майским заревом знамёна,
Играет музыка военных лет,
Весенним светом воздух напоённый
Открытыми улыбками согрет.

И вот под звуки праздничных мелодий
Скрестились ленты судеб и дорог –
Торжественной процессией выходит
На Площадь Партизан Бессмертный полк.

Идут учащиеся, взрослые, студенты
По зову сердца – памятью полны,
Идут потомки. В их руках – портреты
Героев, не вернувшихся с войны.

Проходят вместе правнуки и внуки,
Идут родители с детьми в строю.
Не только снимки, крепко держат руки
Бессмертную историю свою.

С плывущих фотографий над колонной
Незримо в строй встают фронтовики.
Десятки, сотни тысяч, миллионы –
Идёт уже не полк, идут – полки.

И в том строю в дыхании едином
Плечом к плечу шагает вся страна,
Дошедшая с победой до Берлина,
Военных бед хлебнувшая сполна.

Склоняются парадные знамёна
В молчании глубоком до земли
Лишь очень тихо что-то шепчут клёны,
Да во дворах распелись соловьи…

Устин Шереметьев

УЧИТЕЛЮ ИСТОРИИ

Коновалову Николаю Николаевичу

Ему – солдату Сталинграда –
Душа, признание открой.
Он все круги земного ада
Прошёл как истинный герой.

Изранен... Взрывами контужен...
Госпиталя... И путь домой.
Он в жизни был великодушен,
Учитель и коллега мой.

Его заслуги мы ценили
И многим ставили в пример.
И светлый образ сохранили
Как гражданина СССР.

На сельском кладбище могила,
Обрёл покой в родных местах.
Но притягательная сила
Живёт в его учениках.

И это вовсе не бравада,
Какая сыщется порой.
Он был солдатом Сталинграда –
Его защитник и герой!

Марина Юницкая

А ЛЕС ЗА ДЕСНОЮ...

Мой город стоит в стороне лесной,
Седой стариною отмечен.
С пригорков любуется тихой Десной,
Дымками вокзалов заречных.
А лес за Десною – таинствен и густ.
Лишь друга и примет, и скроет.
В нём каждая веточка,
Каждый куст
Тихо поют о героях.
О людях хороших,
О людях простых,
Что славу –
Целью не ставили.
А били захватчиков,
Рвали мосты –
И край наш навеки прославили.
И память о них –
Горяча и светла –
Вовеки пребудет такою!
Порукою этому –
Наши дела.
И ваши сердца,
герои...

* * *

И вечно будут травы зеленеть.
И вечно лес шуметь под облаками.

И птицы будут, словно дети, петь.
Земля родная!
Добрыми руками
Ты нас ласкаешь,
Силу нам даёшь.
Мы никого не тронем –
Нас не трожь!
Надёжны
И в труде мы,
И в боях –
Мы в этом убедили всех воочыо.
Мы, как деревья,
Прорастаем прочно.
И дети –
Словно листья на ветвях.

БАБЫ

Солдатским вдовам,
народным песенницам брянских сёл

Ах, как бабы из Дорожова,
Ах, как бабоньки пляшут –
Страсть!
«Дорогова,
Свово дорогова
Ни узреть,
Ни сыскать,
Ни украсть...
Голубика моя, голубика,
Речка Угость, кудря-мурава,
Расскажи, журавель,
Расскажи-ка,
Где над ним проросла сон-трава?
Да молчит журавель.
Зацепился
За колодезя ветхий сруб.
И не скажет он,
Где притомился,
Где уснул
Мой солдат-однолюб».

А как в Летошниках, у орешни
Собираются бабы в круг...
В холодах пролетели дни вешние,
Серебром одарили подруг.
И поют они, вдовы седые,
Про свою неумолчную грусть.
И слова этой песни простые,
Словно слёзы любви твоей,
Русь.

Александр Якушенко

СОЛДАТ НЕБА

Тихая брянская улочка. Под ногой поскрипывает подмерзший снег. Справа и слева – приветливо деревянные домики, обшитые шелевкой и покрашенные синим и зеленым. Я останавливаюсь возле такого же голубоватого деревянного дома, уходящего в чернеющий яблоневый сад.

Тогда, в годы Великой Отечественной войны, когда здесь появлялся стройный и подтянутый летчик-истребитель Анатолий Морозов, этот дом был поменьше. Хотя семья Морозовых, или как еще звали мать Анатолия бежичане «депутатки Фроси», эта семья была немаленькой: отец с матерью да семеро детей. Теперь из семьи Морозовых живы уже не все. Но здравствующие обзавелись своими семьями, поженились внуки-внучки.

А живут все вместе. Поэтому так и разросся дом Морозовых. Я представляю, как сюда зашел бы старший, Анатолий. Костистый, высокий, лицом схожий на мать, «депутатку Фросю». Летчик-истребитель. Со звездою Героя. В подполковничьих погонах...

Нет, не могу представить Анатолия Афанасьевича стариком. Он и видится мне таким, как на последней фотографии: молодым и красивым двадцатипятилетним подполковником. Каким он и погиб — случайно и трагически.

Погибшие герои уходят в бессмертие молодыми и навсегда остаются такими в нашей памяти.

Из письма Героя Советского Союза Анатолия Морозова:

«Здравствуйте, дорогие мама, папа, Рая, Аня, Вовочка, Светлана и Галочка! Я не знаю, где, что с вами. Я же жив и здоров. Спешу написать «жив и здоров» для того, чтобы вы сами убедились, что газеты, в которых сообщалось, что я «погиб смертью храбрых», врут.

На июньскую газету «Известия» за 25-е тоже не обращайте внимания, так как на второй день я опять летал.

Но тот день был действительно трагическим для всех нас: погиб капитан Карманов. Мой спаситель в Финляндии...»

Тогда была очень снежная зима. И холодная, до сорока градусов мороза. Когда «ястребки» поднимались в небо, оно, казалось, звенело и вибрировало от их гула и словно раскалывалось на стеклянные льдинки. Вверху было еще холоднее, так, что ноги стыли даже в собачьих унтах.

Уже осталось позади озеро Суоярви, с которого взлетела эскадрилья, и сейчас Анатолий четко видел весь строй «ястребов», которых вел его друг капитан Афанасий Карманов.

Он в чем-то схож с Анатолием даже внешне: такое же волевое лицо, решительный острый взгляд, гладкая прическа. Правда, сейчас голову Афанасия туго перетягивает шлемофон, но летящий чуть сбоку и позади Анатолий какую-то секунду видит лицо командира, которое спокойно решительно.

Самолеты начали перестроение, а потом по одному, как бы проваливаясь, ушли вниз: под крыльями у каждого были приспособлены бомбы.

Морозов тоже заваливает свой истребитель и кидает в пике. Он видит, что внизу уже встают сизо-багровые всполохи от разрывов бомб, и тоже сбрасывает смертоносный груз, нажимает на гашетку пулеметного огня.

Внизу навстречу остервенело бьют вражеские зенитки, сплошной стеной встают темные шапки разрывов. Анатолий мгновенно делает противозенитный маневр и проскакивает этот огненный барьер, набирая одновременно высоту. Истребитель потряхивает от близких разрывов, и он с тревогой прислушивается к машине: не задел бы шальной осколок.

И тут — чуяло же сердце! – мотор чихнул, словно поперхнувшись, раз-другой и вдруг заглох.

— Что такое, черт возьми, – в сердцах ругнулся Морозов, переводя машину в планирование и пытаясь запустить мотор. Машинально оглядывает заснеженный перелесок – если придется садиться.

Нет, мотор молчит. Только изредка фыркает, как норовистая лошадь. А высота катастрофически падает. Уже и с парашютом не выбросишься. Да и куда? Внизу враги.

— Командир, – стараясь быть спокойным, говорит Анатолий, – что-то с мотором, иду на вынужденную.

— Спокойно, Толя, – раздается в наушниках голос Афанасия Карманова. – Прикроем...

Внизу, в разрывах леса, мелькнула заснеженная полянка, и Морозов повернул туда свой «ястребок», потянув на себя штурвал, приподнял нос. Взметая снег, «ястребок» остановился.

Анатолий откинул колпак самолета, еще не зная, что предпримет в следующее мгновение. Он слышал автоматную стрельбу и понимал, что враги вот-вот появятся.

И тут сверху из-за деревьев вдруг вынырнул истребитель Афанасия Карманова, прямо сходу пошел на посадку. Остановившись рядом, сразу же развернулся на взлет.

— Скорее, Толя, давай сюда! – откинул крышку кабины Карманов. – Держись крепче за мою голову...

Строча на ходу из автоматов, из-за деревьев показались враги. Но Морозов уже втиснул ноги в кабину кармановского «ястребка», и тот сразу же пошел на взлёт.

Так под автоматным огнём, несмотря на обжигающий мороз, они и взлетели. Ну а приземлились у себя на аэродроме без приключений, если не считать, что Анатолий обморозил лицо и руки...

Обоих храбрецов тогда наградили орденами Красного Знамени.

Из письма Анатолия Морозова: «Войну все мы встретили на оперативной точке. И сразу – бой. Подобно тому, как мы в заводской лаборатории испытывали на излом и сжатие крепость металла, так этот бой испытал меня. И я, честное слово, выдержал...

В первый день войны в 4.17 я срезал «юнкерса»... Главное сейчас – это бить их! Бить! Бить за Карманова, бить за всех, за все...»

Да в нем была крепкая трудовая заводская кость. Как у отца старого рабочего и коммуниста Афанасия Евграфовича. Как у матери Ефросиньи Афанасьевны. Как у братьев и

сестер. И едва он закончил школу, собрался в ФЗО «Красного Профинтерна».

— Да у тебя же и по ботанике, и по математике такие способности! – удивились в школе. — А в драмкружке...

— Ничего, – успокоил сына Афанасий Евграфович, старый столяр. – Завод, сынок, всему голова. Иди на завод...

И он пошёл на «Красный Профинтер». Было это в героические тридцатые. Страна поднималась из вековой разрухи, расправляла плечи. И Анатолий ранними утрами спешил на завод, он определился слесарем. А после работы — в аэроклуб.

Под крылом учебного самолётика проплывала родная Бежица, дымы паровозостроительного, голубая лента Десны, куда они по выходным ходили купаться с Лешкой Чулковым и Ваней Андреевым.

Немного времени, кажется, минуло с той поры, а Морозов закончил летную школу, понюхал пороху в Финляндии.

С запада уже накатывала новая беда. В сорок первом Анатолий служил под Кишиневом. Были в полку лётчики, уже сталкивающиеся с фашизмом в небе Испании. Командир полка майор Орлов, например.

— Вот такие машинки нам бы там, – говорил майор, поглаживая лакированный бок стремительного «мига».

В ту последнюю мирную ночь Анатолий дежурил вместе с Борисом Захаровым и Юрием Дицом. Откинув колпаки кабин, сидели по готовности номер один. Хоть и были готовы ко всему, но когда раздалась команда, тревожно застучали сердца: поняли, что впереди – бой.

Много-много раз уже описано роковое утро 22 июня 1941 года. Приветливый, чистый рассвет. Тихое зеркало реки Прут. Безоблачное небо. И тучи «крестатых» вражеских бомбардировщиков. Летчики поняли: это война.

Прямо навстречу этой черной громаде и поднял майор Орлов своих питомцев. Враг шел очень низко, как говорят летчики, на «нулевой высоте». В 4 часа 10 минут Анатолий Морозов был в воздухе. А в 4.17 уже «срезал» вражеский бомбардировщик.

Этот скоротечный бой вызвал ярость. Ярость и боль за родную землю, уже объятую пожарами небывалой войны. Вылет следовал за вылетом, и были уже первые потери. Погиб и фронтовой побратим капитан Карманов. Был на краю гибели и сам Анатолий: в тот день он первым в Великой Отечественной войне совершил лобовой таран. А было так.

Вылетели на перехват большой группы фашистских «бомберов», шедших на Кишинев. Видимость, как говорится, «миллион на миллион». Зашли — со стороны солнца. На небе — ни облачка. «В такую бы погоду да на нашу Десну», – подумал Анатолий и тут же услышал в шлемофоне голос майора Орлова:

— Внимание! Справа – «худые»!

Морозов насчитал четырнадцать «мессеров», которые шли встречным курсом, прикрывая «юнкерсы». Соотношение: один – наш, два – врага. Не считая «юнкерсов». А всего — более сорока врагов.

— В атаку! – скомандовал комэск и бросил свой «миг» в пике. Командир ударил по «юнкерсу» и тот сразу же вспыхнул. Потом еще один.

Анатолий Морозов тоже заловил в перекрестке прицела «бомбера». Завязалась схватка. Но вдруг Морозов увидел, что к кому-то из наших в хвост пристроился «мессер».

«Пропадает парень, сейчас собьют», – мелькнула мысль, а рука уже переложила рули, и его машина устремилась навстречу врагу.

Самолеты шли на встречных курсах, расстояние быстро сокращалось. Немец бил сразу изо всех стволов еще издали. Но не сдавался.

«А нервишки-то не держат у сверхчеловеков, – сам себе заметил Анатолий. – Сейчас тебе будет «блицкриг»...

«Рази одной очередью!» – вспомнились слова погибшего друга Карманова. Морозов надавил на гашетки. Но... пулеметы молчали.

— Неужели весь боеприпас? – изумился Морозов. – Неужели упущу? Нет, гад... есть еще таран...

Резкое движение рулями, и Анатолий крылом врезался в «мессера». Удар был настолько силен, что Морозов на секунду по-

терял сознание, а истребитель развалился на куски. Анатолия же – под счастливой все же звездой родился! – выбросило вместе с сиденьем. Придя в себя, отбросил сиденье, рванул кольцо парашюта. Над ним вспыхнуло белое шелковое пламя.

«Но враг – рядом, – мелькнула мысль, – какая я удобная мишень».

Анатолий подтянул стропы и пригасил парашют, камнем устремился вниз.

Раскрыл купол почти у самой земли...

— Толька, чертяка! – встретили друзья на аэродроме, тиская в объятиях. – Ведь ты же в лоб таранил... И жив...

— Тихо вы, братцы, – охладил восторг Анатолий, – позвоночник-то что-то побаливает...

Но все обошлось.

«Мой счет растет, – писал домой Морозов, – за 15 дней войны сбил семь вражеских самолетов. Мы — свои, и вы простите мне невольное хвастовство. Вы, наверное, читали в газетах не один десяток статей про меня. А плакат, как я таранил, видели?»

27 марта 1942 года ему, как и его другу Афанасию Карманову, было присвоено звание Героя Советского Союза. По самым горячим фронтовым точкам лежал его боевой путь: западная граница, Ростов, Одесса, Сталинград, Новороссийск... Анатолий Морозов стал известным советским асом.

— Я знал Морозова, – вспоминал о нем прославленный советский летчик А.И. Покрышкин. – Встречался с ним под Кишиневом. Это был замечательный человек. Полк, в котором он служил, уже участвовал в боях на Карельском перешейке, у многих летчиков на груди были боевые ордена.

С ним всегда хотелось повидаться, поговорить. Я завидовал тем, кто уже сражался с врагом. О Морозове я вспоминаю в своей книге «Небо войны».

Хорошей, ослепительно яркой была жизнь героя. В двадцать пять лет он уже был подполковником, командиром авиаполка. Маршал Толбухин вручил ему именные часы с надписью «За доблесть»...

Погиб в отпуске случайно, подорвавшись на гранате за год до Победы – в июне 1944 года...

Но до сих пор помнят о Герое все, кто его знал: близкие и знакомые, его фронтовые друзья. Жаль, что в родном Брянске нет ни бюста Героя, ни улицы его имени, ни просто памятной доски на доме, где теперь живут его близкие...

Тихая эта улочка сейчас утопает в февральских снегах. Не ей ли носить имя Героя?

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Алексеенков 4
Клавдия Асеева 6
Михаил Атаманенко 8
Нина Афонина 8
Людмила Ашеко 9
Галина Баранова 11
Виктор Белоусов 12
Геннадий Белоусов 13
Станислав Белышев 14
Александр Брон 14
Александр Буряченко 15
Павел Быков 16
Олег Ващенко 18
Виктор Володин 20
Анатолий Гавриленко 20
Алексей Галоганов 21
Владимир Гамолин 22
Александр Гилев 23
Оксана Гориславская 23
Николай Грибачёв 23
Леонид Гришин 24
Николай Денисов 25
Александр Дивинский 26
Валентин Динабургский 27
Анатолий Дрожжин 33
Аркадий Зернов 36
Николай Иванин 36
Николай Иванов 37
Николай Исаков 46
Иван Касацкий 55
Эдуард Киреев 55
Виктор Кирюшин 58
Григорий Кистерный 61
Виктор Козырев 62
Николай Колобаев 65
Любовь Кондратова 66
Алексей Корнеев 66

Юрий Кравцов 67
Евгений Кузин 68
Степан Кузькин 73
Елена Леонова 73
Юрий Лодкин 74
Пётр Любестовский 76
Вячеслав Ляшенко 89
Виктор Макукин 103
Александр Малахов 104
Георгий Мароховский 105
Владимир Маслов 112
Николай Мельников 112
Алексей Меньков 113
Георгий Метельский 115
Александр Мехедов 115
Леонид Мирошин 118
Наталья Мишина 122
Александр Нестик 125
Алексей Новицкий 130
Анатолий Остроухов 132
Владимир Парыгин 134
Владислав Пасин 137
Сергей Петрунин 137
Виталий Пионков 138
Владимир Пипченко 139
Леонид Побожий 139
Николай Поснов 140
Владимир Потапов 140
Павел Прагин 141
Иван Радченко 142
Петр Проскурин 143
Николай Родичев 157
Анатолий Романюк 159
Владимир Рыбчин 159
Николай Рыленков 160
Нина Рылько 164
Александр Саввин 169
Нина Савина 177
Юрий Сальников 182

Владимир Селезнёв 184
Лариса Семенищенкова 185
Станислав Сеньков 189
Геннадий Соболев 190
Владимир Соколов 193
Яков Соколов 197
Галина Солонова 201
Иван Сорокин 203
Владимир Сорочкин 203
Леонид Сошин 204
Григорий Стафеев 204
Дмитрий Стахорский 205
Борис Файбисович 210
Тамара Харитонова 210
Виктор Холин 212
Ольга Шаблакова 213
Илья Швец 215
Александр Шелгунов 218
Устин Шереметьев 218
Наталья Шестакова 219
Устин Шереметьев 220
Марина Юницкая 220
Александр Якушенко 221

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БРЯНСК

№ 1(9)’2015
Специальный выпуск

«НАША ПОБЕДА»

Альманах Брянской областной
общественной писательской организации
Союза писателей России.

Редактор-составитель: Владимир Сорочкин

Фото: Н.С. Романова

Подписано в печать 10.12.2015 г. Формат 60х84 1/8.
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ № 1541.

Отпечатано в типографии ООО «Брянское СРП ВОГ»
241011, Брянск, ул. Красноармейская, 15, тел.: (4832) 64-91-61